

ПЕТР
ЕРШОВ

Сызре





ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ СИБИРИ



Иркутск
Восточно-Сибирское
книжное
издательство
1984



**ПЕТР
ЕРШОВ**

Сузие

*Стихотворения,
драматические
произведения,
проза*

Составление тома, комментарии, послесловие *В. Г. Уткова*

Оформление серии *А. И. Аносова*

Оформление тома *Л. Я. Лобовой*

Редакционная коллегия

А. П. Деревянко (председатель), *Г. Р. Граубин*, *Л. В. Иоффе*,
Д. С. Лихачев, *К. Н. Ломунов*, *В. Г. Распутин*, *М. Д. Сергеев*,
Е. Г. Слабковская (секретарь), *В. П. Трушкин*, *Р. В. Филиппов*,
А. М. Шастин, *Л. П. Якимова*, *Н. Н. Яновский*

Ершов П. П.

- Е 80 Сузге: Стихотворения, драматические произведения, проза, письма/Составление тома, комментарии, послесловие *В. Г. Уткова*. — Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1984. — 464 с., ил., («Литературные памятники Сибири»).
2 р. 20 к., 2 р. 30 к.

Е 4702010200—48
M141(03) — 84 32—84

P 2

© Восточно-Сибирское книжное
издательство, 1984

Петр Павлович Ершов
СУЗГЕ

Стихотворения, драматические произведения, проза,

Редактор *Л. А. Васильева*. Художественный редактор *Е. Г. Касьянов*. Технический редактор *Л. А. Жернова*. Корректоры *Г. Ф. Клешнина*, *Н. В. Бутакова*.

Сдано в набор 1.02.84. Подписано к печати 29.06.84. НЕ 02639. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. тип. № 1 и № 3. Гарнитура академическая. Печать высокая. Усл. печ. л. 25,30 (с вкл.). Усл. кр.-отт. 26,42. Уч.-изд. л. 26,58 (с вкл.). Тираж 100 000 экз. Заказ 1762. Изд. № 5868. Цена на тип. бум. № 1 — 2 руб. 30 коп.; на тип. бум. № 3 — 2 руб. 20 коп.

ИБ № 882

Восточно-Сибирское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 664000, г. Иркутск, ул. Марата, 31. Типография издательства «Восточно-Сибирская правда», 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109.

Конек-Горбунок
Сузге



Конек-Горбунок

РУССКАЯ СКАЗКА В ТРЕХ ЧАСТЯХ

ЧАСТЬ 1

Начинается сказка сказываться.

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба — на земле,
Жил старик в одном селе.
У старинушки три сына.
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.
Братья сеяли пшеницу
Да возили в град-столицу:
Знать, столица та была
Недалече от села.
Там пшеницу продавали,
Деньги счетом принимали
И с набитою сумой
Возвращались домой.

В долгом времени аль вскоре
Приключилось им горе:
Кто-то в поле стал ходить

И пшеницу шевелить.
Мужички такой печали
Отродясь не видали;
Стали думать да гадать —
Как бы вора соглядать;
Наконец себе смекнули,
Чтоб стоять на карауле,
Хлеб ночами поберечь,
Злого вора подстеречь.

Вот, как стало лишь смеркаться,
Начал старший брат собираться:
Вынул вилы и топор
И отправился в дозор.
Ночь ненастная настала,
На него боязнь напала,
И со страхов наш мужик
Закопался под сенник.
Ночь проходит, день приходит;
С сенника дозорный сходит
И, облив себя водой,
Стал стучаться под избой:
«Эй вы, сонные тетери!
Отпирайте брату двери,
Под дождем я весь промок
С головы до самых ног!»
Братья двери отворили,
Караульщика впустили,
Стали спрашивать его:
Не видал ли он чего?
Караульщик помолился,
Вправо, влево поклонился
И, прокашлявшись, сказал:
«Всю я ноченьку не спал,
На мое ж притом несчастье,
Было страшное ненастье:
Дождь вот так ливмя и лил,
Рубашонку всю смочил.
Уж куда как было скучно!..
Впрочем, все благополучно».
Похвалил его отец:
«Ты, Данило, молодец!
Ты вот, так сказать, примерно,

Сослужил мне службу верно,
То есть, будучи при всем,
Не ударил в грязь лицом».

Стало сизнова смеркаться,
Средний брат пошел сбираться:
Взял и вилы и топор
И отправился в дозор.
Ночь холодная настала,
Дрожь на малого напала,
Зубы начали плясать;
Он ударился бежать —
И всю ночь ходил дозором
У соседки под забором.
Жутко было молодцу!
Но вот утро. Он к крыльцу:
«Эй вы, сони! Что вы спите!
Брату двери отогрите;
Ночью страшный был мороз —
До животиков промерз».
Братья двери отворили,
Караульщика впустили,
Стали спрашивать его:
Не видал ли он чего?
Караульщик помолился,
Вправо, влево поклонился
И сквозь зубы отвечал:
«Всю я ноченьку не спал,
Да, к моей судьбе несчастной,
Ночью холод был ужасный,
До сердцов меня пробрал;
Всю я ночь проскакал;
Слишком было неподручно...
Впрочем, все благополучно».
И ему сказал отец:
«Ты, Гаврило, молодец!»

Стало в третий раз смеркаться,
Надо младшему сбираться;
Он и усом не ведет,
На печи в углу поет
Изо всей дурацкой мочи:
«Распрекрасные вы, очи!»

Братья ну ему пенять,
Стали в поле погонять,
Но, сколь долго ни кричали,
Только голос потеряли:
Он ни с места. Наконец
Подошел к нему отец,
Говорит ему: «Послушай,
Побегáй в дозор, Ванюша;
Я куплю тебе лубков,
Дам гороху и бобов».
Тут Иван с печи слезает,
Малахай свой надевает,
Хлеб за пазуху кладет,
Караул держать идет.

Ночь настала; месяц всходит;
Поле всё Иван обходит,
Озираючись кругом,
И садится под кустом;
Звезды на небе считает
Да краюшку уплетает.
Вдруг о полночь конь заржал...
Караульщик наш привстал,
Посмотрел под рукавицу
И увидел кобылицу.
Кобылица та была
Вся, как зимний снег, бела,
Грива в землю, золотая,
В мелки кольца завитая.
«Эхе-хе! Так вот какой
Наш воришко!.. Но постой,
Я шутить ведь не умею,
Разом сяду те на шею.
Вишь, какая саранча!»
И, минуто улуча,
К кобылице подбегает,
За волнистый хвост хватает
И прыгну́л к ней на хребет —
Только задом наперед.
Кобылица молодая,
Очью бешено сверкая,
Змеем голову свила
И пустилась как стрела.

Вьется кругом над полями,
Виснет пластью надо рвами,
Мчится скоком по горам,
Ходит дыбом по лесам,
Хочет, силой аль обманом,
Лишь бы справиться с Иваном;
Но Иван и сам не прост —
Крепко держится за хвост.

Наконец она устала.
«Ну, Иван, — ему сказала, —
Коль умел ты усидеть,
Так тебе мной и владеть.
Дай мне место для покою
Да ухаживай за мною,
Сколько смыслишь. Да смотри:
По три утренни зари
Выпускай меня на волю
Погулять по чисту полю.
По исходе же трех дней
Двух рожу тебе коней —
Да таких, каких поныне
Не бывало и в помине;
Да еще рожу конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
Двух коней, коль хошь, продай,
Но конька не отдавай
Ни за пояс, ни за шапку,
Ни за черную, слышь, бабку.
На земле и под землей
Он товарищ будет твой:
Он зимой тебя согреет,
Летом холодом обвеет,
В голод хлебом угостит,
В жажду медом напоит.
Я же снова выйду в поле
Силы пробовать на воле».

«Ладно», — думает Иван
И в пастуший балаган
Кобылицу загоняет,

Дверь рогожей закрывает
И, лишь только рассвело,
Отправляется в село,
Напевая громко песню
«Ходил молодец на Пресню».

Вот он всходит на крыльцо,
Вот хватает за кольцо,
Что есть силы в дверь стучится,
Чуть что кровля не валится,
И кричит на весь базар,
Словно сделался пожар.
Братья с лавок поскакали,
Заикаясь, вскричали:
«Кто стучится сильно так?»
— «Это я, Иван-дурак!»
Братья двери отворили,
Дурака в избу впустили
И давай его ругать —
Как он смел их так пугать!
А Иван наш, не снимая
Ни лаптей, ни малахая,
Отправляется на печь
И ведет оттуда речь
Про ночное похождение,
Всем ушам на удивленье:
«Всю я ноченьку не спал,
Звезды на небе считал;
Месяц, ровно, тоже светил, —
Я порядком не приметил.
Вдруг приходит дьявол сам,
С бороною и с усам;
Рожка словно как у кошки,
А глаза-то — что те плошки!
Вот и стал тот черт скакать
И зерно хвостом сбивать.
Я шутить ведь не умею —
И вскочи ему на шею.
Уж таскал же он, таскал,
Чуть башки мне не сломал.
Но и я ведь сам не промах,
Слышь, держал его, как в жомах.
Бился, бился мой хитрец

И взмолился наконец:
«Не губи меня со света!
Целый год тебе за это
Обещаю смирно жить,
Православных не мутить».
Я, слышь, слов-то не померил
Да чертенку и поверил».
Тут рассказчик замолчал,
Позевнул и задремал.
Братья, сколько ни серчали,
Не смогли — захохотали,
Ухватившись под бока,
Над рассказом дурака.
Сам старик не мог сдержаться,
Чтоб до слез не посмеяться,
Хоть смеяться — так оно
Старикам уж и грешно.

Много времени аль мало
С этой ночи пробежало, —
Я про это ничего
Не слыхал ни от кого.
Ну, да что нам в том за дело,
Год ли, два ли пролетело, —
Ведь за ними не бежать...
Станем сказку продолжать.
Ну-с, так вот что! Раз Данило
(В праздник, помнится, то было),
Натянувшись зельно пьян,
Затащился в балаган.
Что он видит? — Прекрасивых
Двух коней золотогривых
Да игрушечку-конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
«Хм! Теперь-то я узнал,
Для чего здесь дурень спал!» —
Говорит себе Данило...
Чудо разом хмель посбило;
Вот Данило в дом бежит
И Гавриле говорит:
«Посмотри, каких красивых

Двух коней золотогривых
Наш дурак себе достал, —
Ты и слыхом не слыхал». —
И Дапило да Гаврило,
Что в ногах их мочи было,
По крапиве прямиком
Так и дуют босиком.

Спотыкнувшись три раза,
Починивши оба глаза,
Потирая здесь и там,
Входят братья к двум коням.
Кони ржали и храпели,
Очи яхонтом горели;
В мелки кольца завитой,
Хвост струился золотой,
И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты.
Любо-дорого смотреть!
Лишь царю б на них сидеть.
Братья так на них смотрели,
Что чуть-чуть не окривели.
«Где он это их достал? —
Старший среднему сказал. —
Но давно уж речь ведется,
Что лишь дурням клад дается,
Ты ж хоть лоб себе разбей,
Так не выбьешь двух рублей.
Ну, Гаврило, в ту седмицу
Отведем-ка их в столицу;
Там боярам продадим,
Деньги ровно поделим.
А с деньжонками, сам знаешь,
И попьешь и погуляешь,
Только хлопни по мешку.
А благому дураку
Не достанет ведь догадки,
Где гостят его лошадки:
Пусть их ищет там и сям.
Ну, приятель, по рукам!»
Братья разом согласились,
Обнялись, перекрестились
И вернулись домой,

Говоря промеж собой
Про коней, и про пирушку,
И про чудную зверушку.

Время катит чередом,
Час за часом, день за днем, —
И на первую седмицу
Братья едут в град-столицу,
Чтоб товар свой там продать
И на пристани узнать,
Не пришли ли с кораблями
Немцы в город за холстами
И нейдет ли царь Салтан
Бусурманить христиан.
Вот иконам помолились,
У отца благословились,
Взяли двух коней тайком
И отправились тишком.

Вечер к ночи пробирался;
На ночлег Иван собрался;
Вдоль по улице идет,
Ест краюшку да поет.
Вот он поля достигает,
Руки в боки подпирает
И с прискачкой, словно пан,
Боком входит в балаган.
Всё по-прежнему стояло,
Но коней как не бывало;
Лишь игрушка-горбунок
У его вертелся ног,
Хлопал с радости ушами
Да приплясывал ногами.
Как завоет тут Иван,
Опершись о балаган:
«Ой вы, кони буры-сивы,
Добры кони златогривы!
Я ль вас, други, не ласкал,
Да какой вас черт украл?
Чтоб пропасть ему, собаке!
Чтоб издохнуть в буераке!
Чтоб ему на том свету
Провалиться на мосту!

Ой вы, кони буры-сивы,
Добры кони влатогривы!»

Тут конек ему заржал.
«Не тужи, Иван, — сказал, —
Велика беда, не спору;
Но могу помочь я горю.
Ты на черта не клепли:
Братья коников свели.
Ну, да что болтать пустое,
Будь, Иванушка, в покое.
На меня скорей садись,
Только знай себе держись;
Я хоть росту небольшого,
Да сменю коня другого:
Как пущусь да побегу,
Так и беса настигу».

Тут конек пред ним ложится;
На конька Иван садится,
Уши в загребни берет,
Что есть мочушки ревет.
Горбунок-конек встряхнулся,
Встал на лапки, встрепенулся,
Хлопнул гривкой, захрапел
И стрелою полетел;
Только пыльными клубами
Вихорь вился под ногами.
И в два мига, коль не в миг,
Наш Иван воров настиг.

Братья то есть испугались,
Зачесались и замялись,
А Иван им стал кричать:
«Стыдно, братья, воровать!
Хоть Ивана вы умнее,
Да Иван-то вас честнее:
Он у вас коней не крал».
Старший, корчась, тут сказал:
«Дорогой наш брат, Иваша!
Что переться — дело наше!
Но возьми же ты в расчет
Некорыстный наш живот.

Сколь пшеницы мы ни сеем,
Чуть насущный хлеб имеем.
А коли неурожай,
Так хоть в петлю полезай!
Вот в такой большой печали
Мы с Гаврилой толковали
Всю намеднишнюю ночь —
Чем бы горюшку помочь?
Так и этак мы решили,
Наконец вот так вершили,
Чтоб продать твоих коньков
Хошь за тысячу рублёв.
А в спасибо, молвить к слову,
Привезти тебе обнову —
Красну шапку с позвонком
Да сапожки с каблучком.
Да к тому ж старик не может,
Работать уже не может,
А ведь надо ж мыкать век, —
Сам ты умный человек!»
— «Ну, коль этак, так ступайте, —
Говорит Иван, — продайте
Златогривых два коня
Да возьмите ж и меня».
Братья больно покосились,
Да нельзя же! согласились.

Стало на небе темнеть;
Воздух начал холодеть.
Вот, чтоб им не заблудиться,
Решено остановиться.
Под навесами ветвей
Привязали всех коней,
Принесли с естным лукошко,
Опохмелились немножко
И пошли, что боже даст,
Кто во что из них горазд.

Вот Данило вдруг приметил,
Что огонь вдали засвѣтил.
На Гаврилу он взглянул,
Левым глазом подмигнул
И прикашлянул легонько,

Указав огонь тихонько;
Тут в затылке почесал.
«Эх, как тёмно! — он сказал. —
Хоть бы месяц этак в шутку
К нам проглянул на минутку,
Всё бы легче. А теперь,
Право, хуже мы тетерь...
Да постой-ка... Мне сдается,
Что дымок там светлый вьется...
Видишь, эвон!.. Так и есть!..
Вот бы курево развесть!
Чудо было б!.. А послушай,
Побегáй-ка, брат Ванюша.
А, признаться, у меня
Ни огнива, ни кремня».
Сам же думает Данило:
«Чтоб тебя там задавило!»
А Гаврило говорит:
«Кто-петь знает, что горит!
Коль станишники пристали —
Поминай его, как звали!»

Всё пустяк для дурака,
Он садится на конька,
Бьет в круты бока ногами,
Теребит его руками,
Изо всех горланит сил...
Конь взвился, и след простыл.
«Буди с нами крестна сила! —
Закричал тогда Гаврило,
Оградясь крестом святым. —
Что за бес такой под ним!»

Огонек горит светлее,
Горбунок бежит скорее.
Вот уж он перед огнем.
Светит поле, словно днем;
Чудный свет кругом струится,
Но не греет, не дымится.
Диву дался тут Иван.
«Что, — сказал он, — за шайтан!
Шапок с пять найдется свету,
А тепла и дыма нету;
Эко чудо-огонек!»

Говорит ему конек:
«Вот уж есть чему дивиться!
Тут лежит перо Жар-птицы.
Но для счастья своего
Не бери себе его.
Много, много непокою
Принесет оно с собою».
— «Говори ты! Как не так!» —
Про себя ворчит дурак;
И, подняв перо Жар-птицы,
Завернул его в тряпицы,
Тряпки в шапку положил
И конька поворотил.
Вот он к братьям приезжает
И на спрос их отвечает:
«Как туда я доскакал,
Пень горелый увидал;
Уж над ним я бился, бился,
Так что чуть не надсадился;
Раздувал его я с час.
Нет ведь, черт возьми, угас!»
Братья целу ночь не спали,
Над Иваном хохотали;
А Иван под воз присел.
Вплоть до утра прохрапел.

Тут коней они впрягали
И в столицу приезжали,
Становились в конный ряд
Супротив больших палат.

В той столице был обычай:
Коль не скажет городничий —
Ничего не покупать,
Ничего не продавать.
Вот обедня наступает;
Городничий выезжает
В туфлях, в шапке меховой,
С сотней стражи городской.
Рядом едет с ним глашатай,
Длинноусый, бородатый;
Он в злату трубу трубит,
Громким голосом кричит:

«Гости! Лавки отпирайте,
Покупайте, продавайте;
А надсмотрщикам сидеть
Подле лавок и смотреть,
Чтобы не было содому,
Ни давёжа, ни погрому,
И чтобы никой урод
Не обманывал народ!»
Гости лавки отпирают,
Люд крещеный закликают:
«Эй, честные господа,
К нам пожалуйте сюда!
Как у нас ли тары-бары,
Всяки разные товары!»
Покупальщики идут,
У гостей товар берут;
Гости денежки считают
Да надсмотрщикам мигают.

Между тем градской отряд
Приезжает в конный ряд;
Смотрит — давка от народу,
Нет ни выхода, ни входу;
Так кишма вот и кишат,
И смеются, и кричат.
Городничий удивился,
Что народ развеселился,
И приказ отряду дал,
Чтоб дорогу прочищал.
«Эй вы, черти босоноги!
Прочь с дороги! Прочь с дороги!» —
Закричали усачи
И ударили в бичи.
Тут народ зашевелился,
Шапки снял и расступился.

Пред глазами конный ряд;
Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольца завитой,
Хвост струится золотой...
Наш старик, сколь ни был пылок,
Долго тер себе затылок.

«Чуден, — молвил, — божий свет,
Уж каких чудес в нем нет!»
Весь отряд тут поклонился,
Мудрой речи подивился.
Городничий между тем
Наказал престрого всем.
Чтоб коней не покупали,
Не зевали, не кричали;
Что он едет ко двору
Доложить о всем царю.
И, оставив часть отряда,
Он поехал для доклада.

Приезжает во дворец.
«Ты помилуй, царь-отец, —
Городничий восклицает
И всем телом упадает, —
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить!»
Царь изволил молвить: «Ладно,
Говори, да только складно».
— «Как умею, расскажу:
Городничим я служу,
Верой-правдой исправляю
Эту должность...» — «Знаю, знаю!»
— «Вот сегодня, взяв отряд,
Я поехал в конный ряд.
Приезжаю — тьма народу!
Ну, ни выходу, ни входу.
Что тут делать?.. Приказал
Гнать народ, чтоб не мешал.
Так и случилось, царь-надёжал
И поехал я — и что же?
Предо мною конный ряд;
Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольца завитой,
Хвост струится золотой,
И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты».

Царь не мог тут усидеть.
«Надо коней поглядеть, —

Говорит он. — Да не худо
И завести такое чудо.
Гей, повозку мне! — И вот
Уж повозка у ворот.
Царь умылся, нарядился
И на рынок покатился;
За царем стрельцов отряд.

Вот он въехал в конный ряд.
На колени все тут пали
И «ура» царю кричали.
Царь раскланялся и вмиг
Молодцом с повозки прыг...
Глаз своих с коней не сводит,
Справа, слева к ним заходит,
Словом ласковым зовет,
По спине их тихо бьет,
Треплет шею их крутую,
Гладит гриву золотую,
И, довольно насмотрясь,
Он спросил, оборотясь
К окружавшим: «Эй, ребята!
Чьи такие жеребята?
Кто хозяин?» — Тут Иван,
Руки в боки, словно пан,
Из-за братьев выступает
И, надувшись, отвечает:
«Эта пара, царь, моя,
И хозяин — тоже я».
— «Ну, я пару покупаю!
Продаешь ты?» — «Нет, меняю».
— «Что в промен берешь добра?»
— «Два-пять шапок серебра».
— «То есть это будет десять».
Царь тотчас велел отвесить
И, по милости своей,
Дал в прибавок пять рублей.
Царь-то был великодушный!

Повели коней в конюшни
Десять конюхов седых,
Все в нашивках золотых,
Все с цветными кушаками

И с сафьянными бичами.
Но дорогой, как на смех,
Кони с ног их сбили всех,
Все уздечки разорвали
И к Ивану прибежали.

Царь отправился назад,
Говорит ему: «Ну, брат,
Пара нашим не дается:
Делать нечего, придется
Во дворце тебе служить.
Будешь в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься,
Всю конюшенну мою
Я в приказ тебе даю,
Царско слово в том порука.
Что, согласен?» — «Эка штука!
Во дворце я буду жить,
Буду в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься,
Весь конюшенный завод
Царь в приказ мне отдает;
То есть я из огорода
Стану царский воевода.
Чудно дело! Так и быть,
Стану, царь, тебе служить.
Только, чур, со мной не драться
И давать мне высыпаться,
А не то я был таков!»

Тут он кликнул скакунов
И пошел вдоль по столице,
Сам махая рукавицей,
И под песню дурака
Кони пляшут трепака;
А конек его — горбатко —
Так и ломится вприсядку,
К удивленью людям всем.

Два же брата между тем
Деньги царски получили,

В опояски их зашили,
Постучали ендовой
И отправились домой.
Дома дружно поделились,
Оба враз они женились,
Стали жить да поживать
Да Ивана поминать.

Но теперь мы их оставим,
Снова сказкой позабавим
Православных христиан,
Что наделал наш Иван,
Находясь во службе царской,
При конюшне государской;
Как в суседки он попал,
Как перо свое проспал,
Как хитро поймал Жар-птицу,
Как похитил Царь-девицу,
Как он ездил за кольцом,
Как был на небе послom,
Как он в Солнцевом селенье
Кйту выпросил прощенье;
Как, к числу других затей,
Спас он тридцать кораблей;
Как в котлах он не сварился,
Как красавцем учинился;
Словом: наша речь о том,
Как он сделался царем.

ЧАСТЬ 2

Скоро сказка сказывается,
А не скоро дело делается.

Зачинается рассказ
От Ивановых проказ,
И от сивка, и от бурка,
И от вещего коурка.
Козы на море ушли;
Горы лесом поросли;
Конь с золотой узды срывался,
Прямо к солнцу поднимался;

Лес стоячий под ногой,
Сбоку облак громовой;
Ходит облак и сверкает,
Гром по небу рассыпает.
Это присказка: пожди,
Сказка будет впереди.
Как на море-окияне,
И на острове Буяне
Новый гроб в лесу стоит,
В гробе девица лежит;
Соловей над гробом свищет;
Черный зверь в дубраве рыщет.
Это присказка, а вот —
Сказка чередом пойдет.

Ну, так видите ль, миряне,
Православны христиане,
Наш удалый молодец
Затесался во дворец;
При конюшне царской служит
И нисколько не потужит
Он о братьях, об отце
В государевом дворце.
Да и что ему до братьев?
У Ивана красных платьев,
Красных шапок, сапогов
Чуть не десять коробов;
Ест он сладко, спит он столько,
Что раздолье да и только!

Вот неделей через пять
Начал спальник примечать...
Надо молвить, этот спальник
До Ивана был начальник
Над конюшней надо всей,
Из боярских слыл детей;
Так не диво, что он злился
На Ивана и божился,
Хоть пропасть, а пришлеца
Потурить вон из дворца.
Но, лукавство сокрывая,
Он для всякого случая
Притворился, плут, глухим,

Близоруким и немым;
Сам же думает: «Постой-ка,
Я те двину, неумойка!»
Так неделей через пять
Спальник начал примечать,
Что Иван коней не холит,
И не чистит, и не школит;
Но при всем том два коня
Словно лишь из-под гребня:
Чисто-начисто обмыты,
Гривы в косы перевиты,
Челки собраны в пучок,
Шерсть — ну, лоснится, как шелк;
В стойлах — свежая пшеница,
Словно тут же и родится,
И в чанах больших сыта
Будто только налита.
«Что за притча тут такая? —
Спальник думает, вздыхая. —
Уж не ходит ли, постой,
К нам проказник домовой?
Дай-ка я подкараулю,
А нешто, так я и пулю,
Не смигнув, умею слить, —
Лишь бы дурня уходить.
Донесу я в думе царской,
Что конюший государственной —
Бесурманин, ворожей,
Чернокнижник и злодей;
Что он с бесом хлеб-соль водит,
В церковь божью не ходит,
Католицкий держит крест
И постами мясо ест».
В тот же вечер этот спальник,
Прежний конюших начальник,
В стойлы спрятался тайком
И обсыпался овсом.

Вот и полночь наступила.
У него в груди заныло:
Он ни жив ни мертв лежит,
Сам молитвы всё творит.
Ждет суседни... Чу! всамделе,

Двери глухо заскрыпели.
Кони топнули, и вот
Входит старый коновод.
Дверь задвижкой запирает,
Шапку бережно скидает,
На окно ее кладет
И из шапки той берет
В три завернутый тряпицы
Царский клад — перо Жар-птицы.
Свет такой тут заблистал,
Что чуть спальник не вскричал,
И от страху так забился,
Что овес с него свалился.
Но суседке невдомек!
Он кладет перо в сусек,
Чистить коней начинает,
Умывает, убирает,
Гривы длинные плетет,
Разны песенки поет.
А меж тем, свернувшись клубом,
Поколачивая зубом,
Смотрит спальник, чуть живой,
Что тут деет домовой.
Что за бес! Нешто нарочно
Прирядился плут полночный:
Нет рогов, ни бороды,
Ражий парень, хоть куды!
Волос гладкий, сбоку ленты,
На рубашке прозументы,
Сапоги как ал сафьян, —
Ну точнехонько Иван.
Что за диво? Смотрит снова
Наш глазей на домового...
«Э! так вот что! — наконец
Проворчал себе хитрец. —
Ладно, завтра ж царь узнает,
Что твой глупый ум скрывает.
Подожди лишь только дня,
Будешь помнить ты меня!»
А Иван, совсем не зная,
Что ему беда такая
Угрожает, все плетет
Гривы в косы да поет;

А, убрав их, в оба чана
Нацедил сыты медвяной
И насыпал допoлнa
Белоярого пшена.
Тут, зевнув, перo Жар-птицы
Завернул опять в тряпицы,
Шапку под ухо — и лег
У коней близ задних ног.

Тoлькo началo зориться,
Спальник начал шевелиться,
И, услышa, чтo Иван
Так храпит, как Еруслан,
Он тихонькo вниз слезает
И к Ивану подползает,
Пальцы в шапку запустил,
Хвать перo — и след простыл.

Царь лишь тoлькo пробудился,
Спальник наш к нему явился,
Стукнул крепкo об пол лбом
И запел царю потoм:
«Я с повиннoй головою,
Царь, явился пред тобою,
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить».
— «Говори, не прибавляя, —
Царь сказал ему, зевая, —
Если ж ты да будешь врать,
То кнута не миновать».
Спальник наш, собравшись с силой,
Говорит царю: «Пoмилуй!
Вот те истинный Христос,
Справедлив мой, царь, донос.
Наш Иван, то всякий знает,
От тебя, отец, скрывает,
Но не златo, не сребрo —
Жароптицево перo...»
— «Жароптицево?.. Проклятый!
И он смел такой богатый...
Погоди же ты, злодей!
Не минуешь ты плетей!..»
— «Да и то ль еще он знает? —

Спальник тихо продолжает,
Изогнувшись. — Добро!
Пусть имел бы он перо;
Да и самую Жар-птицу
Во твою, отец, светлицу,
Коль приказ изволишь дать,
Похвалется достать».
И доносчик с этим словом,
Скрючась обручем таловым,
Ко кровати подошел,
Подав клад — и снова в пол.

Царь смотрел и дивовался,
Гладил бороду, смеялся
И скусил пера конец.
Тут, уклад его в ларец,
Закричал (от нетерпенья),
Подтвердив свое веленье
Быстрым взмахом кулака:
«Гей! Позвать мне дурака!»

И посыльные дворяна
Побежали по Ивана,
Но, столкнувшись все в углу,
Растянулись на полу.
Царь тем много любовался
И до колотья смеялся.
А дворяна, усмотря,
Что смешно то для царя,
Меж собой перемигнулись
И вдругорядь растянулись.
Царь тем так доволен был,
Что их шапкой наградил.
Тут посыльные дворяна
Вновь пустились звать Ивана
И на этот уже раз
Обошлись без проказ.

Вот к конюшне прибегают,
Двери настежь отворяют
И ногами дурака
Ну толкать во все бока.
С полчасца над ним возились,

Но его не добудились;
Наконец уж рядовой
Разбудил его метлой.

«Что за челядь тут такая? —
Говорит Иван, вставая. —
Как хвачу я вас бичом,
Так не станете потом
Без пути будить Ивана!»
Говорят ему дворяна:
«Царь изволил приказать
Нам тебя к нему позвать».
— «Царь?.. Ну ладно! Вот сряжуся
И тотчас к нему явлюся», —
Говорит послам Иван.
Тут надел он свой кафтан,
Опояской подвязался,
Приумылся, причесался,
Кнут свой сбоку прицепил,
Словно утица поплыл.

Вот Иван к царю явился,
Поклонился, подбодрился,
Крякнул дважды и спросил:
«А пошто меня будил?»
Царь, прищурясь глазом левым,
Закричал к нему со гневом,
Приподнявшись: «Молчать!
Ты мне должен отвечать:
В силу коего указа
Скрыл от нашего ты глаза
Наше царское добро —
Жароптицево перо?
Что я — царь али боярин?
Отвечай сейчас, татарин!»
Тут Иван, махнув рукой,
Говорит царю: «Постой!
Я те шапки, ровно, не дал,
Как же ты о том проведал?
Что ты — ажно ты пророк?
Ну, да что, сади в острог,
Прикажи сейчас хоть в палки —
Нет пера, да и шабалки!..»

— «Отвечай же! Запорю!..»
 — «Я те толком говорю:
 Нет пера! Да, слышь, откуда
 Мне достать такое чудо?»
 Царь с кровати тут вскочил
 И ларец с пером открыл.
 «Что? Ты смел еще переться?
 Да уж нет, не отвертеться!
 Это что? А?» Тут Иван
 Задрожав, как лист в буран,
 Шапку выронил с испуга.
 «Что, приятель, видно, туго? —
 Молвил царь. — Постой-ка брат!..»
 — «Ох, помилуй, виноват!
 Отпусти вину Ивану,
 Я вперед уж врать не стану».

И, закутавшись в полу,
 Растянулся на полу.
 «Ну, для первого случая
 Я вину тебе прощаю, —
 Царь Ивану говорит. —
 Я, помилуй бог, сердит!
 И с сердцов иной порою
 Чуб сниму и с головою.
 Так вот, видишь, я каков!
 Но, сказать без дальних слов,
 Я узнал, что ты Жар-птицу
 В нашу царскую светлицу,
 Если б вздумал приказать,
 Похваляешься достать.
 Ну, смотри ж, не отпирайся
 И достать ее старайся».

Тут Иван волчком вскочил.
 «Я того не говорил, —
 Закричал он, утираясь, —
 О пере не запираюсь,
 Но о птице, как ты хошь,
 Ты напраслину ведешь».

Царь, затрясши бородою:
 «Что? Рядиться мне с тобою? —
 Закричал он. — Но смотри!
 Если ты недели в три
 Не достанешь мне Жар-птицу

В нашу царскую светлицу,
То, клянуся бородой,
Ты заплатишься со мной:
На правёж — в решетку — на кол!
Вон, холоп!» Иван заплакал
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

Горбунок, его почуя,
Дрягнул было плясовую;
Но, как слезы увидал,
Сам чуть-чуть не зарыдал.
«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорил ему конек,
У его вертяся ног. —
Не утайся предо мною,
Все скажи, что за душою;
Я помочь тебе готов.
Аль, мой милый, нездоров?
Аль попался к лиходею?»
Пал Иван к коньку на шею,
Обнимал и целовал,
«Ох, беда, конек! — сказал. —
Царь велит достать Жар-птицу
В государскую светлицу.
Что мне делать, горбунок?»
Говорит ему конек:
«Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю.
Оттого беда твоя,
Что не слушался меня:
Помнишь, ехав в град-столицу,
Ты нашел перо Жар-птицы;
Я сказал тебе тогда:
Не бери, Иван, — беда!
Много, много непокою
Принесет оно с собою.
Вот теперя ты узнал,
Правду ль я тебе сказал.
Но, сказать тебе по дружбе,
Это — службишка, не служба;
Служба всё, брат, впереди.

Ты к царю теперь поди
И скажи ему открыто:
«Надо, царь, мне два корыта
Белоярого пшена
Да заморского вина.
Да вели поторопиться:
Завтра, только зазорится,
Мы отправимся в поход».

Вот Иван к царю идет,
Говорит ему открыто:
«Надо, царь, мне два корыта
Белоярого пшена
Да заморского вина.
Да вели поторопиться:
Завтра, только зазорится,
Мы отправимся в поход».
Царь тотчас приказ дает,
Чтоб посыльные дворяна
Всё сыскали для Ивана,
Молодцом его назвал
И «счастливый путь!» сказал.

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:
«Гей! хозяин! полно спать!
Время дело исправлять!»
Вот Иванушка поднялся,
В путь-дорожку собирался.
Взял корыта, и пшено,
И заморское вино;
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся,
Вынул хлеба ломоток
И поехал на восток —
Доставать тоё Жар-птицу.

Едут целую седмицу,
Напоследок, в день осьмой,
Приезжают в лес густой.
Тут сказал конек Ивану:
«Ты увидишь здесь поляну;
На поляне той гора

Вся из чистого сребра;
Вот сюда-то до зарницы
Прилетают жары-птицы
Из ручья воды испить;
Тут и будем их ловить».
И, окончив речь к Ивану,
Выбегает на поляну.
Что за поле! Зелень тут
Словно камень изумруд,
Ветерок над нею веет,
Так вот искорки и сеет,
А по зелени цветы
Несказанной красоты.
А на той ли на поляне,
Словно вал на океане,
Возвышается гора
Вся из чистого сребра.
Солнце летними лучами
Красит всю ее зарями,
В сгибах золотом бежит,
На верхах свечой горит.

Вот конек по косогору
Поднялся на эту гору,
Версту, другу пробежал,
Устоялся и сказал:
«Скоро ночь, Иван, начнется,
И тебе стеречь придется.
Ну, в корыто лей вино
И с вином мешай пшено.
А чтоб быть тебе закрыту,
Ты под то подлезь корыто,
Втихомолку примечай,
Да смотри же, не зевай.
До восхода, слышь, зарницы
Прилетят сюда жар-птицы
И начнут пшено клевать
Да по-своему кричать.
Ты, которая поближе,
И схвати ее, смотри же!
А поймашь птицу-жар —
И кричи на весь базар;
Я тотчас к тебе явлюся».

— «Ну, а если обожгуся? —
Говорит коньку Иван.
Расстилая свой кафтан. —
Рукавички взять придется:
Чай, плутовка больно жжется».
Тут конек из глаз исчез,
А Иван, кряхтя, подлез
Под дубовое корыто
И лежит там как убитый.

Вот полночною порой
Свет разлился над горой,
Будто полдни наступают:
Жары-птицы налетают;
Стали бегать и кричать
И пшено с вином клевать.
Наш Иван, от них закрытый,
Смотрит птиц из-под корыта
И толкует сам с собой,
Разводя вот так рукой:
«Тьфу ты, дьявольская сила!
Эк их, дряни, привалило!
Чай, их тут десятков с пять.
Кабы всех переимать —
То-то было бы поживы!
Неча молвить, страх красивы!
Ножки красные у всех,
А хвосты-то — сущий смех!
Чай, таких у куриц нету.
А уж сколько, парень, свету —
Словно батюшкина печь!»
И, скончав такую речь
Сам с собою под лазейкой,
Наш Иван ужом да змейкой
Ко пшену с вином подполз —
Хвать одну из птиц за хвост.
«Ой! Конечек-горбуночек!
Прибегай скорей, дружок!
Я ведь птицу-то поймал!» —
Так Иван-дурак кричал.
Горбунок тотчас явился.
«Ай, хозяин, отличился! —
Говорит ему конек. —

Ну, скорей ее в мешок!
Да завязывай туже;
А мешок привесь на шею,
Надо нам в обратный путь».
— «Нет, дай птиц-то мне пугнуть! —
Говорит Иван. — Смотри-ка,
Вишь, надселися от крика!»
И, схвативши свой мешок,
Хлещет вдоль и поперек.
Ярким пламенем сверкая,
Встрепенулася вся стая,
Кругом огненным свилась
И за тучи понеслась.
А Иван наш вслед за ними
Рукавицами своими
Так и машет и кричит,
Словно щелоком облит.
Птицы в тучах потерялись;
Наши путники собрались,
Уложили царский клад
И вернулись назад.
Вот приехали в столицу.
«Что, достал ли ты Жар-птицу?» —
Царь Ивану говорит,
Сам на спальника глядит.
А уж тот, нешто от скуки,
Искусал себе все руки.
«Разумеется, достал», —
Наш Иван царю сказал.
«Где ж она?» — «Постой немножко,
Прикажи сперва окошко
В почивальне затворить,
Знашь, чтоб темень сотворить».
Тут дворяна побежали
И окошко затворяли.
Вот Иван мешок на стол:
«Ну-ка, бабушка, пошел!»
Свет такой тут вдруг разлился,
Что весь люд рукой закрылся.
Царь кричит на весь базар:
«Ахти, батюшка, пожар!
Эй, решеточных сзывайте!
Заливайте! Заливайте!»

— «Это, слышь ты, не пожар,
— Это свет от птицы-жар, —
Молвил ловчий, сам со смеху
Надрываясь. — Потеху
Я привез те, осударь!»
Говорит Ивану царь:
«Вот люблю дружка Ванюшу!
Взвеселил мою ты душу,
И на радости такой —
Будь же царский стремянной!»

Это видя, хитрый спальник,
Прежний конюших начальник,
Говорит себе под нос:
«Нет, постой, молокосос!
Не всегда тебе случится
Так канальски отличиться.
Я те снова подведу,
Мой дружочек, под беду!»

Через три потом недели
Вечерком одним сидели
В царской кухне повара
И служители двора,
Попивали мед из жбана
Да читали Еруслана.
«Эх! — один слуга сказал, —
Как севодни я достал
От соседа чудо-книжку!
В ней страниц не так чтоб слишком,
Да и сказок только пять,
А уж сказки — вам сказать,
Так не можно надивиться;
Надо ж этак умудриться!»
Тут все в голос: «Удружи!
Расскажи, брат, расскажи!»
— «Ну, какую ж вы хотите?
Пять ведь сказок; вот смотрите:
Перва сказка о бобре,
А вторая о царе;
Третья... дай бог память... точно!
О боярыне восточной;
Вот в четвертой: князь Бобыл;

В пятой сказке говорится...
Так в уме вот и вертится...»
— «Ну, да брось ее!» — «Постой!..»
— «О красоте, что ль, какой?»
— «Точно! В пятой говорится
О прекрасной Царь-девице.
Ну, которую ж, друзья,
Расскажу сегодня я?»
— «Царь-девицу! — все кричали. —
О царях мы уж слышали,
Нам красоток-то скорей!
Их и слушать веселей». —
И слуга, усевшись важно,
Стал рассказывать протяжно:

«У далеких немских стран
Есть, ребята, окиян.
По тому ли окияну
Ездят только бесурманы;
С православной же земли
Не бывали николи
Ни дворяне, ни мирыне
На поганом окияне.
От гостей же слух идет,
Что девица там живет;
Но девица не простая,
Дочь, вишь, Месяцу родная.
Да и Солнышко ей брат.
Та девица, говорят,
Ездит в красном полушубке,
В золотой, ребята, шляпке
И серебряным веслом
Самолично правит в нем;
Разны песни попевает
И на гусельках играет...»

Спальник тут с полатей скок —
И со всех обеих ног
Во дворец к царю пустился
И как раз к нему явился,
Стукнул крепко об пол лбом
И запел царю потом:
«Я с повинной головою,

Царь, явился пред тобою,
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить!»
— «Говори, да правду только,
И не ври, смотри, нисколько!» —
Царь с кровати закричал.
Хитрый спальник отвечал:
«Мы сегодня в кухне были,
За твоё здоровье пили,
А один из дворских слуг
Нас забавил сказкой вслух;
В этой сказке говорится
О прекрасной Царь-девице.
Вот твой царский стремянной
Поклялся твоей брадой,
Что он знает эту птицу —
Так он назвал Царь-девицу, —
И её, изволишь знать,
Похваляется достать».
Спальник стукнул об пол снова.
«Гей, позвать мне стремяннова!» —
Царь посыльным закричал.
Спальник тут за печку стал;
А посыльные дворяна
Побежали по Ивану,
В крепком сне его нашли
И в рубашке привели.

Царь так начал речь: «Послушай,
На тебя донос, Ванюша.
Говорят, что вот сейчас
Похвалялся ты для нас
Отыскать другую птицу,
Сиречь молвить, Царь-девицу...»
— «Что ты, что ты, бог с тобой!» —
Начал царский стремянной. —
Чай, спросонков, я толкую,
Штуку выкинул такую.
Да хитри себе как хошь,
А меня не проведешь».
Царь, затрясши бородою:
«Что? Рядиться мне с тобою?» —
Закричал он. — Но смотри,

Если ты недели в три
Не достанешь Царь-девицу
В нашу царскую светлицу,
То, клянуся бородой,
Ты поплатишься со мной:
На правёж — в решетку — на кол!
Вон, холоп!» Иван заплакал
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорит ему конек. —
Аль, мой милый, занемог?
Аль попался к лиходею?»
Пал Иван к коньку на шею,
Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конек! — сказал. —
Царь велит в свою светлицу
Мне достать, слышь, Царь-девицу.
Что мне делать, горбунок?»
Говорит ему конек:
«Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю.
Оттого беда твоя,
Что не слушался меня.
Но, сказать тебе по дружбе,
Это — службишка, не служба;
Служба всё, брат, впереди!
Ты к царю теперь поди
И скажи: «Ведь для поимки
Надо, царь, мне две ширинки,
Шитый золотом шатер
Да обеденный прибор —
Весь заморского варенья,
И сластей для прохлажденья».

Вот Иван к царю идет
И такую речь ведет:
«Для царевниной поимки
Надо, царь, мне две ширинки,
Шитый золотом шатер

Да обеденный прибор —
Весь заморского варенья,
И сластей для прохлажденья». —
«Вот давно бы так, чем нет», —
Царь с кровати дал ответ
И велел, чтобы дворяна
Все сыскали для Ивана,
Молодцом его назвал
И «счастливый путь!» сказал.

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:
«Гей, хозяин! полно спать!
Время дело исправлять!»
Вот Иванушка поднялся,
В путь-дорожку собирался,
Взял ширинки и шатер
Да обеденный прибор —
Весь заморского варенья,
И сластей для прохлажденья;
Всё в мешок дорожный склал
И веревкой завязал,
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся,
Вынул хлеба ломоток
И поехал на восток
По тоё ли Царь-девицу.

Едут целую седмицу,
Напоследок, в день осьмой,
Приезжают в лес густой.
Тут сказал конек Ивану:
«Вот дорога к окияну,
И на нем-то круглый год
Та красавица живет;
Два раза она лишь сходит
С окияна и приводит
Долгий день на землю к нам.
Вот увидишь завтра сам».
И, окончив речь к Ивану,
Выбегает к окияну,
На котором белый вал
Одинешенек гулял.

Тут Иван с конька слезает,
А конек ему вещает:
«Ну, раскидывай шатер,
На ширинку ставь прибор
Из заморского варенья
И сластей для прохлажденья.
Сам ложися за шатром
Да смекай себе умом.
Видишь, шлюпка вон мелькает...
То царевна подплывает.
Пусть в шатер она войдет,
Пусть покушает, попьет;
Вот как в гусли заиграет —
Энай, уж время наступает.
Ты тотчас в шатер вбегай,
Ту царевну сохватай,
И держи ее сильнее,
Да зови меня скорее.
Я на первый твой приказ
Прибегу к тебе как раз,
И поедем... Да смотри же,
Ты гляди за ней поближе,
Если ж ты ее проспишь,
Так беды не избежишь».
Тут конек из глаз сокрылся,
За шатер Иван забился
И давай дыру вертеть,
Чтоб царевну подсмотреть.

Ясный полдень наступает,
Царь-девица подплывает,
Входит с гуслиями в шатер
И садится за прибор.
«Хм! Так вот та Царь-девица!
Как же в сказках говорится, —
Рассуждает стремянной, —
Что куда красна собой
Царь-девица, так что диво!
Эта вовсе не красива:
И бледна-то, и тонка,
Чай, в обхват-то три вершка;
А ножонка-то, ножонка!
Тьфу ты! Словно у цыпленка!

Пусть полюбится кому,
Я и даром не возьму». —
Тут царица заиграла
И столь сладко припевала,
Что Иван, не зная как,
Прикорнулся на кулак
И под голос тихий, стройный
Засыпает преспокойно.

Запад тихо догорал,
Вдруг конек над ним заржал
И, толкнув его копытом,
Крикнул голосом сердитым:
«Спи, любезный, до звезды!
Высыпай себе беды,
Не меня ведь вздернут на кол!»
Тут Иванушка заплакал
И, рыдая, просил,
Чтоб конек его простил:
«Отпусти вину Ивану,
Я вперед уж спать не стану».
— «Ну, уж бог тебя простит! —
Горбунок ему кричит. —
Все поправим, может статься,
Только, чур, не засыпаться;
Завтра, рано поутру,
К златошвейному шатру
Приплывет опять девица
Меду сладкого напиться.
Если ж снова ты заснешь,
Головы уж не снесешь».
Тут конек опять сокрылся;
А Иван собирать пустился
Острых камней и гвоздей
От разбитых кораблей
Для того, чтоб уколется,
Если вновь ему вздремнется.

На другой день, поутру,
К златошвейному шатру
Царь-девица подплывает,
Шлюпку на берег бросает,
Входит с гусями в шатер

И садится за прибор...
Вот царевна заиграла
И столь сладко припевала,
Что Иванушке опять
Захотелось поспать.
«Нет, постой же ты, дрянная! —
Говорит Иван, вставая. —
Ты вдругóрядь не уйдешь
И меня не проведешь».
Тут в шатер Иван вбегает,
Косу длинную хватает...
«Ой, беги, конек, беги!
Горбунок мой, помоги!»
Вмиг конек к нему явился.
«Ай, хозяин, отличился!
Ну, садись же поскорей
Да держи ее плотней!»

Вот столицы достигает.
Царь к царевне выбегает,
За белы руки берет,
Бо дворец ее ведет
И сажит за стол дубовый
И под занавес шелковый,
В глазки с нежностью глядит,
Сладки речи говорит:
«Бесподобная девица!
Согласися быть царица!
Я тебя едва узрел —
Сильной страстью воскипел.
Соколины твои очи
Не дадут мне спать средь ночи
И во время бела дня
Ох! измучают меня.
Молви ласковое слово!
Все для свадьбы уж готово;
Завтра ж утром, светик мой,
Обвенчаемся с тобой
И начнем жить, припевая».
А царевна молодая,
Ничего не говоря,
Отвернулась от царя.
Царь несколько не сердился,

Но сильней еще влюбился;
На колен пред нею стал,
Ручки нежно пожимал
И балясы начал снова:
«Молви ласковое слово!
Чем тебя я огорчил?
Али тем, что полюбил?
О, судьба моя плачевна!»
Говорит ему царевна:
«Если хочешь взять меня,
То доставь ты мне в три дня
Перстень мой из окияна!»
— «Гей! Позвать ко мне Ивана!» —
Царь поспешно закричал
И чуть сам не побежал.

Вот Иван к царю явился,
Царь к нему оборотился
И сказал ему: «Иван!
Поезжай на окиян;
В окияне том хранится
Перстень, слышь ты, Царь-девицы.
Коль достанешь мне его,
Задарю тебя всего».
— «Я и с первой-то дороги
Волочу насили ноги —
Ты опять на окиян!» —
Говорит царю Иван.
«Как же, плут, не торопиться, —
Видишь, я хочу жениться, —
Царь со гневом закричал
И ногами застучал. —
У меня не отпирайся,
А скорее отправляйся!»
Тут Иван хотел идти.
«Эй, послушай! По пути, —
Говорит ему царица, —
Заезжай ты поклониться
В изумрудный терем мой
Да скажи моей родной:
Дочь ее узнать желает,
Для чего она скрывает
По три ночи, по три дня

Лик свой ясный от меня?
И зачем мой братец красный
Завернулся в мрак ненастный
И в туманной вышине
Не пошлет луча ко мне?
Не забудь же!» — «Помнить буду,
Если только не забуду;
Да ведь надо же узнать,
Кто те братец, кто те мать,
Чтоб в родне-то нам не сбиться».
Говорит ему царица:
«Месяц — мать мне, Солнце — брат».
— «Да смотри, в три дня назад!» —
Царь-жених к тому прибавил,
Тут Иван царя оставил
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил?» —
Говорит ему конек.
«Помоги мне, горбунок!
Видишь, вздумал царь жениться,
Знашь, на тоненькой царице,
Так и шлет на окиян, —
Говорит коньку Иван, —
Дал мне сроку три дня только;
Тут попробовать изволь-ка
Перстень дьявольский достать!
Да велела заезжать
Эта тонкая царица
Где-то в терем поклониться
Солнцу, Месяцу, притом
И спросать кое об чем...»
Тут конек: «Сказать по дружбе,
Это — службишка, не служба;
Служба всё, брат, впереди!
Ты теперя спать поди!
А на завтра, утром рано,
Мы поедем к окияну».

На другой день наш Иван,
Взяв три луковки в карман,

Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся
И поехал в дальний путь...
Дайте, братцы, отдохнуть!

ЧАСТЬ 3

Доселева Макар огороды копал,
А нынче Макар в воеводы попал.

Та-ра-ра-ли, та-ра-ра!
Вышли кони со двора;
Вот крестьяне их поймали
Да покрепче привязали.
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу;
Как во трубушку играет,
Православных потешает:
«Эй, послушай, люд честной!
Жили-были муж с женой;
Муж-то примется за шутки,
А жена за прибаутки,
И пойдет у них тут пир,
Что на весь крещеный мир!»
Это присказка ведется,
Сказка по́слее начнется.
Как у наших у ворот
Муха песенку поет:
«Что дадите мне за вестку?
Бьет свекровь свою невестку:
Посадила на шесток,
Привязала за шнурок,
Ручки к ножкам притянула,
Ножку правую разула:
«Не ходи ты по зарям!
Не кажися молодцам!»
Это присказка велася,
Вот и сказка началась.

Ну-с, так едет наш Иван
За кольцом на окиян.
Горбунок летит, как ветер,

И в почин на первый вечер
Верст сто тысяч отмахал
И нигде не отдыхал.

Подъезжая к окияну,
Говорит конек Ивану:
«Ну, Иванушка, смотри,
Вот минутки через три
Мы приедем на поляну —
Прямо к морю-окияну;
Поперек его лежит
Чудо-юдо рыба-кит;
Десять лет уж он страдает,
А доселева не знает,
Чем прощенье получить;
Он учнет тебя просить,
Чтоб ты в Солнцевом селенье
Попросил ему прощенье:
Ты исполнить обещаешь.
Да смотри ж, не забывай!»
Вот въезжает на поляну
Прямо к морю-окияну;
Поперек его лежит
Чудо-юдо рыба-кит.
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты,
На хвосте сыр-бор шумит,
На спине село стоит;
Мужички на губе пашут,
Между глаз мальчишки пляшут,
А в дубраве, меж усов,
Ищут девушки грибов.

Вот конек бежит по киту,
По костям стучит копытом.
Чудо-юдо рыба-кит
Так проезжим говорит,
Рот широкий отворяя,
Тяжко, горько вздыхая:
«Путь-дорога, господа!
Вы откуда и куда?»
— «Мы послы от Царь-девицы,
Едем оба из столицы, —

Говорит киту конек, —
К Солнцу прямо на восток,
Во хоромы золотые.
— «Так нельзя ль, отцы родные,
Вам у солнышка спросить:
Долго ль мне в опале быть
И за кои прегрешенья
Я терплю беды-мученья?»
— «Ладно, ладно, рыба-кит!» —
Наш Иван ему кричит.
— «Будь отец мне милосердный!
Бишь, как мучуся я, бедный!
Десять лет уж тут лежу...
Я и сам те услужу!..» —
Кит Ивана умоляет,
Сам же горько вздыхает.
«Ладно, ладно, рыба-кит!» —
Наш Иван ему кричит.
Тут конек под ним забился,
Прыг на берег и пустился,
Только видно, как песок
Вьется вихорем у ног.

Едут близко ли, далеко,
Едут низко ли, высоко
И увидели ль кого —
Я не знаю ничего.
Скоро сказка говорится.
Дело мешкотно творится.
Только, братцы, я узнал,
Что конек туда вбежал,
Где (я слышал стороною)
Небо сходится с землею,
Где крестьянки лен прядут.
Прялки на небо кладут.

Тут Иван с землею протислся
И на небе очутился,
И поехал, будто князь,
Шапка набок, подбодрясь.
«Эко диво! Эко диво!
Наше царство хоть красиво —
Говорит коньку Иван

Средь лазоревых полян, —
А как с небом-то сравнится,
Так под стельку не годится.
Что земля-то!.. Ведь она
И черна-то и грязна;
Здесь земля-то голубая,
А уж светлая какая!..
Посмотри-ка, горбунок,
Видишь, вон где, на восток,
Словно светится зарница...
Чай, небесная светлица...
Что-то больно высока!» —
Так спросил Иван конька.
«Это терем Царь-девицы,
Нашей будущей царицы, —
Горбунок ему кричит, —
По ночам здесь Солнце спит,
А полуденной порою
Месяц входит для покою».

Подъезжают; у ворот
Из столбов хрустальный свод:
Все столбы те завитые
Хитро в змейки золотые,
На верхушках три звезды,
Вокруг терема сады,
На серебряных там ветках
В раззолоченных во клетках
Птицы райские живут,
Песни царские поют.
А ведь терем с теремами
Будто город с деревнями;
А на тереме — из звезд
Православный русский крест.

Вот конек во двор въезжает;
Наш Иван с него слезает,
В терем к Месяцу идет
И такую речь ведет:
«Здравствуй, Месяц Месяцович!
Я — Иванушка Петрович! —
Из далеких я сторон
И привез тебе поклон».

— «Сядь, Иванушка Петрович! —
 Молвил Месяц Месяцovich. —
 И поведай мне вину
 В нашу светлую страну
 Твоего с земли прихода;
 Из какого ты народа,
 Как попал ты в этот край, —
 Все скажи мне, не утай».

— «Я с земли пришел Землянской,
 Из страны ведь христианской, —
 Говорит, садясь, Иван, —
 Переехал окиян
 С порученьем от царицы —
 В светлый терем поклониться
 И сказать вот так, постой:
 «Ты скажи моей родной:
 Дочь ее узнать желает,
 Для чего она скрывает
 По три ночи, по три дня
 Лик какой-то от меня
 И зачем мой братец красный
 Завернулся в мрак ненастный
 И в туманной вышине
 Не пошлет луча ко мне?»
 Так, кажися? Мастерница
 Говорить краснó царица;
 Не припомнишь все сполна,
 Что сказала мне она».

— «А какая то царица?»
 — «Это, знаешь, Царь-девица».

— «Царь-девица?.. Так она,
 Что ль, тобой увезена?» —
 Вскрикнул Месяц Месяцovich.
 А Иванушка Петрович
 Говорит: «Известно, мной!
 Вишь, я царский стремянной;
 Ну, так царь меня отправил,
 Чтобы я ее доставил
 В три недели во дворец;
 А не то меня отец
 Посадить грозился на кол».

Месяц с радости заплакал,
 Ну Ивана обнимать,

Целовать и миловать.
«Ах, Иванушка Петрович! —
Молвил Месяц Месяцovich. —
Ты принес такую вестъ,
Что не знаю, чем и счесть!
А уж мы как горевали,
Что царевну потеряли!
Оттого-то, видишь, я
По три ночи, по три дня
В темном облаке ходила,
Все грустила да грустила,
Трое суток не спала,
Крошки хлеба не брала.
Оттого-то сын мой красный
Завернулся в мрак ненастный,
Луч свой жаркий погасил,
Миру божью не светил:
Все грустил, вишь, по сестрице,
Той ли красной Царь-девице.
Что, здорова ли она?
Не грустна ли, не больна?»
— «Всем бы, кажется, красotka,
Да у ней, кажись, сухотка:
Ну, как спичка, слышь, тонка.
Чай, в обхват-то три вершка;
Вот как замуж-то поспеет,
Так небось и потолстеет:
Царь, слышь, женится на ней».
Месяц вскрикнул: «Ах, злодей!
Вздумал в семьдесят жениться
На молоденькой девице!
Да стою я крепко в том —
Просидит он женихом!
Вишь, что старый хрен затеял:
Хочет жать там, где не сеял!
Полно, лаком больно стал!»
Тут Иван опять сказал:
«Есть еще к тебе прошение,
То о китовом прощенье...
Есть, вишь, море; чудо-кит
Поперек его лежит:
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты...

Он, бедняк, меня прошал,
Чтобы я тебя спрашал:
Скоро ль кончится мученье?
Чем сыскать ему прощенье?
И на что он тут лежит?»
Месяц ясный говорит.
«Он за то несет мученье,
Что без божия веления
Проглотил среди морей
Три десятка кораблей.
Если даст он им свободу,
Снимет бог с него невзгоду.
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит».

Тут Иванушка поднялся,
С светлым Месяцем прощался,
Крепко шею обнимал,
Трижды в щеки целовал.
«Ну, Иванушка Петрович, —
Молвил Месяц Месяцovich, —
Благодарствую тебя
За сынка и за себя.
Отнеси благословенье
Нашей дочке в утешенье
И скажи моей родной:
«Мать твоя всегда с тобой;
Полно плакать и крушиться:
Скоро грусть твоя решится, —
И не старый, с бородой,
А красавец молодой
Поведет тебя к налою».
Ну, прощай же! Бог с тобою!»
Поклонившись, как умел,
На конька Иван тут сел,
Свистнул, будто витязь знатный,
И пустился в путь обратный.

На другой день наш Иван
Вновь пришел на окиян.
Вот конек бежит по киту,
По костям стучит копытом.
Чудо-юдо рыба-кит

Так, вздохнувши, говорит:
«Что, отцы, мое прошение?
Получу ль когда прошение?»
— «Погоди ты, рыба-кит!» —
Тут конек ему кричит.

Вот в село он прибегает,
Мужиков к себе сзывает,
Черной гривкою трясет
И такую речь ведет:
«Эй, послушайте, миряне,
Православны христиане!
Коль не хочет кто из вас
К водяному сесть в приказ,
Убирайся вмиг отсюда
Здесь тот час случится чудо:
Море сильно закипит,
Повернется рыба-кит...»
Тут крестьяне и миряне,
Православны христиане,
Закричали: «Быть бедам!»
И пустились по домам.
Все телеги собирали;
В них, не мешкая, поклали
Все, что было живота,
И оставили кита.
Утро с полднем повстречалось,
А в селе уж не осталось
Ни одной души живой,
Словно шел Мамай войной!

Тут конек на хвост вбегает,
К перьям близко прилегает
И что мочи есть кричит:
«Чудо-юдо рыба-кит!
Оттого твои мученья,
Что без божия веленья
Проглотил ты средь морей
Три десятка кораблей.
Если дашь ты им свободу,
Снимет бог с тебя невзгоду,
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит»

И, окончив речь такую,
Закусил узду стальную,
Понатужился — и вмиг
На далекий берег прыг.

Чудо-кит зашевелился,
Словно холм поворотился,
Начал море волновать
И из челюстей бросать
Корабли за кораблями
С парусами и гребцами.

Тут поднялся шум такой,
Что проснулся царь морской:
В пушки медные палили,
В трубы кованы трубили;
Белый парус поднялся,
Флаг на мачте развился;
Поп с причетом всем служебным
Пел на палубе молебны;
А гребцов веселый ряд
Грянул песню наподхват:
«Как по моречку, по морю,
По широкому раздолью,
Что по самый край земли,
Выбегают корабли...»

Волны моря заclubились,
Корабли из глаз сокрылись.
Чудо-юдо рыба-кит
Громким голосом кричит,
Рот широкий отворяя,
Плесом волны разбивая:
«Чем вам, други, услужить?
Чем за службу наградить?
Надо ль раковин цветистых?
Надо ль рыбок золотистых?
Надо ль крупных жемчугов?
Все достать для вас готов!»
— «Нет, кит-рыба, нам в награду
Ничего того не надо, —
Говорит ему Иван, —
Лучше перстень нам достань —

Перстень, знаешь, Царь-девицы,
Нашей будущей царицы».
— «Ладно, ладно! Для дружка
И сережку из ушка!
Отыщу я до зарницы
Перстень красной Царь-девицы», —
Кит Ивану отвечал
И, как ключ, на дно упал.
Вот он плесом ударяет,
Громким голосом сзывает
Осетриный весь народ
И такую речь ведет:
«Вы достаньте до зарницы
Перстень красной Царь-девицы,
Скрытый в ящичке на дне.
Кто его доставит мне,
Награжу того я чином:
Будет думным дворянином.
Если ж умный мой приказ
Не исполните... я вас!»
Осетры тут поклонились
И в порядке удалились.

Через несколько часов
Двое белых осетров
К киту медленно подплыли
И смиренно говорили:
«Царь великий! Не гневись!
Мы все море уж, кажись,
Исходили и изрыли,
Но и знаку не открыли.
Только ерш один из нас
Совершил бы твой приказ:
Он по всем морям гуляет,
Так уж, верно, перстень знает;
Но его, как бы назло,
Уж куда-то унесло».
— «Отыскать его в минуту
И послать в мою каюту!» —
Кит сердито закричал
И усами закачал.

Осетры тут поклонились,
В земский суд бежать пустились

И велели в тот же час
От кита писать указ,
Чтоб гонцов скорей послали
И ерша того поймали.
Лещ, услыша сей приказ,
Именной писал указ;
Сом (советником он знался)
Под указом подписался;
Черный рак указ сложил
И печати приложил.
Двух дельфинов тут призвали
И, отдав указ, сказали,
Чтоб от имени царя
Обежали все моря
И того ерша-гуляку,
Крикуна и забияку,
Где бы ни было, нашли,
К государю привели.
Тут дельфины поклонились
И ерша искать пустились.

Ищут час они в морях,
Ищут час они в реках,
Все озера исходили,
Все проливы переплыли,
Не могли ерша сыскать
И вернулись назад,
Чуть не плача от печали...

Вдруг дельфины услышали
Где-то в маленьком пруде
Крик неслыханный в воде.
В пруд дельфины завернули
И на дно его нырнули, —
Глядь: в пруде, под камышом,
Ерш дерется с карасем.
«Смирно! Черти б вас побрали!
Вишь, содом какой подняли,
Словно важные бойцы!» —
Закричали им гонцы.
«Ну а вам какое дело? —
Ерш кричит дельфинам смело. —
Я шутить ведь не люблю,

Разом всех переколю!»
— «Ох ты, вечная гуляка,
И крикун, и забияка!
Все бы, дрянь, тебе гулять,
Все бы драться да кричать.
Дома — нет ведь, не сидится!..
Ну, да что с тобой рядиться, —
Вот тебе царев указ,
Чтоб ты плыл к нему тотчас».
Тут проказника дельфины
Подхватили за щетины
И отправились назад.
Ерш ну рваться и кричать:
«Будьте милосливы, братцы!
Дайте чуточку подраться.
Распроклятый тот карась
Поносил меня вчерась
При честном при всем собрание
Неподобной разной бранью...»
Долго ерш еще кричал,
Наконец и замолчал;
А проказника дельфины
Всё тащили за щетины,
Ничего не говоря,
И явились пред царя.

«Что ты долго не являлся?
Где ты, вражий сын, шатался?» —
Кит со гневом закричал.
На колени ерш упал,
И, признавшись в преступленье,
Он молился о прощенье.
«Ну, уж бог тебя простит! —
Кит державный говорит. —
Но за то твое прощенье
Ты исполни повеленье».
— «Рад стараться, чудо-кит!» —
На коленях ерш пищит.
«Ты по всем морям гуляешь,
Так уж, верно, перстень знаешь
Царь-девицы?» — «Как не знать!
Можем разом отыскать».

— «Так ступай же поскорее
Да сыщи его живее!»

Тут, отдав царю поклон,
Ерш пошел, согнувшись, вон,
С царской дворней побранился,
За плотвой поволочился
И салакушкам шести
Нос разбил он на пути.
Совершив такое дело,
В омут кинулся он смело
И в подводной глубине
Вырыл ящичек на дне —
Пуд по крайней мере во сто.
«О, здесь дело-то не просто!»
И давай из всех морей
Ерш скликать к себе сельдей.

Сельди духом собралися,
Сундучок тащить взялися,
Только слышно и всего —
«У-у-у!» да «О-о-о!».
Но, сколь сильно ни кричали,
Животы лишь надорвали,
А проклятый сундучок
Не дался и на вершок.
«Настоящие селедки!
Вам кнута бы вместо водки!» —
Крикнул ерш со всех сердцов
И нырнул по осетров.

Осетры тут приплывают
И без крика поднимают
Крепко ввязнувший в песок
С перстнем красный сундучок.
«Ну, ребяташки, смотрите,
Вы к царю теперь плывите,
Я ж пойду теперь ко дну
Да немножко отдохну:
Что-то сон одолевает,
Так глаза вот и смыкает...»
Осетры к царю плывут,
Ерш-гуляка прямо в пруд

(Из которого дельфины
Утащили за щетины).
Чай, додраться с карасем, —
Я не ведаю о том.
Но теперь мы с ним простимся
И к Ивану возвратимся.

Тихо море-окиян.
На песке сидит Иван,
Ждет кита из синя моря
И мурлыкает от горя;
Повалившись на песок,
Дремлет верный горбунок.

Время к вечеру клонилось;
Вот уж солнышко спустилось;
Тихим пламенем горя,
Развернулася заря.
А кита не тут-то было.
«Чтоб те, вора, задавило!
Вишь, какой морской шайтан! —
Говорит себе Иван. —
Обещался до зарницы
Вынести перстень Царь-девицы,
А доселе не сыскал,
Окаянный зубоскал!
А уж солнышко-то село,
И...» Тут море закипело,
Появился чудо-кит
И к Ивану говорит:
«За твое благодеянье
Я исполнил обещанье». —
С этим словом сундучок
Брякнул плотно на песок.
Только берег закачался.
«Ну, теперь я расквитался.
Если ж вновь принужусь я,
Позови опять меня;
Твоего благодеянья
Не забыть мне... До свиданья!»
Тут кит-чудо замолчал
И, всплеснув, на дно упал.

Горбунок-конек проснулся,
Встал на лапки, отряхнулся,
На Иванушку взглянул
И четырежды прыгнул:
«Ай да Кит Китович! Славно!
Долг свой выплатил исправно!
Ну, спасибо, рыба-кит! —
Горбунок-конек кричит. —
Что ж, хозяин, одевайся,
В путь-дорожку отправляйся;
Три денька ведь уж прошло:
Завтра срочное число.
Чай, старик уж умирает.
Тут Ванюша отвечает:
«Рад бы радостью поднять,
Да ведь силы не занять!
Сундучишко больно плотен,
Чай, чертей в него пять сотен
Кит проклятый насажал.
Я уж трижды подымал:
Тяжесть страшная такая!»
Тут конек, не отвечая,
Поднял ящичек ногой,
Будто камышек какой,
И взмахнул себе на шею.
«Ну, Иван, садись скорее!
Помни, завтра минет срок,
А обратный путь далек».

Стал четвертый день зориться.
Наш Иван уже в столице.
Царь с крыльца к нему бежит:
«Что кольцо мое?» — кричит.
Тут Иван с конька слезает
И преважно отвечает:
«Вот тебе и сундучок!
Да вели-ка скликать полк:
Сундучишко мал хоть нá вид,
Да и дьявола задавит».
Царь тотчас стрельцов позвал
И немедля приказал
Сундучок отнести в светлицу,
Сам пошел по Царь-девицу.

«Перстень твой, душа, найден, —
Сладкогласно молвил он, —
И теперь, примолвить снова,
Нет препятствия никакого
Завтра утром, светик мой,
Обвенчаться мне с тобой.
Но не хочешь ли, дружок,
Свой увидеть перстенец?
Он в дворце моем лежит».
Царь-девица говорит:
«Знаю, знаю! Но, признаться,
Нам нельзя еще венчаться».
— «Отчего же, светик мой?
Я люблю тебя душой,
Мне, прости ты мою смелость,
Страх жениться захотелось.
Если ж ты... то я умру
Завтра ж с горя поутру.
Сжался, матушка-царица!»
Говорит ему девица:
«Но взгляни-ка, ты ведь сед,
Мне пятнадцать только лет:
Как же можно нам венчаться?
Все цари начнут смеяться,
Дед-то, скажут, внуку взял!»
Царь со гневом закричал:
«Пусть-ка только засмеются —
У меня как раз свернутся:
Все их царства полоню!
Весь их род искореню!»
— «Пусть не станут и смеяться,
Всё не можно нам венчаться, —
Не растут зимой цветы:
Я красавица, а ты?..
Чем ты можешь похвалиться?» —
Говорит ему девица.
«Я хоть стар, да я удал —
Царь царице отвечал. —
Как немножко приберуся,
Хоть кому так покажуся
Разудалым молодцом.
Ну, да что нам нужды в том?
Лишь бы только нам жениться».

Говорит ему девица:
«А такая в том нужда,
Что не выйду никогда
За дурного, за седого,
За беззубого такого!»
Царь в затылке почесал
И, нахмурясь, сказал:
«Что ж мне делать-то, царица?
Страх как хочется жениться;
Ты же, ровно на беду:
Не пойду да не пойду!»
— «Не пойду я за седова, —
Царь-девица молвит снова. —
Стань, как прежде, молодец,
Я тотчас же под венец».
— «Вспомни, матушка-царица,
Ведь нельзя переродиться;
Чудо бог один творит».
Царь-девица говорит:
«Коль себя не пожалеешь,
Ты опять помолодеешь.
Слушай: завтра на заре
На широком на дворе
Должен челядь ты заставить
Три котла больших поставить
И костры под них сложить.
Первый надобно налить
До краев водой студеной,
А второй — водой вареной,
А последний — молоком,
Вскипятя его ключом.
Вот, коль хочешь ты жениться
И красавцем учиниться —
Ты без платья, налегке,
Искупайся в молоке;
Тут побудь в воде вареной,
А потом еще в студеной.
И скажу тебе, отец,
Будешь знатный молодец!»

Царь не вымолвил ни слова.
Кликнул тотчас стремяннова.
«Что, опять на окиян? —

Говорит царю Иван. —
Нет уж, дудки, ваша милость!
Уж и то во мне всё сбилось.
Не поеду ни за что!»
— «Нет, Иванушка, не то.
Завтра я хочу заставить
На дворе котлы поставить
И костры под них сложить.
Первый думаю налить
До краев водой студеной,
А второй — водой вареной,
А последний — молоком,
Вскипятя его ключом.
Ты же должен постараться,
Пробы ради, искупаться
В этих трех больших котлах,
В молоке и двух водах».
— «Вишь, откуда подъезжает! —
Речь Иван тут начинает. —
Шпалят только поросят,
Да индюшек, да цыплят;
Я ведь, глянь, не поросенок,
Не индюшка, не цыпленок.
Вот в холодной, так оно
Искупаться бы можно,
А подваривать как станешь,
Так меня и не заманишь.
Полно, царь, хитрить-мудрить
Да Ивана проводить!»
Царь, затряси бородою:
— «Что? Рядиться мне с тобою? —
Закричал он. — Но смотри!
Если ты в рассвет зари
Не исполнишь повеленье, —
Я отдам тебя в мученье,
Прикажу тебя пытаться,
По кусочкам разрывать.
Вон отсюда, бóлесь злая!»
Тут Иванушка, рыдая,
Поплелся на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорил ему конек. —
Чай, наш старый женишок
Снова выкинул затею?»
Пал Иван к коньку на шею,
Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конск! — сказал. —
Царь вконец меня сбывает;
Сам подумай, заставляет
Искупаться мне в котлах,
В молоке и в двух водах:
Как в одной воде студеной,
А в другой воде вареной,
Молоко, слышь, кипяток».
Говорит ему конек:
«Вот уж служба, так уж служба!
Тут нужна моя вся дружба.
Как же к слову не сказать:
Лучше б нам пера не брать;
От него-то, от злодея,
Сколько бед тебе на шею...
Ну, не плачь же, бог с тобой!
Сладим как-нибудь с бедой.
И скорее сам я сгину,
Чем тебя, Иван, покину.
Слушай: завтра на заре,
В те поры, как на дворе
Ты разденешься, как должно,
Ты скажи царю: «Не можно ль,
Ваша милость, приказать
Горбунка ко мне послать,
Чтоб впоследствии с ним проститься».
Царь на это согласится.
Вот как я хвостом махну,
В те котлы мордóй макну,
На тебя два раза прысну,
Громким посвистом присвистну,
Ты, смотри же, не зевай:
В молоко сперва ныряй,
Тут в котел с водой вареной,
А оттудова в студеный.

А теперича молись
Да спокойно спать ложись».

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:
«Эй, хозяин, полно спать!
Время службу исполнять».
Тут Ванюша почесался,
Потянулся и поднялся,
Помолился на забор
И пошел к царю во двор

Там котлы уже кипели;
Подле них рядком сидели
Кучера, и повара,
И служители двора,
Дров усердно прибавляли,
Об Иване толковали
Втихомолку меж собой
И смеялись порой.

Вот и двери растворились,
Царь с царицей появились
И готовились с крыльца.
Посмотреть на удалца.
«Ну, Ванюша, раздевайся
И в котлах, брат, покупайся!» —
Царь Ивану закричал.
Тут Иван одежду снял,
Ничего не отвечая.
А царица молодая,
Чтоб не видеть наготу,
Завернулася в фату.
Вот Иван к котлам поднялся,
Глянул в них — и зачесался.
«Что же ты, Ванюша, стал? —
Царь опять ему вскричал. —
Исполни-ка, брат, что должно!»
Говорит Иван: «Не можно ль,
Ваша милость, приказать
Горбунка ко мне послать?
Я впоследни б с ним простился».
Царь, подумав, согласился

И изволил приказать
Горбунка к нему послать.
Тут слуга конька приводит
И к сторонке сам отходит.

Вот конек хвостом махнул,
В те котлы мордбѣй макнул,
На Ивана дважды прыснул,
Громким посвистом присвистнул.
На конька Иван взглянул
И в котел тотчас нырнул,
Тут в другой, там в третий тоже,
И такой он стал пригожий,
Что ни в сказке не сказать,
Ни пером не написать!
Вот он в платье нарядился,
Царь-девице поклонился,
Осмотрелся, подбодрясь,
С важным видом, будто князь.

«Эко диво! — все кричали. —
Мы и слыхом не слыхали,
Чтобы лъзя похорошеть!»

Царь велел себя раздеть.
Два разѣ перекрестился,
Бух в котел — и там сварился!

Царь-девица тут встает,
Знак к молчанью подает,
Покрывало поднимает
И к прислужникам вещает:
«Царь велел вам долго жить!
Я хочу царицей быть.
Люба ль я вам? Отвечайте!
Если любя, то признайте
Володетелем всего
И супруга моего!»
Тут царица замолчала,
На Ивана показала.

«Люба, любя! — все кричат. —
За тебя хоть в самый ад!

Твоего ради талана
Признаем царя Ивана!»

Царь царицу тут берет,
В церковь божью ведет,
И с невестой молодою
Он обходит вокруг наложу.

Пушки с крепости палят;
В трубы кованы трубят;
Все подвалы отворяют,
Бочки с фряжским выставляют,
И, напившись, народ
Что есть мочушки дерет:
«Здравствуй, царь наш со царицей!
С распрекрасной Царь-девицей!»

Во дворце же пир горой:
Вина льются там рекой,
За дубовыми столами
Пьют бояре со князьями.
Сердцу любо! Я там был,
Мед, вино и пиво пил;
По усам хоть и бежало,
В рот ни капли не попало.

1834, между 1843 и 1851

Вузов

Сибирское предание

1

Царь Кучум один владеет
Всей сибирскою землею;
Обь, Иртыш, Тобол с Вагаем
Одному ему подвластны;
Он берет со многих дани,
Сам не платит никому.
Царь Кучум, сидя в Искере,
С утра раннего до ночи
Пишет царские приказы,
Рассылает повеленья
От Урала до Алтая,
По сибирской всей земле.
Много силы у Кучума,
Много всякого богатства:
Драгоценные каменья,
Из монистов ожерелья,
Черный соболь и лисицы,
Золото и серебро.
Царь Кучум живет в палатах,
Ест с серебряного блюда,
Из ковша пьет золотого,
Спит под шелковым навесом,

На пуховых на постелях,
Ходит мягко по коврам.
У того царя Кучума
Две подружки молодые,
Две пригожие царицы,
Полногруды, белолицы,
У одной глаза как небо,
У другой глаза как ночь.
Царь Кучум обеих любит,
Царь Кучум обеих нежит,
С алой розы умывает,
В шелк, монисты наряжает,
И дородство, и пригожество
Пуще глазу бережет.

2

Раз о полдень царь Сибири
От трудов своих от царских
Отдыхал на мягком ложе.
Вдруг к нему, царю, подходит,
Легкой ножкой чуть ступая,
Черноглазая Сузгэ.
«Мой супруг и повелитель,
Царь Кучум! Твоя рабыня
Хочет нынче женской просьбой
Утрудить твое вниманье».
Так к нему, царю, вещает
Черноглазая Сузге.
Царь Сибири, усмехаясь,
Взял пригожую царицу,
Посадил к себе на ложе,
И, обняв рукою правой:
«Расскажи, моя царица!» —
Молвит ласково ей он.
«Мой супруг и повелитель! —
Говорит Сузге Кучуму. —
Велико твое владенье,
Хороши твои усадьбы;
Но одно твое селенье
Лучше кажется мне всех.
Там есть холм один высокий:

С двух сторон стеною — горы,
С двух сторон ковром — равнина;
У холма же, словно лента,
Ручеек бежит в равнину,
А вдали шумит Иртыш.
Прикажи мне, мой властитель,
Там построить терем царский
И позволь твоей рабыне
В этом тереме веселом
Встретить вешнюю зарницу,
Красно лето проводить». —
«Будет!» — молвит царь Сибири.
«Да еще одно прошение:
Прикажи срубить там судно,
Снарядить его прибором,
Тонким парусом с подзором,
Чтоб вечернею порою
Мне гулять по Иртышу». —
«Будет!» — молвит царь Сибири.
«Да еще одно прошение:
Приезжай два раз в неделю
Навестить твою рабыню,
Слово ласково промолвить,
Ложе ночью разделить». —
«Будет!» — молвит царь
Сибири. —

В три недели приготовят
На холме веселый терем,
На реке с прибором судно,
И два раз в неделю буду
Я в твой терем приезжать».

3

Время срочное минуло:
На холме Сузге высоком
Красовался царский терем —
С переходами резными,
Со ставнями расписными,
С узорочною оградой
И с перильчатым крыльцом.
Пихты, лиственницы, ели

Оселяют царский терем;
Над ручьем белѣет полог;
От крыльца к ручью по скату
Вьется легкая дорожка
И теряется в цветах.
По равнине по широкой
От реки до гор далеких
Ходят воины Кучума,
Стерегут тот терем царский,
Гладят бороду седую,
Саблей звонкою стучат.
На реке гуляет судно:
Двадцать весел плещут воду,
Белый парус наготове
Развернуться полной грудью,
Заплескать в волнах кипучих,
Судно легкое нести.
За весной приходит лето,
Убирает всю природу
В разноцветную одежду:
Таль, березу рядит в зелень,
Куст шиповника румянит,
Вяжет лентами цветы.
Вся земля пирует лето;
Вся Сибирь пирует лето;
Но на всей земле сибирской
Нет прекраснее Сузгуна,
Где живет луна-царица,
Черноглазая Сузге.

4

Зной полудня утихает;
С гор, увенчанных лесами,
Ветерок летит прохладный.
Вот из терема выходят
По решетчатым воротам
Шесть татарок молодых.
И стоят они попарно
В обе стороны по скату,
Ждут царицу молодую,
Чтоб вести ее под полог —
В сокровенную купальню

Тихоструйного ручья.
Вот является царица,
Легкой серною мелькает
По излучистой дорожке, —
И спешат за ней рабыни
Снять ревнивые покровы
С их царицы молодой.
Белый полог застегнулся...
Слышны речи, слышен хохот,
Звонкий плеск прозрачной влаги,
и на пологѣ широком,
В легких очертках видений,
Тени зыблются порой.
Вечер. Кончилось купанье.
Снова полог расстегнулся,
И царица молодая
(Щеки розами горят)
Вновь мелькнула по дорожке
Легкой серною на холм.
И под пихтою душистой
Опустилася, слабѣя,
На узорчатые ткани.
И несет одна девица
Прохладительный напиток
Ей в сосуде золотом;
Вкруг Сузге ее рабыни:
Черну косу выжимают,
Чешут гребнем, разделяют
В плетеницы, завивают
И жемчужную повязку
В косу пышную плетут.
Пьет царица молодая
Прохладительный напиток.
Словно пламя — пышут щеки;
Словно звезды — блещут очи;
Словно волны — дышат груди;
Так бѣла и так свежа!
На коврах лежа узорных,
Приклонив к руке головку,
В упоительном раскиде —
То ли розою Востока,
То ли хурией пророка
Тут казалася Сузге!

А над нею полной чашей
Беспредельного сиянья
Небо лета развернулось;
А пред нею — горы, доли,
Бесконечная равнина,
Вечноплещущий Иртыш.
В легкий сон Сузге склонилась,
И любимая девица,
На колени став пред нею,
Обвевала опахалом
И пылающие щеки,
И трепещущую грудь.

5

Спит царица молодая
Под вечернею прохладой;
А у ног ее рабыни,
За узорным рукодельем,
Чуть-чуть слышными речами
Говорят промеж собой.
Чудны женские рассказы!
Будто полночью глухою
На мысу одном высоком
По три раза приходили
Цвету белого собака
И как уголь черный волк;
С воем грызлись меж собою,
И в последний раз собака
Растерзала злого волка.
Будто с той же ночи всюду
Меж сибирскими лесами
Чудным образом и видом
Вдруг береза зацвела.
Будто в полдень на востоке
Облака являют город
С полумесяцем на башне,
И подует ветер с Урала
И снесет тот полумесяц
И навеет чудный знак.
Будто в полночь вдруг заблещет
Над могилами Искера

Яркий свет звездой кровавой,
И послышится стук сабель
И неведомый им говор
И какой-то страшный треск.
Что-то будет с ханским царством!
А недаром же татары
Собираются к мечетям.
Сердце чует про невзгоду.
Тишина — предвестник бури:
Где ж зачнется та гроза?

6

Всходит утро над Сузгуном.
Вдруг к Сузге в высокий терем
Старшина седой приходит,
Торопливо просит видеть
Чрез рабынь свою царицу,
Молвить важные ей вести,
Слово нужное сказать.
И царица призывает
Старшину в свои палаты,
И волнистою фатою.
Словно облаком летучим,
Осторожно закрывает
Полнолунное лицо.
Вскоре входит старый воин.
Скинув шапку меховую,
Он честит Сузге поклоном.
«Вести важные, царица!
Здесь гонец царя Кучума,
Сохрани его алла!
К нам от западной границы,
От крутых верхов Урала,
Без призыву, без прошенья,
Вдруг пожаловали гости
И пируют нашей кровью
По сибирской всей земле.
Царь Кучум гонцов отправил,
Чтоб со всех сторон Сибири
Для защиты, для отпора
Собирались стар и молод,
Чтобы все свои селенья

Укрепляли в тот же час.
И к тебе гонец, царица!
Царь Кучум велит немедля
Строить стены и бойницы,
Делать валы и ограды,
Снаряжать себя довольством,
Рать осадную собирать». —
«А далёко ль эти гости?» —
Старшину Сузге спросила.
«А когда б стрела летела
Час один с одною силой,
Так к концу она упала б
В их неверные шатры».
И дает Сузге-царица
Старшине тому седому
Тихо умные приказы,
И послушно старый воин
Ей клянется головою
Всё исполнить, как велит.

7

Спееет дружная работа.
С утра раннего до ночи
Сто работников послушных
Носят камни, возят бревна,
Роят рвы и сыплют валы —
Укрепляют царский холм.
Вот проходит две недели,
И Сузге веселый терем
Смотрит грозною твердыней:
Обнесен вокруг стенами,
Обведен высоким валом,
Окружен глубоким рвом.
Две бойницы подле ската,
И одна из них на запад,
Где Иртыш шумит волнами;
А другая на востоке,
Там, где стелется равнина
Бесконечной полосой.
И с бойниц тех непрестанно
Смотрят вдаль сторожевые,

И при каждом появлении
Незнакомых лиц в равнине
Вызывают громким криком
На бойницы весь отряд.
И гонец два раза в сутки
Скачет шибко за вестями
От Сузгуна до Искера —
Но обратно с каждым разом
Всё нерадостные вести
Он привозит от царя.

8

Раз, вечернею порою,
В те часы, когда молитву
Правоверные свершали,
А Сузге в своей светлице
Думу думала, — нежданно
Быстро входит воин к ней.
Грозен вид его сердитый;
Лоб наморщен, губы гневом
Сведены; глаза сверкают.
Ни поклона, ни привета
Он не делает царице
И не смотрит на нее.
«Брат! — царица восклицает
И встает поспешно с места
И сжимает брату руку. —
Или новое несчастье
Нас постигло? Что ж? Не медли!
Всё ли кончено, скажи?»
Молчалив и гневен воин.
«Что с Кучумом? Что с народом? —
Вновь царица начинает. —
Или бог совсем оставил
Правоверных?.. Иль пришельцы
Посягнули на царя?»
Вдох страданья, вдох тяжелый
Был ответ Махмета-Кула.
Вдруг сорвал свою он саблю,
Бросил об пол в сильном гнев
И, закрыв лицо руками,

«Всё погибло! — простонал. —
Пришлецы теперь пируют
В нашем городе Искере;
Наше войско — куча трупов;
Сам Кучум бежал поспешно,
Бросив все свои богатства...
Гибель царства решена!»
Долго длилось молчанье
Между братом и сестрою.
Вдруг из ясных глаз царицы
Слезы градом покатились.
«Мой супруг! Мой повелитель!» —
Громко вскрикнула она.

9

Ходит скорыми шагами
Брат царицы по палатам;
Гнев, печаль его терзают;
А царица молодая
Неподвижно, молчаливо
На ковре своем сидит.
Вдруг Махмет остановился
Пред сестрой и грустно молвил:
«Мне с тобой сегодня должно
Разлучиться — пусть погибну,
Если рок велит мне гибнуть!
Если гибнет царство все!
Да, сестра! Сегодня ж ночью
Я прошусь с тобой. Не бойся!
Без меня тебя не тронут.
Я о жизни не жалею:
Смерть моя спасет тебя.
Подожди! Но если след мой
У тебя наш враг откроет,
Все пропало! Я знаком им,
Я встречался с ними в битвах:
Сам Кучум не так им страшен,
Как твой юный брат Махмет».
— «Всё ль? Теперь меня
 послушай. —
Речь царица начинает: —

Если бог велел погибнуть
Всей Сибири, пусть погибнет;
Но пускай и враг наш, русский,
Гибель с нами разделит.
Иль не стало больше средства?
Иль на всей земле сибирской
Нет уж боле человека?
Царь бежал: будь ты царь нынче,
Вороти свое владенье,
Завоюй себе Сибирь.
Слушай — хитрость лучше силы;
Распусти меж русских вести,
Что сидишь ты здесь, в Сузгуне;
И когда наш враг обложит
Это место, ты немедля
Собирай свои дружины.
Будь спокоен! Я умею
Продержать их под стенами
Столько времени, сколь нужно,
Чтоб тебе собраться с силой.
Тут нагрянь на них отважно —
И алла помощник твой!»
Речь окончила царица.
На лице Махмета-Кула
Луч блеснул отрадной мысли.
Нежно обнял он царицу.
«Да исполнится!» — сказал он
И поспешно вышел вон.

10

Царь Кучум в степи горюет
О своем богатом царстве;
А в больших его палатах
Казак сидят за чарой,
Поминают Русь святую
И московского царя.
Впереди сидит начальник
И большой их воевода,
Первый в бое и советах,
Тот Ермак ли Тимофеич;
Редко к чаре он коснется,

И среди веселья крепко
Думу думает свою.
Справа грозный воевода,
Атаман Кольцо отважный,
Буйну голову повесив;
Слева, весел и разгулен
С полной чарою глубокой
Атаман Гроза сидит.
На другом конце пируют
Три другие атамана:
Мещеряк, Михайлов с Паном.
За палатами ж Кучума
На дворе большом гуляют
Удалые казаки.
Светлый день идет на вечер,
А казацкий пир к исходу, —
Вдруг большой их воевода,
Тот Ермак ли Тимофеич,
Выпив чашу одним духом,
Быстро встал из-за стола.
«Нет, товарищи! — сказал он. —
Рано нам еще на отдых;
Наше дело зачатое
Довершить сперва надлежит;
Мы Искер один лишь взяли —
Остается взять Сибирь.
К нам дошли худые вести:
Говорят, что царский шурин
Не бежал с царем Кучумом,
Что сидит теперь в Сузгуне,
Что тайком собирает войско,
Чтоб Искер у нас отнять.
Завтра с богом за работу!
Ты, Гроза, пойдешь к Сузгуну
Со своею всей дружиной
И уж волей иль неволей,
А возьми Махмета-Кула;
Только помни милость бога:
Не губи напрасно всех.
Ты, Кольцо, сиди в Искере,
Береги его для Руси.
Сам же я пойду с другими
На царя того Сейдяка.

Надо кончить поскорее:
Ведь зима не за горой». —
Речь Ермак свою окончил;
Встали тихо атаманы:
«Гой, Ермак наш Тимофеич! —
Громко все они вскричали. —
Ты приказывать нам можешь,
Мы послушники твои!»

11

На другой день все казаки
До зари еще вставали,
Сабли, ружья вычищали,
Собирались на площадь
И в порядке — чинном к чину —
Становились в ряды.
Вот выходит воевода,
Тот Ермак ли Тимофеич,
С атаманами своими,
Низко кланяется войску
И подходит он под знамя
И дает к молитве знак;
И послушно вся дружина,
За вождем склонив колена,
В тишине благоговейной
Молит господа и бога
О победе над врагами,
О спасении царя.
Не долга — сильна молитва!
Вскоре встали все казаки,
Сабли наголо, и дружно
Громким голосом вскричали:
«С нами божеская сила
И угодник Николай!»
Вот Ермак ряды обходит,
Поименно называет
Всех десятников и старших,
Славу Дона поминает
И богатую добычу
И прощение царя.
«Гой, товарищи и братцы!
Вы, казаки удалые!

Лучше честно нам погибнуть,
Чем позорною кончиной
На позорной сгибнуть плахе
И проклятье заслужить».
Шумно тронулись казаки...
То не лебеди, не снеги —
То их парусы белеют;
То не песни соловьины —
То их русские напевы...
Гой вы, братцы! Добрый путь!

12

Не в полудни, не в полночи
Крик орла в выси раздался,
А вечернею порою
Крикнул воин на бойнице,
Той бойнице ли сузгунской,
Где синее Иртыш.
То не пчелы вылетают
Из улья с своей царицей,
То татары выбегают
С старшиной своим отважным
На высокие на стены
Грозной крепости Сузге.
Вот являются в равнине
Люди храбрые — казаки;
Впереди их воевода.
«Ай да крепость!» — тихо молвит.
«Ай да крепость!» — повторяют
Все казаки про себя.
— «Гой, татары и уланы! —
Крикнул громко воевода. —
Коль живыми быть хотите,
Сдайте нам свою ограду;
Коль погибнуть вы хотите,
Не сдавайте нам ее».
— «Гой, неверный воевода!
Прежде солнце потемнеет,
Прежде наш Иртыш великий
Потечет назад к истоку,
Чем сдадим мы вам ограду!» —

Так со стен своих высоких
Отвечает старшина.

13

День седьмой уже проходит.
Утомились казаки,
Утомились татары.
«Стыд, когда, не взяв, отступим!»
— «Стыд, когда сдадим ограду!»
Вновь напор, и вновь отпор.
Наконец Гроза с согласия
Всех десятников и старших
Пишет грамоту и просьбу
К Ермаку такую речью:
«Две недели уж проходят,
А мы все еще не можем
Взять Сузгуна на мечи.
Да и что это за крепость!
Да и что это за люди!
Хоть Махмета не видали,
Но по этому упорству
Думу думаем такую,
Что он, верно, тут сидит.
Ждем приказу войскового —
Что нам делать. Если снова
Ты велишь держать в осаде
Эту крепость, то мы просим
К нам людей прислать побольше —
Малым крепости не взять.
Вот когда бы в чистом поле
Нам схватиться привелось,
Это дело бы другое.
А стена покрепче груди,
Хоть и то мечи порядком
Мы сточили об нее».

14

Снова тянется осада.
Двой сутки так проходят.
А на третьи, темной ночью,

От Махметова улана
В крепость брошена с известьем
Быстроперая стрела.
«Бог совсем татар оставил! —
Так известье начинается. —
Три дня ровно, как случилась
Сеча с русскими большая;
Нами правил брат твой храбрый,
Ими властвовал Ермак.
Семь часов та сеча длилась,
А в осьмой твой брат, царица,
Ранен меткою пищалью,
Без главы осталось войско;
Те побиты, те бежали,
А Махмет-Кул взят в полон». —
Нет речей в устах царицы!
Нет слезы в глазах несчастной!
А меж тем, как черны тучи,
Думы тяжкие проходят,
Женский ум ее тревожат,
Точат сердце, давят грудь.
О Сузге, краса-царица!
И последняя надежда
На великого Махмета
Вдруг потеряна. Он пленник!
Царь Кучум в степях далеко!
Что ты ждешь еще себе?

15

Ходит бедная царица
По своей опочивальне,
Руки белые ломает,
Взором сумрачным блуждает
И свою тоску-кручину
Так высказывает вслух:
«Знать, то богу так угодно,
Чтоб великое владенье
Повелителя Кучума
Уничтожилось. За что же
Нам беда пришла такая?
Чем прогневали судьбу?
Я вчера была царицей,

А сегодня, может, буду
Русских пленницей, рабою!
И дитя мое... О боже!
И дитя... О нет! Неможно!
Нет, рабой не буду я!
Наш Сузгун довольно крепок,
Нелегко его взять русским;
Много воинов отважных
Стерегут его и кроют.
Может быть — и как знать? —
вскоре

Возвратится царь Кучум...
Но сдержать ли малой горсти
Упадающее царство?
Коль разбито наше войско,
Коль Махмета нет уж боле —
Мне ли, женщине, мне ль можно
Честь и царство поддержать?
Если б был еще воитель,
Равный брату в ратном деле,
Всё была б еще надежда;
А теперь сгублю я только
Всех защитников Сузгуна,
И сама — опять в плену!
Что мне делать в этом горе?
Где искать себе спасенья?» —
Так царица говорила,
Заливаясь слезами.
Тут позвать она велела
Старшину к себе в покой.
«Долго ль можем мы держаться?» —
Старшину она спросила.
«Долго ль? Этого не знаю;
Но пока я жив, царица,
Но пока еще хоть двое
Нас останется в Сузгуне,
Русским крепости не взять!»
Тяжко, тяжело ты вздохнула,
О Сузге, краса-царица!
Эта верность! эти чувства!
И его ли ты погубишь!
О, когда б Кучум побольше
Мог иметь таких людей!

«Будь здоров, наш воевода!
 Милосердием господним
 И казацкой нашей силой
 Мы побили вновь неверных
 На реке на той Вагае,
 Где течет она в Тобол.
 Пишешь ты, что в том Сузгуне
 Махмет-Кул сидит в ограде.
 Диво, если это правда, —
 А затем, что при Вагае
 Взяли мы Махмета-Кула
 И старшин его в полон;
 И меж прочими вестями
 Мы узнали, что в Сузгуне
 Правит храбрая царица,
 А при ней людей немного
 И один лишь старшина.
 Это молвим не в обиду:
 Крепость, знаем мы — не поле,
 А царица, как слыхали,
 Есть сестра Махмета-Кула;
 Так не диво, что невозможно
 Вашей храбрости казацкой
 Взять Сузгун, тот на мечи.
 Да еще одно известье:
 Ты, Гроза, теперь нам нужен;
 День простой еще на месте,
 А потом в Искер собирайся.
 Пусть царица правит местом:
 Мы не с нею брань ведем».
 — «Прах возьми! — Гроза
воскликнул,
 Прочитав приказ из войска. —
 Нас на смех теперь подымут!
 В три недели не умели
 Нашей храбростью казацкой
 С бабой справиться путем!»

Вдруг к нему в палатку входит
 Старшина седой татарский

До зори, никак не больше,
Думу думать вам даю.
Но уж если и с зарею
Не опустят знак бойницы,
Не войду тогда я с вами
Ни в какое перемирье». —
«Пусть нас бог теперь
рассудит!» —
Мрачно молвил старшина.

18

Атаман Гроза не сводит
Глаз с высокого Сузгуна;
И надежда и сомненье
Душу воина колеблют.
Солнце клонится на запад...
Вечер... смотрит... спущен знак!
«О владычица святая!
О святой Христов угодник!
Знать, казаки вам угодны,
Что желание их сердца
Вы исполнили так скоро», —
Молвил весело Гроза.
Той порой Сузге-царица
Всех рабынь к себе сзывает
И, скрывая грусть весельем,
Говорит им речь такую,
Глядя весело на них:
«Вы, прислужницы-девицы!
Отпирайте кладовые,
Выносите все наряды,
Все каменья дорожные
И царицу наряжайте:
Завтра праздник у меня». —
И рабыни отпирают
Кладовые, вынимают
Камни, платья дорогие
И царицу наряжают,
Косу пышную плетут.
Слезы катятся ручьями
У прислужниц, но ни слова

Ей девицы не промолвят.
Им известно, что царица
Для свободы их сдается
В плен начальнику чужому, —
Жаль им доброй госпожи.
Вот окончены наряды,
И прекрасная царица
Всех прислужниц равной долей
Своеручно наделяет,
Раздает им все богатства
И целует порознь их.
Тут зовет к себе в светлицу
Старшину того седого,
Благодарствует за службу
И велит отдать отряду
Всю казну свою большую,
И от имени царицы
Благодарствовать велит.

19

Ночь покрыла мраком небо,
Землю тьмою обложила.
Спят казаки, спят татары;
Лишь не спит в своей светлице
Несчастливица царица,
Одинокая Сузге.
Перед ней горит светильник
И, бросая свет дрожащий,
Освещает ту палату
И роскошное убранство,
И блестящую одежду,
И печальную Сузге.
О Сузге, краса-царица!
Тяжела тебе ночь эта!
Ты сидишь на мягком ложе,
Опустив на грудь головку
И сложа печально руки
На трепещущей груди;
Ты одета, как невеста,
В драгоценные одежды, —
Но глаза твои не блещут

Предрассветною звездою,
Но уста твои не пышут
Цветом розы и любви.
Дума черная, как полночь,
Обвила твой ум, царица,
И тоска, как червь могильный,
Точит сердце молодое.
Велика твоя невзгода!
Тяжела твоя судьба!
Но прими к себе надежду:
Русский царь великодушен —
Он смягчит твое несчастье,
Усладит твою кручину;
Не рабою, но царицей
Почестят тебя в Москве.
О, когда б прошла скорес
Эта ночь твоей печали!
Недвижима и безмолвна
Всё сидит Сузге-царица.
Нет речей для утешенья!
Нету мысли для надежды!
Будто смерти вещей голос
Тихо носится над ней.
Вот блеснул в ее светлице
Светлый луч зари восточной.
«О мой бог! меня помилуй!» —
Тяжко вскрикнула царица
И упала на подушки,
Задыхаясь от слез.

20

Встало солнце. Пробудились
И казаки, и татары.
Ясный день для всех восходит,
Льет на всех равно сиянье;
Но не все равно встречают
Солнца красного восход!
Вот Гроза к стенам подходит
С удалой своей дружиной;
Вот татары отворяют
Неприступные бойницы

И вослед за старшиною
Безоружные идут.
Мрачно сходят вниз татары,
Озираясь на стены
И на крепкие бойницы;
Плачут царские девицы,
Обращая взор печальный
На оставленный Сузгун.
А с бойницы той порою,
Скрыв лицо свое покровом,
Одинокая царица
Грустно смотрит отступление;
Грудь волнуется тоскою,
Но слезы уж нет в глазах.
«Слушай, храбрый восвода! —
Старшина седой промолвил,
Поравнявшись с Грозою. —
Если честь тебе известна,
Ты с царицею поступишь,
Как приличие велит».
— «Будь спокоен, храбрый воин! —
Старшине в ответ промолвил
Атаман Гроза казачий. —
Наша Русь славна издревле
К роду царскому любовью —
И в других его почитит».
Вот изгнанники проходят
Чрез широкую равнину;
Вот реки они достигли;
Вот взошли они на судно;
Поклонилися Сузгуну
И исчезли вдалеке.
«Путь счастливый вам!» — сказала
Грустная Сузге-царица,
Обвела вокруг глазами,
И, вздохнувши тяжко-тяжко,
С неприступной той бойницы
Тихо вниз она сошла.

Входят весело казаки
 В крепость грозную Сузгуна;
 Впереди их воевода —
 Атаман Гроза, и молча
 Он прилежно озирает
 Покорившийся Сузгун.
 Вот идет он в терем царский —
 Словом ласковым приветить
 Несчастливую царицу;
 Но в палатах царских пусто.
 Он обходит все строенье —
 Но царицы нет нигде.
 «Где ж она?» — Гроза подумал,
 И большое подозренье
 В грудь казацкую запало;
 Злой укор в устах теснится...
 Вдруг увидел он царицу
 И укор свой удержал.
 Под наклоном пихт душистых,
 Прислоняся головою
 К корню дерева, сидела
 Одинокая царица;
 Вьется ветром покрывало,
 Руки сложены на грудь.
 Атаман к Сузге подходит,
 Перед ней снимает шапку,
 Низко кланяется, молвит:
 «Будь спокойна ты, царица!
 Мы казаки, а не звери,
 Мы уважим царский сан.
 Бог нам дал теперь победу,
 Так грешно бы нам и стыдно,
 Милость бога презирая,
 Обижать тебя, царица.
 Ты о плене позабудешь —
 Слово честное даю».
 Но напрасно воевода
 Ждет ответа от царицы.
 Изумлен ее молчаньем
 Подошел он к ней поближе...
 Тихо поднял покрывало —

И поспешно отступил.
Мать божия! не сон ли
Видит он? В лице нет жизни:
Щеки бледностью покрыты,
Льется кровь из-под одежды.
И в глазах полузакрытых
Померкает божий свет.
«Что ты сделала, царица?» —
Вскрикнул громко воевода,
Кровь рукою зажимая.
Вдруг царица задрожала,
На Грозу она взглянула...
Это не был взор отмщенья,
Это был последний взор!

22

Под наклоном пихт душистых
Собрались все казаки,
И стоят они без шапок;
Два урядника отряда
Насыпают холм могильный.
Тишина лежит кругом.
Вот обряд печальный кончен.
Поклонясь сырой могиле,
Говорит Гроза казакам:
«Гой, товарищи-казаки!
Здесь нам нет уж больше дела,
Снаряжайтесь на Искер!»

.

Ночь спустилась на землю,
Ветер воет на дубраве,
Гонит тучи дождевые,
А Иртыш о круть утеса
Плещет звонкою волной,
Распустив свои ветрила,
Едут добрые казаки.
Льется песня их живая,
Что про матушку про Волгу,
Что про Дон их, Дон родимый,
Что про славу казака.

А вдали, клубясь волнами,
Блещет пламя над Сузгуном —
На стенах его высоких,
На крутых его бойницах...
Рдеет небо полуночи!
Блещут волны Иртыша!

1837, Тобольск

Стихотворения,
эпиграммы,
экспромты



1. МОНОЛОГ СВЯТОПОЛКА ОКАЯННОГО

(Святополк стоит на берегу волнующегося Дуная)

Шуми, Дунай, шуми во мраке непогоды!
Приятен для меня сей страшный плеск валов;
Люблю смотреть твои пенящиеся воды
И слышать стон глухой угрюмых берегов.
При блеске молнии — душа моя светлеет,
И месть кровавая — при треске грома спит,
Мученье совести в душе моей слабеет,
А властолюбие — сей идол мой! — молчит.
Волненье бурное обманчивой стихии,
Дуная шумного величественный вид
Мне ясно говорит о милой мне России,
О славном Киеве мне ясно говорит.
Я вижу пред собой славян непобедимых,
С их дикой храбростью, с их твердою душой;
Я слышу голоса — то звук речей родимых, —
И терем княжеский стоит передо мной!..
Но что мне слышится?.. Кому дают обеты:
«До гроба верности своей не изменить»?..
Да будут прокляты презренные клеветы!
Да будет проклят тот, кто мог меня лишить

Престола русского! Кто дерзкою рукою
Сорвал с главы моей наследственный венец;
Кто отнял скипетр мой, врученный мне судьбою...
Ты будешь неотмщен, несчастный мой отец!
Твой сын — не русский князь... Изгнанник он презренный,
Оставленный от всех, ничтожный, жалкий пес,
Пришлец чужой земли, проклятьем отягченный
И милосердием отвергнутый небес!
О! Если бы я мог, я б собственной рукою
Злодея моего на части разорвал,
Втоптал бы в прах его безжалостной ногою
И прах бы по полю с проклятьем разметал...
Молчи, молчи, Дунай! Теперь твой шум сердитый
Ничто пред бурею, которая кипит
В душе преступника, спокойствием забытой...
Она свирепствует — пусть все теперь молчит!

Начало 1830-х годов

2. СМЕРТЬ СВЯТОСЛАВА

«Послушай совета Свенельда младого
И шумным Днепром ты, о князь, не ходи;
Не верь обещаньям коварного грека:
Не может быть другом отчаянный враг.

Теперь для похода удобное время:
Днепровские воды окованы льдом,
В пустынях бушуют славянские вьюги
И снегом пушистым твой след занесут».

Так князю-герою Свенельд-воевода,
Главу преклоняя пред ним, говорил.
Глаза Святослава огнем запылали,
И, стиснув во длани свой меч, он сказал:

«Не робкую силу правитель вселенной —
Всесильный Бельбог — в Святослава вложил;
Не знает он страха и с верной дружиной
От края земли до другого пройдет.

Не прежде, как стихнут славянские вьюги
И Днепр беспокойный в берегах закипит,



Сын Ольги велит воеводе Свенельду
Свой княжеский стяг пред полком развернуть».

Вот стихнули вьюги, и Днепр беспокойный
О мшистые скалы волной загремел.
«На родину, други! В славянскую землю!» —
С улыбкой веселой сказал Святослав.

И с шумным весельем вскочили славяне
На лодки и плещут днепровской волной.
Меж тем у порогов наемники греков
Грозу-Святослава с оружием ждут.

Вот подплыл бесстрашный к порогам днепровским
И был отовсюду врагом окружен.
«За мною, дружина! Победа иль гибель!» —
Свой меч обнажая, вскричал Святослав.

И с жаром героя он в бой устремился;
И кровь от обеих сторон полилась;
И бились отважно славяне с врагами;
И пал Святослав под мечами врагов.

И князю-герою голову отрубили,
И череп стянули железным кольцом...
И вот на порогах сидят печенег,
И новая чаша обходит кругом...

Начало 1830-х годов

3. СМЕРТЬ ЕРМАКА

Сонет

Тяжелые тучи сибирское небо одели;
Порывистый ветер меж сосен угрюмых шумел;
Венчанные пеной, иртышские воды кипели;
Дождь лился рекою, и гром полуночный гремел.

Спокойно казѣки на бреге высоком сидели,
И шум непогоды дремоту на очи навел.
Бестрепетный вождь их под сенью ветвистых ели,
Опершись на саблю, на смелых казаков смотрел.

И влая кручина на сердце героя лежала,
Главу тяготила, горячую кровь волновала.
И ужас невольный дух бодрый вождя оковал.

Вдруг дикие крики... Казацкая кровь заструилась...
Булат Ермака засверкал — толпа расступилась —
И кто-то с утеса в кипевшие волны упал.

Начало 1830-х годов

4. ПЕСНЯ КАЗАКА

Даша милая, прости:
Нам велят в поход идти.
Позабыли турки раны,
Зашумели бусурманы.
Надо дерзких приунять,
В чистом поле погулять.
Изготовлен конь мой ратный,
Закален мой меч булатный,
И заточено мое
Неизменное копье.
С быстротою хищной птицы
Полечу я до границы;
Черным усом поведу
Бусурманам на беду;
Свистну посвистом казацким
Пред отрядом цареградским
И неверного пашу
На аркане задушю.
«Знай, турецкий забияка,
Черноморского казака!
И не суйся в спор потом
С нашим батюшкой царем».
И, потешившись с врагами,
С заслуженными крестами
Ворочуся я домой
Вечно, Даша, жить с тобой!

Начало 1830-х годов

5. МОЛОДОЙ ОРЕЛ

Как во поле во широком
Дуб высокий зеленел;
Как на том дубу высоко
Млад ясён орел сидел.

Тот орел ли быстрокрылый
Крылья мочные сложил
И к сырой земле уныло
Ясны очи опустил.

Как от дуба недалеко
Речка быстрая течет,
А по речке по широкой
Лебедь белая плывет.

Шею выгнув горделиво,
Хвост раскинув над водой,
Лебедь белая игриво
Струйку гонит за собой.

«Что, орел мой быстрокрылый,
Крылья мочные сложил?
Что к сырой земле уныло
Ясны очи опустил?

Аль не видишь: недалёко
Речка быстрая течет,
А по речке по широкой
Лебедь белая плывет?

Мочны ль крылья опустились?
Клёв ли крепкий ослабел?
Сильны ль когти притупились,
Взор ли ясный потемнел?

Что с тобою, быстрокрылый?
Не случилась ли беда?»
Как возговорит уныло
Млад ясён орел тогда:

«Нет, я вижу: недалёко
Речка быстрая течет,

А по речке по широкой
Лебедь белая плывет.

Мочны крылья не стареют,
Крепкий клёв не ослабел,
Сильны когти не тупеют,
Ясный взор не потемнел.

Но тоска, тоска-кручина
Сердце молодца грызет,
Опостыла мне чужбина,
Край родной меня зовет.

Там, в родном краю, приволье
По поднебесью летать,
В чистом поле, на раздолье,
Буйный ветер обгонять.

Там бураном вьются тучи;
Там потоком лес шумит;
Там дробится гром летучий
В быстром беге о гранит.

Там средь дня в выси далекой
Тучи полночью висят;
Там средь полночи глубокой
Льды зарницами горят.

Скоро ль, скоро ль я оставляю
Чужеземные край?
Скоро ль, скоро ль я расправлю
Крылья мочные мои?

Я с знакомыми орлами
Отдохну в родных лесах,
Я взнесусь над облаками,
Я сокроюсь в небесах».

6. ПЕСНЯ КАЗАЧКИ

Полетай, мой голубочек,
Полетай, мой сизокрылый,
Через степи, через горы,
Через темные дубровы!

Отыщи, мой голубочек,
Отыщи, мой сизокрылый,
Мою душу, мое сердце,
Моего милóва друга!

Опустись, мой голубочек,
Опустись, мой сизокрылый,
Легким перышком ко другу,
На его правую руку!

Проворкуй, мой голубочек,
Проворкуй, мой сизокрылый,
Моему милому другу
О моей тоске-кручине!

Ты лети, мой голубочек,
От восхода до заката,
Отдыхай, мой сизокрылый,
Ты во время темной ночи!

Если на небо порою
Набежит налётна тучка,
Ты сокройся, голубочек,
Под кусток частой, под ветку!

Если коршун — хищна птица —
Над тобой распустит когти,
Ты запрячься, сизокрылый,
Под навес крутой, под кровлю!

Ты скажи мне, голубочек,
Что увидел мое сердце!
Ты поведай, сизокрылый,
Что здоров мой ненаглядный!

Я за весточку люблю
Накормлю тебя пшеничкой,

Я за радостну такую
Напою сытой медвяной.

Я прижму к ретиву сердцу,
Сладко, сладко поцелую,
Обвяжу твою головку
Дорогою алой лентой.

1834

7. ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ

Сокрылось солнце за Невую,
Роскошно розами горя...
В последний раз передо мною
Горишь ты, невская заря!
В последний раз в тоске глубокой
Я твой приветствую восход:
На небе родины далекой
Меня другое солнце ждет.
О, не скрывай, заря, так рано
Волшебный блеск твоих лучей
Во мгле вечернего тумана,
Во тьме безмесячных ночей!
О, дай насытить взор прощальный
Твоим живительным огнем,
Горящим в синеве хрустальной
Блестящим радужным венцом!
Но нет! Румяный блеск слабеет
Зари вечерней; вслед за ней
Печальный сумрак хладом веет
И тушит зарево огней.
Сквозь ткани ночи гробовые
На недоступных высотах
Мелькают искры золотые, —
И небо в огненных цветах.
И стихнул ветер в снежном поле,
И спит престольный град царя...
О, не видать тебя мне боле,
Святая невская заря!
Ты вновь оденешь запад хладный
Огнями вечера; но, ах!

Не для меня их свет отрадный
Заблещет в розовых венцах.
Не для меня! В стране далекой,
Питомец бурей и снегов,
Блуждать я буду одинокой
В глуши подоблачных лесов.
Прими последнее прощанье!..

.

.

.

Прости и ты, о град державный
Твердыня северных морей,
Венец отчизны православной,
Жилище пышное царей,
Петра державное творенье!
О, кто б в великую борьбу,
Кто б угадал твое рождение,
Твою высокую судьбу?
Под шумом бурь грозы военной,
По гласу мощному Петра,
В лесах страны иноплеменной
Воздвиглась русская гора.
На ней воссел орел двуглавый,
И клик победный огласил
Поля пустынные Полтавы
И груды вражеских могил.
И вновь бедой неотвратимой
Над дерзким галлом прошумел,—
И пал во прах непобедимый,
И мир свободой воскипел!
О, сколько доблестных деяний
Вписала северная сталь
В дневник твоих воспоминаний,
В твою гранитную скрижаль!
В твоих священных храмах веют
Народной славой знамена,
И на гробах твоих светлеют
Героев русских имена.
Вот он — зиждитель твой чудесный,
Твой полунощный Прометей!
Но тот похитил огонь небесный,
А твой носил в душе своей...

Россия при дверях могилы,
Ее держал татарский сон.
Явился Петр — и в мертвы жилы
Дыханье жизни вдунул он.
Она восстала, Русь святая,
Могуща, радостна, светла,
И, юной жизнью расцветая,
Годами веки протекла!..
Зари чудесного рожденья
В тебе блеснул в начале свет;
Ты был предтечей воскресенья
И первым вестником побед!
Летами юный, ветхий славой,
Величья русского залог,
Прости, Петрополь величавый,
Невы державный полубог!
Цвети под радужным сияньем
Твоей блистательной весны
И услаждай воспоминаньем
Поэта пламенные сны!

1835

8. РУССКАЯ ПЕСНЯ

Уж не цвести цветку в пустыне,
В клетке пташечке не петь!
Уж на горькой на полыне
Сладкой ягодке не зреть!

Ясну солнышку в ненастье
В синем небе не сиять!
Добру молодцу в несчастье
Дней веселых не видать!

Как во той ли тяжелой доле
Русы кудри разовью;
Уж как выйду ль в чисто поле
Разгулять тоску мою.

Может, ветер на долину
Грусть-злодейку разнесет;

Может, речка злу кручину
Быстрой струйкой разобьет.

Не сходить туману с моря,
Не сбежать теням с полей!
Не разбить мне люта горя,
Не разнесть тоски моей!

1835

9. ЖЕЛАНИЕ

Чул вихорь пронесся по чистому полю;
Чул крикнул орел в громовых облаках.
О, дайте мне крылья! О, дайте мне волю!
Мне тошно, мне душно в тяжелых стенах!

Расти ли нагорному кедру в теплице
И красного солнца и бурь не видать?
Дышать ли пигаргу свободно в темнице
И вихря не веять и тучи не рвать?

Ни чувству простора! Ни сердцу свободы!
Ни вольного лету могучим крылам!
Всё мрачно! Всё пусто! И юные годы,
Как цепи, влачу я по чуждым полям.

И утро заблещет, и вечер затлеет,
Но горсть могилы на сердце лежит.
А жатва на ниве душевной не зреет,
И пламень небесный бессветно горит.

О, долго ль стенать мне под тягостным гнетом?
Когда полечу я на светлый восток?
О, дайте мне волю! Орлиным полетом
Я солнца б коснулся и пламя возжег.

Я б реял в зефире, я б мчался с грозой
И крылья разливом зари позлатил;
Я жадно б упился небесной росой
И ниву богатою жатвой покрыл!

Но если бесплодно страдальца моленье,
Но если им чуждо желанье души —

Мой ангел-хранитель, подай мне терпенье
Иль пламень небесный во мне потуши!

Сентябрь 1835

10. ИЗ ЭЛЕГИИ «СЕМЕЙСТВО РОЗ»

Где тот счастливейший, кто жизни в непогоду
Умел торжествовать средь бури роковой,
Кто укрепил бессильную природу,
Не изнемог в борьбе с враждебною судьбой?
Восставшие из тленья,
Всечасно ратуя с природой и с собой,
В груди мы носим смерть и веру в провиденье.
Готовый в путь, оснащен легкий челн,
Маяк горит на пристани востока,
Ум — кормчий за рулем, и мы средь ярых волн
В неодолимой власти рока!
Сначала новый путь пленяет новизной,
Приятны нам картины юной жизни,
И мы плывем с веселою душой
В родимый край отчизны!
Но длится жизни путь; наш кормчий уж устал,
Склонясь на руль, беспечно засыпает;
И жизни цвет в мечтах неясно исчезает.
А челн вперед... Вдруг бури дух восстал,
Завеса черная маяк во тьме скрывает,
О твердую скалу гремит косматый вал,
И ветер рвет бессильные ветрила.
Проснувшийся пловец спешит схватить кормило —
Но поздно! Челн бежит на ряд подводных скал,
И море челн разбитый поглотило!..
Вот наша жизнь! Блажен, кто с юных лет
От тихой пристани очей не отвращает
И с теплой верою средь горестей и бед
Все к ней, все к ней стремленье направляет.
Он весело плывет чрез бурный океан,
Маяк горит, в очах его светлея,
Редее сумрачный туман,
И берег родины все ближе и виднее..
Вот пристань... И пловец, отбросив легкий челн,
Целует тихий брег страны обетованной

И, кинув светлый взор на волны океана,
Ложится отдохнуть от плаванья и волн.

1835

11. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Я понял, я знаю всю прелесть любви!
Я жил, я дышал не напрасно!
Недаром мне сердце шептало: «Живи!» —
В минуты тревоги ненастной.

Недаром на душу в веселых мечтах
Порою грусть тихо слетала
И тайная дума на легких крылах
Младое чело осеняла.

Но долго я в жизни печально блуждал
По тернам стези одинокой;
Но тщетно я в мире прекрасной искал,
Как розы в пустыне далекой.

И много обшел я роскошных садов,
Но сердце ее не встречало;
И много я видел прелестных цветов,
Но сердце упорно молчало.

Пустыней казался мне мир. На пути
Нигде не слышал я привета.
Зачем же, я думал, сей пламень в груди
И сердце восторгом согрето?

Но нет, не напрасно тот пламень возжен
И сердце в восторге трепещет!
Настанет мгновенье, и радостно он
В очах оживленных заблещет!

Настанет мгновенье, и силой мечты
Возникнет мир новый, чудесный.
То мир упоенья! То мир красоты!
То отблеск отчизны небесной!

И радужным светом оденется высь
И ярко в душе отразится;
И в сердце проникнет небесная жизнь,
И сумрачный взор прояснится...

Настало мгновенье... И, радость очей,
С надзвездной долины эфира
Хранитель мой, гений в сиянье лучей
Приникнул над бездною мира.

Он видит глубокую тму под собой,
Он слышит печальных призыванья.
Он сходит на землю воздушной стопой —
Утишить земные страданья.

И мир превратился в роскошный чертог,
И в тернах раскинулись розы;
И в сердце зажегся потухший восторг,
И сладкие канули слезы.

О, сколько блаженства во взоре его!
О, сколько в улыбке отрады!
Всю вечность смотрел бы, смотрел на него:
Другой мне не нужно награды.

Но нет, то не гений! Небесный жилец
На землю незримо нисходит;
Но нет, то не смертный! Удольный пришлец
На небо собой не возводит.

То горняя в мире земном красота!
То цвет из эдемского рая!
То лучшая чистого сердца мечта!
То дева любви молодая!

О юноша! в гордой душе не зови
Забавой мечты той прекрасной!
Я понял, я знаю всю цену любви!
Я жил и дышал не напрасно!

12. ТИМКОВСКОМУ

(На отъезд его в Америку)

Готово! Ясны небеса;
В волнах попутный ветер холмится,
И чутко дремлют паруса,
И гром над пушкою дымится.

Бокал! Бокал! Пускай струя
Сребристых вод донских пред нами
Горит жемчужными огнями
И шумно плещет чрез края.
Ударив дружно руки в руки,
Мы усладим прощальный час
И горечь долгия разлуки,
Судьбой положенной для нас.
К чему роптать? Закон небесный
Нас к славной цели предызбрал,
И он же нам в стране безвестной
Ту цель в рассвете указал.
Какая цель! Пустыни, степи
Лучом гражданства озарить,
Разрушить умственные цепи
И человека сотворить;
Раскрыть покров небес полночных,
Богатства выпросить у гор
И чрез кристаллы вод восточных
На дно морское кинуть взор;
Подслушать тайные сказанья
Лесов дремучих, скал седых
И вырвать древние преданья
Из уст курганов гробовых;
Воздвигнуть падшие народы,
Гранитну летопись прочесть
И в славу витязей свободы
Колосс подоблачный вознесть;
В защиту правых, в казнь неправым
Глагол на Азию простерть,
Обвить моря орлом двуглавым
И двинуть в них и жизнь и смерть.
Такая цель! Мой друг, ужели,
С себе и чести изменив,

Мы отбежим от славной цели
И сдержим пламенный порыв?
Ужель, забыв свое призванье
И охладив себя вконец,
Мы в малодушном ожиданье
Дадим похитить свой венец?
Нет! Нет! Пока в нас сердце дышит,
Пока струится жар в крови —
Ничто, ничто да не подвижет
Святой и доблестной любви!
Сомненья робкие подавим,
Явим величье древних дней
И козням зла противопоставим
Всю силу твердости своей,
Великим трудностям — терпенье;
Ошибкам — первые плоды;
Толпе насмешливой — презренье;
Врагам — молчанье и труды.
Желанье славы есть уж слава;
Успех достойно превознестъ;
Но кто ж дерзнет похитить право
Героя падшего на честь?
Но кто ж дерзнет клеймом бесчестья
Его паденье запятнать
И в то же время низкой лестью
Успех злодейства увенчать?
Влеченью высшему послушны,
Мой друг, оставим малодушных,
С их целью жизни мелочной,
С самолюбивым их расчетом,
Изнемогать под вольным гнетом
И смыться темною волной, —
Не охладив святого рвенья,
Пойдем с надеждою вперед.
И если... пусть! Но шум паденья
Мильоны робких потрясет.

1835

13. ТУЧА

Ходит туча в синем небе,
Смотрит туча мрачным взором,
На груди покоя гром.

«Где бы лучше, — молвит туча, —
Мне расстлаться в синем небе
Молньблещущим ковром?»

Видит море. Черным валом
Плещет море в дальний берег,
Ходит белою грядой.

«Разостлалась бы над морем —
Не спалить мне синя моря,
Не зажечь волны седой».

Туча дальше. Столп гранита,
Подпирая сине небо,
Опоясан бездной вод.

«Раздавила б, растопила б
Я Атланта. Но, могучий,
Он разрушен — не падет».

Туча дальше. Тучны нивы
Дышат грудью золотою,
Блещут бисером росы.

«Не над ними грому грянуть!
Пища червя — им ужасен
И ничтожный взмах косы».

Ходит туча в синем небе,
Смотрит туча мрачным взором,
На груди колебля гром.

«Где бы лучше, — ропщет туча, —
Мне отгрянуть в синем небе
Разрушительным ядром?»

Видит царство. Город пышный,
Семь холмов собой раздвинув,
Три реки сплотил собой.

Шпицы башен блещут в солнце,
Будто горы — медны стены
Вьются длинною трубой.

Пышность зданий, блеск уборов,
Шум движенья, говор людства,
Гром тимпанов и мечей.

Стала туча. Дышит гневом.
Меркнет солнце от движенья
Мрачно-огненных очей.

«Расстелюсь я над холмами,
Я всколеблю ось земную,
Я разрушу пышный град!»

Но могуща сила веры:
Дряхлый старец слабой дланью
Двинул грозную назад!

1835

14. НОЧЬ

Лежала тьма на высях гор;
В полях клубился мрак унылый;
Повитый мглой, высокий бор
Курился ладаном могилы.

Лениво бурная река
Катила в море вал гремучий,
И невидимая рука
Сдвигала огненные тучи.

Не холнет ветер в тиши ночной;
Не дрогнет лист немой дубравы;
Лишь изредка в чащи лесной
Сверкнул глаза звездой кровавой.

Лишь изредка косматый зебрь
В трущобу дальнюю промчится,
И отзовется гулом дебрь,
И след волною заструится.

Но снова прянет тишина!
И мрак, печальный спутник ночи,

Крылами радужными сна
Смежает дремлющие очи.

1835

15. ДУБ

На стлани зелени волнистой,
Под ярким куполом небес
Широко веет дуб тенистый —
Краса лесов, предел очес.
Он возрастал в борьбе жестокой,
Он возмужал в огнях грозы
И победителем высоко
Раскинул гордые красы.
Он видел бури разрушенья,
Громады, падшие во прах,
И праздник нового рожденья,
И жизнь в торжественных венцах.
Но никогда, богатый силой,
Он не склонялся пред грозой,
И над дымящейся могилой
Он веял жизнью молодой.
Не раз орел небес пернатый
Венчал главу его крылом,
Внимал бессильные раскаты
Над гордым гения челом.
Как он велик, могучий гений,
Властитель трепетных полей!
Он бросил в них державно тени
И поглотил весь свет лучей.
Теперь в нем дремлют мощь и сила!
Грозы мертвящая рука
Давно уж меч свой притупила
О грудь стальную старика.
Но что? ужель боец надменный
Умрет в недеятельном сне
И червь, точка во тьме презренной,
Его разрушит в тишине?
О нет! Иное назначенье!
Он должен рухнуть под косой.
Чтоб снова праздновать рожденье,
Чтоб снова ратовать с грозой.

Гремит волна, рокочут тучи,
И вот, как феникс, окрылен,
Из края в край кормой летучей
Бесстрашно бездны роет он.
В пучине влаги своенравной
Он вновь открыл избыток сил,
И вновь орел самодержавный
Его чело приосенил.

1835

16. (В АЛЬБОМ В. А. ТРЕБОРНУ)

Вступая в свет неблагодарный
И видя скорби, я роптал;
Но мой хранитель светозарный
Мне в утешение сказал:
«Есть два спутника меж вами,
Они возьмут тебя в свой кров,
Они усыпят путь цветами,
Зовут их — дружба и любовь».
И я с сердечною тоскою
Пошел сих спутников искать...
Один предстал ко мне с тобою,
Другого, может, не видать.

1835

17. ПОСЛАНИЕ К ДРУГУ

Мой друг! Куда, в какие воды
Тебе послать святой привет
Любви, и братства, и свободы?
Туда ль, где дышит Новый Свет
С своими древними красами?
Или туда, в разбег морей,
Где небо сходится с волнами
Над грудью гордых кораблей?
Но где б ты ни был, я повсюду
Тебя душой моей найду.
Незримо в мысль твою войду
И говорить с тобою буду.

О, ты поймешь меня, мой брат,
Мой милый спутник до могилы!
Пусть эти речи не блещут
Разливом пламени и силы;
Пусть не звучные, оне
Не ослепят судей искусства.
Зачем? Созревши в тишине,
На ниве огненного чувства,
Они чуждаются прикрас.
Плод жаркий внутренних страданий, —
Его ли вынести напоказ,
Одетый в жемчуг и алмаз?
Мой друг и спутник, дай мне руку!
Я припаду на грудь твою,
И всю болезнь, всю сердца муку
Тебе я в душу перелью!

Рожденный в недрах непогоды,
В краю туманов и снегов,
Питомец северной природы
И горя тягостных оков, —
Я был приветствован метелью,
Я встречен дряхлою зимой,
И над младенческой постелью
Кружился вихорь снеговой.
Мой первый слух был — вой бурана;
Мой первый взор был — грустный взор
На льдистый берег океана,
На снежный гроб высоких гор.
С приветом горестным рожденья
Уж было в грудь заронено
Непостижимого мученья
Неистребимое зерно.
Везде я видел мрак и тени
В моих младенческих мечтах:
Внутри — несвязный рой видений,
Снаружи — гробы на гробах.
Чредой стекали в вечность годы,
Светлело что-то впереди,
И чувство жизни и свободы
Забилось трепетно в груди.
Я полюбил людей, как братьев,
Природу — как родную мать,

И в жаркий круг моих объятий
Хотел живое все созвать.
Но люди
Мне тяжек был мой первый опыт.
Но я их ненависть забыл,
И, заглушая сердца ропот,
Я вновь их в брате полюбил.
И все, что сердцу было ново,
Что вновь являлося очам,
Делил я с братом пополам.
И, недоверчивый, суровый,
Он оценил меня. Со мной
Он не скрывал своей природы,
Горя прекрасною душой
При звуках славы и свободы,
Он мне доверил тайну сил
Души-вулкана; от открыл
Мне лучшие свои желанья,
Свои заветные мечты
И цель — по терниям страданья,
В лучах небесной красоты...
Не зная лучшего закона,
Как чести, славы и добра,
Он рос при имени Петра,
Горел на звук Наполеона
Как часто в пламенных мечтах
Он улетал на берег дальний,
Где спит воитель колоссальный
В венцах победы и в цепях.
О, если б видел ты мгновенье,
Когда бесстрашных твердый строй
Шагал с музыкой боевой!
Он весь был жизнь! весь вдохновенье!
Прикован к месту, он дрожал,
Глаза сверкали пылом боя...
Казалось, славный дух героя
Над ним невидимо летал!

Но он угас во цвете силы,
И с ним угасла жизнь моя.
И в мраке братния могилы
Зарыл заветное все я.
Я охладел к святым призваньям;

Моя измученная грудь
Жила еще одним желаньем —
Скорее с братом отдохнуть.
Но дух отца напомнил слово —
Завет последний бытия;
Я возвратился к жизни снова;
Но что за жизнь была моя!
Привязан к персти силой крови —
Любовью матери моей,
Я рвался в небо, в край любви,
В обитель тихую теней.
Но мне отказано в желанье,
Я должен мучиться и жить
И дорогой ценой страданья
Грех малодушья искупить.
Я измирал на язвах муки
И голос сердца заглушал.
О, как тогда в святые звуки
Я перелить его желал!
Но для чего? Кому б поверил
Святую исповедь души?
Кто б из чужих ее измерил?
Один, в полуночной тиши,
Склонясь к холодному сголовью,
Я, безнадежный, плакал кровью
И раны сердца раздирал.
Любить кого б любовью вечной —
Вот то, чего я так искал,
За что бы жизнь мою я дал
На муки жизни бесконечной.

Любовь! Любовь! Страданья цвет!
Венец страстей, души светило!
Кому б ты сердца не открыла,
Не облекла его во свет?
Я всё бы отдал — жизнь и славу,
Лишь бы из чаши бытия
Вкусить блаженство и отраву
В струях волшебного питья.
Но годы идут без возврата,
Напрасно сердце я зову,
И может быть, до дней заката
Я жизнь бесстрастно отживу...

Один с сердечною тоскою,
По тернам долгого пути,
Нигде главы не успокою
На розах пламенной груди.
Пойду, бесстрастный, одиноко,
Железом душу окую,
И пламень неба я глубоко
В пустыне сердца затаю.
А как бы мог любить я! Силы
Небес, и ада, и земли
От первой искры до могилы
Ее бы вырвать не могли!
О нет! И самый смерти камень,
И холод мертвенный могил
Не угасили б жаркий пламень:
И там бы я ее любил!..
Но что в мечтаньях? Эти грезы,
Души желающей поток,
Не осушат мне сердца слезы, —
Я всё средь мира одиноч!..

Но прочь укор на жизнь, на веру!
Правдив всевышнего закон!
Я за любовь, мой друг, чрез меру,
Твоею дружбой награжден.
Я буду жить. Две славных цели
Священный день для нас открыл.
Желанья снова закипели;
Твой голос сердце пробудил.
Я вновь на празднике природы;
Я снова вынесу на свет
Мои младенческие годы
И силы юношеских лет.

Мой друг! Мой брат! С тобой повсюду!
На жизнь, на смерть и на судьбу!
Я славно биться с роком буду
И славно петь мою борьбу.
Не утомлен, пойду я смело,
Куда мне рок велит идти, —
На ваше творческое дело,
И горе ставшим на пути!..

. ■
И там, одетый лучами,
Венец сияющий сниму,
И вновь с любовью и слезами
Весь мир как брата обниму.

1836

18. КОЛЬЦО С БИРЮЗОЙ

Камень милый, бирюзовый,
Ненаглядный цвет очей!
Ах, зачем, мой милый камень,
Ты безвременно потуск?
Я тебя ли не лелеял?
Я тебя ли не берег?
Что ж по-прежнему не светишь?
Что не радуешь очей?
Ах! я слышу, ах! я знаю,
Милый камень, твой ответ:
«Скоро, скоро нас оставит
Незабвенный ангел наш.
Свет очей ее небесных
Освещал меня собой,
И дыханье уст прелестных
Оживляло красотой!..»
Ты померкни, ты потускни,
Камень милый, дорогой!
Распаяйся, разломися
Ты, заветное кольцо!
Что мне кольца, что мне камни,
Если нет со мной ее?
С ней и радость, с ней и счастье!
Без нее мне жизнь не в жизнь!

1836 (?)

19. ЗЕЛЕНый ЦВЕТ

Прелестно небо голубое,
Из вод истканное творцом.

Пространным, блещущим шатром
Оно простерто над землею.
Всё так! Но мне милей
Зеленый цвет полей.

Прелестна роза Кашемира!
Весной, в безмолвии ночей,
Поет любовь ей соловей
При тихом веянье зефира.
Всё так! Но мне милей
Зеленый цвет полей.

Прелестны бледно-сини воды!
В кристалле их — и свод небес,
И дремлющий в прохладе лес,
И блеск весенняя природы.
Всё так! Но мне милей
Зеленый цвет полей.

Прелестна лилия долины!
В одежде брачная чета,
Как кроткий ангел красоты,
Цветет в пустынях Палестины.
Всё так! Но мне милей
Зеленый цвет полей.

Прелестны жатвы полевые!
При ярких солнечных лучах
Они волнуются в полях,
Как будто волны золотые.
Всё так! Но мне милей
Зеленый цвет полей.

1837

20. ВОПРОС

Поэт ли тот, кто с первых дней сознанья
Зерно небес в душе своей открыл
И, как залог верховного призванья,
Его в груди заботливой хранил?
Кто меж людей душой уединялся,
Кто вокруг себя мир целый собирал,
Кто над толпой гигантом возвышался
И пред творцом во прах себя смирял?

Поэт ли тот, кто с чудною природой
Святой союз сыздетства заключил,
Связал себя разумною свободой
И мир и дух сознанию покорил?
Кто воспитал в душе святые чувства,
К прекрасному любовью дышал,
Кто в области небесного искусства
Умел найти свой светлый идеал?

Поэт ли тот, кто всюду во вселенной
Дух божий — жизнь — таинственно прозрел,
Связал с собой и думой вдохновенной
Живую мысль на всем напечатлел?
Кто тайные творения скрижали,
Не мудрствуя, с любовью читал,
Кого земля и небо вдохновляли,
Кто жизнь с мечтой невольно сочетал?

Поэт ли тот, кто нить живых сказаний
На хартии сочувственно следил,
Кто разгадал хаос бытописаний
И опытом себя обогатил?
Кто над рекой кипевших поколений,
В глухой борьбе народов и веков,
В волнах огня и крови, и смятений
Провидел перст правителя миров?

Поэт ли тот, кто светлыми мечтами
Волшебный мир в душе своей явил,
Согрел его и чувством и страстями
И мыслию высокой оживил?
Кто пред мечтой младенцем умилялся,
Кто на нее с любовью взирал,
Кто пред своим созданием преклонялся
И радостно в восторге замирал?

Поэт ли тот, кто с каждой каплей крови,
Любовь в себя чистейшую приял,
Кто и живет, и дышит для любви,
Чья жизнь — любви возвышенный фиал?
Кто всё готов отдать без воздаянья
И счастье дней безжалостно разбить,
Лишь только бы под иглами страданья
Свою мечту прекрасную любить?

Поэт ли тот, кто, в людях сиротея,
Отвергнутый, их в сердце не забыл,
Кто разделял терзанья Прометея
И для кого скалой мир этот был?
Кто, скованный ничтожества цепями,
Умел сберечь венец души своей,
Кто у судьбы под острыми когтями
Не изменил призванью первых дней?

Поэт ли тот, кто холод отверженья
Небесною любовью превозмог,
Врагам принес прекрасные виденья,
Себе же взял терновый лишь венок?
Кто не искал людских рукоплесканий,
Своей мечте цены не положил
И в чувстве лишь возвышенных созданий
Себе и им награду находил?

Пусть судит мир! Орудье ль благодати,
Герой ли он иль странный на земле?
Горит ли знак божественной печати
На пасмурном, мыслительном челе?
Пусть судит он! — Но если мир лукавый,
Сорвав себе видений лучший цвет,
Лишит его и имени, и славы —
Пускай решит: кто ж он, его поэт?

Август 1837

21. КТО ОН?

Он силен — как буря Алтая,
Он мягок — как влага речная,
Он тверд — как гранит вековой,
Он вьется ручьем серебристым,
Он брызжет фонтаном огнистым,
Он льется кипучей рекой.

Он гибок — как трость молодая,
Он крепок — как сталь вороная,
Он звучен — как яростный гром,
Он рыщет медведем косматым,
Он скачет оленем рогатым,
Он реет под тучи орлом.

Он сладок — как девы лобзанья,
Он томен — как вздох ожиданья,
Он нежен — как голос любви,
Он блещет сияньем лазури,
Он дышит дыханием бури,
Он свищет посвистом Ильи.

Он легок — как ветер пустынный,
Он тяжек — как меч славянина,
Он быстр — как налет казака.
В нем гений полночной державы...
О, где вы, наперсники славы?
Гремите!.. Вам внемлют века!

1837

22. К ДРУЗЬЯМ

Други, други! не корите
Вы укорами меня!
Потерпите, подождите
Воскресительного дня!

Он проглянет — вновь проснется
Сердце в сладкой тишине,
Встрепетается, разовьется
Вольной пташкой в вышине.

С красным солнцем в небо снова
Устремит оно полет
И в час утра золотого
В сладкой песне расцветет.

Мир господен так чудесен!
Так отраден вольный путь!
Сколько зерен звучных песен
Западет тогда мне в грудь!

Я восторгом их обвею,
Слез струями напою,
Жарким чувством их согрею,
В русской речи разолью.

И на звук их отзовется
Сердце юноши тоской,
Грудь девицы всколыхнется,
Стают очи под слезой.

1837

23. МУЗЫКА

Как небо южного восхода
Волшебный храм горит в огнях.
Бегут, спешат толпы народа,
«Роберт, Роберт!» — у всех в устах.
Вхожу. Разлив и тьмы и света.
В каком-то дыме золотом
Богини неевского паркета
Роскошным зыблются венком.
Вот подан знак. Как моря волны,
Как голос мрака гробовой,
Звук Мейербера, тайны полный,
Прошел над внемлющей толпой.
Всё в слух. Могильное молчанье,
Как гений над толпой парит.
В каком-то мрачном ожиданье
Душа томится и кипит.
И тчется звуков сеть густая,
И тяжким облаком свилась.
По ней, прерывисто сверкая,
Трель огневая пронеслась.
Не так ли в мраке непогоды,
Огонь по ребрам туч лия,
Скользит зубчатый меч природы —
Молниеносная струя?

Мир чудесный! мир мечтанья!
Рай земной небесных муз!
Чувств и звуков сочетанье
В гармонический союз!
Лейтесь, лейтесь с неба, звуки!
Как отрадно в вас мечтать
И в томленьях сладкой муки
Умирать и оживать!
Как отрадно в этом море
Волн гармонии живых

Забывать земное горе
И задумываться в них!
Улетать за вольным звуком
В область солнцев и чудес
И прикинуть жадным слухом
На гармонию небес!
Упиваться их дыханьем,
Звучный бисер их ловить
И на вспаханной страданьем
Ниве сердца хоронить!
Чу! как ропот отдаленный
Волн, гремящих о скалы,
Иль стенание гиены
В тайный час полночной мглы —
Слышны звуки... Страшен голос
Этой речи! Мрак в очах!
Холод в сердце... Дыбом волос...
Вздых мертвеет на устах...
Звуки ноют, звуки стонут,
Воплем чувства душу рвут,
То в гармонии потонут,
То в мелодии заснут...

Вдруг, по взмаху чародея
Светлых звуков легкий рой,
Золотые искры сея,
Хлынул звонкою волной, —
То свернутся мягкой дымкой,
То рассыплются в лучах,
То промчатся невидимкой
На зефирных крылах.
Блещут молнии зарями
На аккордов мрачных сонм
И, осыпав всех цветами,
Исчезают легким сном...
Слыша звуки, я порою
У небес молю благих
Засыпать под их игрою
И проснуться вновь для них.

1837

24. К МУЗЕ

Прошла чреда душевного недуга,
Восходит солнце прежних дней.
Опять я твой, небесная подруга
Счастливой юности моей!
Опять я твой! Опять тебя зову я,
Покой виновный мой забудь
И, светлый день прощенья торжествуя,
Благослови мой новый путь!

Я помню дни, когда, вдали от света,
Беспечно жизнь моя текла,
Явилась ты с улыбкою привета
И огонь небес мне тихо в грудь влила.
И вспыхнул он в младенческом мечтанье,
В весенних грезах, чудных снах,
И полных чувств живое излиянье —
Речь мерная дрожала на устах.
Рассеянно, с улыбкою спокойной
Я слушал прозы склад простой;
Но весело, внимая песне стройной,
Я хлопал в такт ребяческой рукой.
Прошла пора, и юноша счастливый
Узнал, что крылося в сердечной глубине;
Я лиру взял рукой нетерпеливой,
И первый звук ответил мне.
О, кто опишет наслажденье
При первом чувстве силы в нас!
Забилось сердце в восхищенье,
И слезы брызнули из глаз.
«Он твой — весь этот мир прекрасный!
Бери его и в звуках отражай!
Ты гордый царь с улыбкою всевластной,
Сердцами всех повелевай!»

Внимая гордому сознанью,
Послушный звук со струн летел:
И речь вилась цветущей тканью,
И вдохновеньем взор горел.
Я жил надеждами богатый...
Как вдруг, точа весь яд земли,
Явились горькие утраты

И в траур струны облекли.
Напрасно в дни моей печали
Срывал я с них веселый звук:
Они про гибель лишь звучали;
И лира падала из рук.

Прощайте ж, гордые мечтанья!
И я цевницу положил
Со стоном сжатого страданья
На свежий дерн родных могил.
Минули дни сердечной муки,
Вздыхнул я вольно в тишине,
И прежних дней живые звуки
Мечтались мне в неясном сне.

Но вдруг — в венце небесного смиренья,
Блестая тихою, пленительной красой,
Как светлый ангел утешенья,
Она явилась предо мной.
Простой покров земной печали
Ее воздушный стан смыкал;
Уста любовью дышали,
И взор блаженство источал.
И был тот взор — одно мгновенье,
Блеснувший луч, мелькнувший сон;
Но сколько в душу наслажденья,
Но сколько жизни пролил он!
С тех пор мелькает предо мною
Чудесный образ красоты,
Волнует сладко грудь тоскою
И красит радугой мечты.

И день и ночь мне чудится стан гибкой,
Небесная гармония речей,
Уста прелестные с задумчивой улыбкой
И тихий блеск пленительных очей.
Я полон весь прекрасного виденья!
Палящий жар течет в моей крови.
И сердце просит вдохновенья
Безмолвным трепетом любви.

Прошла чреда душевного недуга;
Восходит солнце новых дней.
Опять я твой, небесная подруга
Счастливой юности моей!

Сойди ж ко мне, обвей своим дыханьем!
Согрей меня небесной теплотой!
Взволнуй мне грудь святым очарованьем!

Я снова твой! Я снова твой!
Я вновь беру забытую цевницу,
Венком из роз, ликуя, обовью,
И буду петь мою денницу,
Мою звезду, любовь мою!
Об ней одной с зарей Востока
В душе молитву засвечу
И, засыпая сном глубоко,
Ее я имя прошепчу.

И верю я, невинные желанья
Мои исполнятся вполне:
Когда-нибудь в ночном мечтанье
Мой ангел вновь предстанет мне.
А может быть (сказать не смею),
Мой жаркий стих к ней долетит,
И звук души, внушенный ею,
В ее душе заговорит.
И грудь поднимется высоко,
И мглой покроются глаза,
И на щеке, как перл Востока,
Блеснет нежданная слеза!..

4 сентября 1838
Тобольск

25. ПРАЗДНИК СЕРДЦА

О светлый праздник наслажденья!
Зерно мечтаний золотых!
Мне не изгладить впечатленья
Небесных прелестей твоих.
Они на внутренней скрижали,
На дне сердечной глубины,
Алмаза тверже, крепче стали
Резцом любви проведены.
И с каждым трепетом дыханья,
И с каждым чувством бытия
Святые дни воспоминанья
В моей душе читаю я.



Но, чуждый черных света правил,
Я стража чистой красоты
К вратам души моей приставил:
То — скромность девственной

мечты.

И никогда в ней взор лукавый
Заветной тайны не прочтет
И для бессмысленной забавы
В толпе пустой не разнесет.

10 сентября 1838
Тобольск

26. ДВЕ МУЗЫ

С первой искрою сознания
Поэтической мечты
Я живу в цепях влиянья
Двух наперсниц красоты.
Я покорен их веленью;
На призывный голос их
Верным эхом в то ж мгновенье
Откликается мой стих.
Без него ж, как в сени гроба,
Сердце дремлет в тишине...
Но не вместе, а особо
Мне являются оне.
Власть равна их надо мною,
И задолго наперед
Я предчувствую душою
Их властительный приход.

Так порой в тоске глубокой
Вольной грудью вдруг вздохну
И вокруг себя далеко
Ясным взором я взгляну.
Наслажденьем в душу канет
Жизни светлая струя,
И с улыбкой мне предстанет
Муза первая моя.
Дышит негой грудь царицы,
Зноем чувств уста горят,
Сквозь шелковые ресницы
Пылкой страстью блещет взгляд.

И, лилейною рукою
Быстро вскинув шелк кудрей,
Станет муза предо мною
В полноте красы своей.
Весь в роскошном чувстве млея.
Жаждой прелести томим,
Остаюсь я перед нею
Безответен, недвижим...
Вдруг волшебница снимает
Разноцветный с плеч убор
И, ласкаясь, накрывает
На меня воздушный флер.
Вмиг светлее пред глазами
Возникает мир иной —
Мир, увенчанный цветами!
Мир поэзии земной!
Безграничная картина!
Небо, воздух и земля —
Всё здесь слито воедино
В цвет прекрасный бытия!
Всюду светлою волною
Плещет сердца глубина,
И дрожит всей полнотою
Жизни звучная струна!
Тает грудь от наслаждений,
И, роскошествуя в них,
Мощь цветущих песнопений
Бьет ключом стихов живых.

А в иные дни, средь шума
Веселящихся гостей,
Ляжет на сердце мне дума
Мрачной полночи мрачней.
Всё темнеет предо мною,
Скучен, дик веселый пир.
Отзываются тоскою
Звон стекла и звуки лир.
И, покорный управленью
Повелительной руки,
Я спешу в уединенье
Пить до капли яд тоски.
Ноет сердце, ожидая
Новой музыки... И она

Предстает ко мне, вздыхая,
Будто лилия бледна.
Томный взор повит слезою,
На устах печаль лежит,
Под душевною грозою
Грудь прекрасная дрожит.
Вдруг страдальца, с улыбкой
Руку сжав мне горячо,
Как от ветра колос гибкой,
Припадет мне на плечо.
Долго грустными очами
Мне в глаза она глядит
И дрожащими устами
Что-то сердцу говорит.
Льется в душу тихий шепот
Вдохновительных речей,
Как разлуки грустный ропот,
Как напев в тиши ночей.
Слыша сердцем эти звуки,
Я не помню сам себя,
Изнываю в сладкой муке
И блаженствую, скорбя.
А она всё развивает
Черный креп свой предо мной
И, вздыхая, опускает
Над моею головой.
Я смотрю, и мир унылый
Глыбой мертвою лежит.
Пред открытою могилой
Молодая жизнь стоит,
Вьет венок из роз и терний...
А над грудями костей
Слышен хохот грубой черни
И стенания людей...
Рвется грудь моя тоскою,
И в страданиях немых
Поэтической слезою
Тихо катится мой стих.

12 сентября 1838

ОСЬМИСТИШЯ

27

Сон миновался души. Снова живу я.
Есть для меня на земле радость и счастье.
Радость приносит цветы на жертвенник сердца,
А счастье готово излить на них ароматы.
Феникс родился из пепла, о други! Я верю,
Искра огня Прометея уж пала на жертву;
Миг — и радостно вспыхнет она, и сердца
Алтарь запылает святым огнем возрождения.

9 октября 1838

28

Сладостны слезы для сердца в тоске безотрадной.
Есть они у меня, но жалко мне их проливать.
Раны души облегчил бы я ими, я знаю,
А все-таки их берегу я до лучшей поры.
Фиал многоценный души я всё наполняю слезами
И жду той минуты, когда, жизни и чувств в полноте,
Млея, паду я на грудь к моей ненаглядной,
А сердце забьется, заплещет и брызнет алмазным ключом.

24 октября 1838

29

Сегодня, о други, я с вами сердечный мой праздник пирую.
Есть ли из нас хоть один, кто бы счастья мне не желал?
Руку давайте мне каждый, и лейте мне в сердце желанья,
А я вам братским пожатием богато за них заплачу!
Фиал искрометный берите! Пусть плещет жемчужная влага,
И каждый от доброго сердца пусть выпьет всю влагу
до дна!

Мой первый тост за нее; последний мой тост за нее же;
А вы к ним прибавьте еще: за скорый счастливый успех!

29 июля 1839

30

Сомненье запало мне в грудь и точит бедное сердце,
Ехидное жало его мне покоя нигде не дает;
Рано и поздно оно мне внушает коварные мысли,
Ад свирепеет в душе и мучит, терзает меня.
Фуриям отдаю я в жертву и слез не могу допроситься,

И вздоха отрадного я не могу из души извести.
«Может быть (шепчет мне кто-то), другая найдет с
тобой счастье,
А тебе никогда уж счастливым с другою не быть».

3 декабря 1838

31

Север дышит ненастьем и гонит снежные тучи,
Ели и сосны в зимней одежде, печально поникнув, стоят;
Резкий, пронзительный ветер свищет на вольном
просторе, —

А сердцу покойно, а сердцу в груди горячо.
Фарос надежды ярко горит средь ненастья;
И если порою ветер сомненья желает его потушить, —
Молитва льет масло, мечта поправляет светильник
И жаркий пламень любви вновь зажигает его.

4 декабря 1838

32. ШАТЕР

Помост его — зеленая равнина;
Ковры цветов раскинуты на нем;
Здесь снег лилей, тут пурпур розмарина,
А там зерно в отливе золотом.

От всех сторон над ним сапфирным
сводом
Наклон небес торжественно навис;
А по краям зубчатым переходом
Идет лесов готический карниз.

То лентами, то цвѣтною волною
Сгиб облаков на пологѣ бежит;
А наверху светило золотое,
Как легкий шар, блистательно горит.

11 октября 1838

33. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ

Няня, что это такое
Нынче сделалось со мной?

Изнывает ретивое
Под неведомой тоской.

Всё кого-то ожидаю,
Всё об ком-то я грущу;
Но не знаю, не сгадаю,
Что такое я ищу.

Помнишь, няня, как, бывало,
В светлом тереме моем
Я резвилась, распевала,
Не заботясь ни о чем.

А теперь твоя шалунья
Пригорюнившись сидит:
Пало на душу раздумье,
Сердце ноет и болит.

Смех подружек мне досаден,
Игры их не веселят,
И ненастен, непригляден
Мне мой праздничный наряд.

Нет мне солнца в полдень ясный,
Мир цветет не для меня,
Опостыл мне терем красный,
Опостыла жизнь моя.

Няня! Няня! Что за чудо
Нынче сделалось со мной?
Что — добро оно иль худо
Мне пророчит, молодой?

14 октября 1838

34. СОН

Друзья! Я видел сон чудесный.
Но что такое значит он?
Глашатай воли он небесной
Или пустой, житейский сон,
Души тревожное движенье,

Одна игра воображенья?
Судите вы.

Мечталось мне,
Что я стою на вышине
Холма крутого. Под ногами,
Среди акаций и берез,
Ручей в венке из пышных роз
Журчал игривыми струями
И, отражая небо, нес
Живые перлы горных слез
И исчезал в дали незримой.
А там вблизи, гремя о скат
Холма волной неукротимой,
Как буря, лился водопад,
Вставал столбами млечной пены,
Дробился пылью голубой
И на границе отдаленной
В морскую грудь, боец надменный,
Вливался бурною рекой.

Один, задумчивый, безмолвный,
Я на холме крутом стоял,
И с струй ручья на бурны волны
Мой жадно взор перебегал.
Мечта сменялася мечтою:
То светлых струй своих игрою
Меня манил к себе ручей;
Я любовался красотою
Его зыбей, его полей;
«Как всё спокойно здесь, как мило!
Когда прошла бы жизнь моя,
Как струйка этого ручья,
От колыбели до могилы!» —
Так думал я. Но вскоре шум
И блеск нагорного потока
Своей поэзией высокой
Другую мысль вливали в ум;
И эта мысль была кипуча,
Как водопад, была сильна,
Как бездны бурная волна.

Вдруг, мнится мне, из недра туч
Раздался голос громовой:

«Смотри! Две жизни пред тобой:
Избрать тебе даю свободу.
Пойми, узнай свою природу
И там немедля выбирай.
Ручей — безвестной жизни рай,
Поток — величия зеркало!»
Сказал — и снова тишина!
И пробудился я от сна.

3 декабря 1838

35. ПЕРЕМЕНА

Проходят дни безумного волненья,
Душа зовет утраченный покой.
Задумчиво уж чашу наслажденья
Я подношу к устам моим порой.

Иная мысль в уме моем теснится,
Иное чувство движет грудь.
Мне вольный круг цепями становится,
Хочу в тиши семейной отдохнуть.

Исчез обман мечты самолюбивой,
Открылась вся дней прежних пустота.
Другую мне рисует перспективу
В дали годов спокойная мечта.

Домашний кров... Один или два друга...
Поэзия... Мена простых затей...
А тут любовь... прекрасная подруга
И вокруг нее веселый круг детей.

9 декабря 1838

36. ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ ЦВЕТOK

Утро дохнуло прохладой. Ночные туманы, вясь,
Понеслись далеко на запад. Солнце приветно
Взглянуло на землю. Всё снова живет и вкушает
Блаженство. Но ты не услышишь уж счастья,

О замок моих прародителей! Пусть солнце
 Своим лучом золотит шпицы башен твоих,
 Пусть ветер шумит в твоих стенах опустелых,
 Пусть ласточка щебечет под высоким карнизом
 Веселую песню, — ты не услышишь уж жизни
 И счастья. Склоняся уныло над тихой долиной,
 Башни твои как будто смотрят на эту могилу,
 Где схоронено всё, что тебя оживляло.
 О, если б подслушать, что говорит одинокая ель
 над тобою,
 Зачем преклоняет к земле вершину свою
 И слезы росы отрясает с листьев своих!
 О, если б прочесть, что мох начертал на стенах
 опустелых,
 Много бы, много сказали эти тайные буквы;
 Их поняло б сердце, мечта бы их полюбила,
 И чувство, глубокое чувство их затаило.

16 марта 1839

37. ДРУЗЬЯМ

Друзья! Оставьте утешенья,
 Я горд, я не нуждаюсь в них.
 Я сам в себе найду целенья
 Для язв болезненных моих.
 Поверьте, я роптать не стану
 И скорбь на сердце заключу,
 Я сам нанес себе ту рану,
 Я сам ее и залечу.
 Пускай та рана грудь живую
 Палящим ядом облила,
 Пускай та рана, яд волнуя,
 Мне сердце юное сожгла:
 Я сам мечтой ее посеял,
 Слезами сладко растравлял,
 Берег ее, ее лелеял —
 И змея в сердце воспитал.
 К чему же мой бесплодный ропот?
 Не сам ли терн я возрастил?
 Хвала судьбе! Печальный опыт
 Мне тайну новую открыл.
 Та тайна взор мой просветлила,

Теперь загадка решена:
Коварно дружба изменила,
И чем любовь награждена?..
А я, безумец, в ослепленье
Себя надеждами питал,
И за сердечное мученье
Я рай для сердца обещал.
Мечта отрадно рисовала
Картину счастья впереди.
И грудь роскошно трепетала,
И сердце таяло в груди.
Семейный мир, любовь святая,
Надежда радостей земных —
И тут она, цветок из рая,
И с нею счастье дней моих!
Предупреждать ее желанья,
Одной ей жить, одну любить
И в день народного признанья
Венец у ног ее сложить.
«Он твой, прекрасная, по праву!
Бессмертной жизнью живи.
Мое ж всё счастье, вся слава
В тебе одной, в твоей любви!»
Вот мысль, которая жила
Меня средь грустной пустоты
И ярче солнца золотила
Мои заветные мечты...
О, горько собственной рукою
Свое создание истребить
И, охладев как лед душою,
Бездушным трупом в мире жить,
Смотреть на жизнь бесстрастным оком,
Без чувств — не плакать, не страдать
И в гробе сердца одиноком
Остатков счастья искать!
Но вам одним слова печали
Доверю, милые друзья!
Вам сердца хладного сжимали,
Не покраснев, открою я.
Толпе ж, как памятник надгробный,
Не отзовется скорбный стих,
И не увидит взор холодный
Страданий внутренних моих.

И будет чуждо их сознания,
Что кроет сердца глубина —
И дни, изжитые в страданье,
И ночи жаркие без сна.
Не говорите: «Действуй смело!
Еще ты можешь счастлив быть!»
Нет, вера в счастье отлетела,
Неможно дважды так любить,
Один раз в жизни светит ясно
Звезда живительного дня.
А я любил ее так страстно!
Она ж... любила ли меня?
Для ней лишь жизнь моя горела
И стих звучал в груди моей,
Она ж... любовь мою презрела,
Она смеялась над ней!
Еще ли мало жарких даней
Ей пылкий юноша принес?
Вы новых просите страданий,
И новых жертв, и новых слез.
Но для того ли, чтобы снова
Обидный выслушать ответ,
Чтоб вновь облечь себя в оковы
И раболепствовать?.. О нет!
Я не унижусь до молений,
Как раб, любви не запрошу.
Исток души, язык мучений
В душе, бледнея, задушу...
Не для нее святая сила
Мне пламень в сердце заключила,
Нет, не поймет меня она!
Не жар в груди у ней — могила,
Где жизнь души схоронена.

Июнь 1839

38. ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Воет ветер, плачут ели,
Вьются зимние метели;
Бесконечной пеленой
Виснет хмара над страной.
Ни ответа, ни привета, —

Лишь порою глыба света
Дивной радуги игрой
Вспыхнет тихо за горой;
Лишь порою, дея чары,
Глянет месяц из-за хмары,
Словно в повязи венца
Лик холодный мертвеца.
Скучно! Грустно! Что же, други!
Соберемтесь на досуге
Укоротить под рассказ
Зимней скуки долгий час!
Пусть в пылу бессильной злобы
Вьюга вьет, метет сугробы;
Пусть могильный часовой,
Ворон плачет над трубой;
Что нам нужды? Мы содвинем
Круг веселый пред камином
И пред радостным огнем
Песнь залетную споем;
Сок янтарный полной чаши
Оживит напевы наши,
И под холодом зимы
Юг роскошный вспомним мы.

1839, Тобольск

39. КЛАД ДУШИ

Богач! К чему твои укоры?
Зачем, червонцами звся,
Полупрезрительные взоры
Ты гордо бросил на меня?
О нет! Совсем не беден я!
Меня природа не забыла;
Богатый клад мне подарила.
О, если б мог ты заглянуть
В мою сокровищницу — грудь!
Твой жадный взор бы растерялся
В роскошной сердца полноте,
И ты бы завистью снедался
К моей богатой нищете.
Смотри: я грудь мою раскрою,
Раскрою сердца глубину

И этой бедною рукою
Бога^ч, рассыплю пред тобою
Мою несметную казну.
Цени ж!..
Вот здесь сапфир бесценный —
Святая вера. В мраке дней,
В тумане бед, во тьме скорбей
Он жарко льет душе смущенной
Отрадный блеск своих лучей.
Не мощь земли его родила,
Излит небесным он огнем,
И чудодейственная сила
Таинственно хранится в нем.
Он мне блестит звездой завета,
В молитве теплится свечой;
Любви духовной в царстве света
Он обручальный перстень мой.
Когда ж в чаду страстей дыханья
Потускнет грань его, одна
Слеза святая покаянья
Смывает туск его пятна.
И в день, как кончится тревога
Мятежной жизни, может быть,
Могу я им к престолу бога
Свободный доступ искупить.
Вот перлы здесь — *живые чувства*
К чудесным мира красотам,
К высокой прелести искусства,
К вдохновительным мечтам.
Всмотрись, бога^ч, в мои монасты:
В них нет пылинки для хулы;
Они, как снег нагорный, чисты,
Как небо божие, светлы!
Они богатою звездою
Лежат на сердце у меня
И блещут чудною игрою
В лучах душевного огня.
Я с каждым днем их украшаю
И кистью творческой мечты
На блеск их яркой чистоты
Живое золото снимаю
С богатой нивы красоты.

А вот, как бриллиант Востока,
В миллионы искр огранено,
Лежит на сердце одиноко
Любви окатное зерно,
На самом дне груди сокрыто
До роковой своей поры,
Оно таинственно повито
Слоями тусклыми коры.
Но миг — кора с него спадает,
Оно льет свет и теплоту
И в чудных видах отражает
Земное небо — красоту.
Волной тревожной в сердце бьется,
Сверкает пламенем в глазах,
В огне румянца тихо льется
И дышит жаром на устах!

Скажи, богач, еще ли мало
Тебе богатств? Ужель велишь
Еще откинуть покрывало
С других сокровищ?.. Так смотри ж!

Вот славы здесь венец блестящий,
Вот чести пояс золотой,
Вот жезл фантазии творящей,
Вот яхонт верности святой!
А эти радужные ткани,
Богатство внутренних одежд —
Глубоких сердца упований
И сердца ветреных надежд?
А ключ кипящий песнопенья?
А слез, небесных слез родник?
А грусти сладкие мученья?
А светлых помыслов цветник?

Теперь раскрой передо мною
Богатство, равное с моим,
И я покорной головою
Склонюсь смиренно перед ним.

40. ЭКСПРОМТ

Чуждый бального веселья,
В тишине один с собой,
Я играю от безделья
Поэтической игрой.

Пусть в веселый вихорь танца
Юность резвая летит
И под мерный такт каданса
Ножка легкая кружит.

Пусть кипучею волною
В страстной неге дышит грудь
И роскошной полнотою
Соблазнит кого-нибудь...

Огражденный от соблазна
Ранней опытностью лет,
Я смотрю, как зритель праздный,
На волнующий их свет.

«Веселитесь, — я мечтаю, —
Дважды юность не цветет...
Пусть надежда золотая
Вас цветами уберет!

Пусть любви очарованье
Эти розы возрастит
И житейский мрак страданья
В жаркий луч позолотит».

11 октября 1840

41. В АЛЬБОМ С. П. Ж[илиной]

Как часто с родственным участием
Об вас задумчиво я небо вопрошал,
Вас оделял возможным в мире счастьем
И счастье тихое в глазах у вас читал.
Да, вас судьба благословила,
Вам душу мирную дала,
Во взоре ясность засветила

И в сердце радость низвела.
Вам суждено без непогоды
Земное море переплыть,
Цветами дней отметить годы
И, быв любимой, жизнь любить.
О, тот счастлив, кто вас узнает,
Кто вас полюбит от души:
Он полным сердцем испытает
Весь рай семейственной души.

1840

42. МОЯ ПОЕЗДКА

1

ВЫЕЗД

Город бедный! Город скушный!
Проза жизни и души!
Как томительно и душно
В этой мертвенной глуши!
Тщетно разум бедный ищет
Вдохновительных идей;
Тщетно сердце просит пищи
У безжалостных людей.
Изживая без сознанья
Век свой в узах суеты,
Не поймут они мечтанья,
Не оценят красоты.
В них лишь чувственность без чувства,
Самолюбие без любви,
И чудесный мир искусства
Им хоть бредом назови...
Прочь убийственные цепи!
Я свободен быть хочу...
Тройку, тройку мне — и в степи
Я стрелою полечу!
Распахну в широком поле
Грудь стесненную мою
И, как птичка, я на воле
Песню громкую спою.
Звучно голос разольется
По волнам цветных лугов;
Мне природа отзовется

Эхом трепетных лесов.
Я паду на грудь природы,
Слез струями оболью
И священный день свободы
От души благословлю!

2

ПОЛЕ ЗА ЗАСТАВОЙ

Пал шлагбаум! Мы уж в поле...
Малый, сдерживай коней!
Я свободен!.. Я на воле!..
Я один с мечтой моей!
Дай подольше насладиться
Этой зеленью лугов!
Дай вздохнуть мне, дай упиться
Сладким воздухом цветов!
Грудь, стесненная темницей,
Распахнулась — широка.
Тише, сердце! Вольной птицей
Так и рвется в облака...
Как чудесна мать-природа
В ризе праздничной весны —
С дальней выси небосвода
До подводной глубины!
Широка, как мысль поэта,
Изменяясь, как Протей,
Здесь она — в разливе света,
Там — в игре живых теней.
То картина, то поэма,
И везде красы полна,
Светлым зеркалом эдема
Раскрывается она.
Всё в ней — жизнь, и свет, и звуки!
Подходи лишь только к ней
Не с анализом науки,
А с любовью детей!

3

ПЕСНЯ ПТИЧКИ

Чу! в черемухе душистой
Без печали, без забот,

Перекатно, голосисто
Птичка вольная поет.
Легкокрылая певица!
Где, скажи, ценитель твой?
Для кого твой звук струится
Мелодической волной?
Слышу — птичка отвечает:
«Я пою не для людей,
Звук свободный вылетает
Лишь по прихоти моей.
Мне похвал ничьих не надо;
Слышат, нет ли — что нужды?
Сами песни мне награда
За веселые труды.
Я ценителей не знаю,
Да и знать их не хочу;
Коль поется — распеваю,
Не поется — я молчу.
Я свободна; что мне люди!
Стану петь мой краткий срок!
Был бы голос в легкой груди,
Было б солнце да лесок».
Пой, воздушная певица!
Срок твой краток, но счастлив.
Пусть живой волной струится
Светлых звуков перелив!
Пой, покуда солнце греет,
Рощи в зелени стоят,
Юг прохладой сладкой веет
И курится аромат!

4

СКОРАЯ ЕЗДА

Вот дорога столбовая
В перспективной красоте,
По холмам перебегая,
Исчезает в высоте.
Что за роскошь, что за нега
Между поля и лесов
В вихре молнийного бега
Мчатся прытью скакунов!
Прихотливо прах летучий

Темным облаком свивать
И громаду пыльной тучи
Светлой искрой рассекать!
С русской мочною отвагой
Беззаботно с вышины
Низвергаться в глубь оврага
Всем наклоном крутизны!
И опять, гремя телегой
По зыбучему мосту,
Всею силою разбега
Вылетать на высоту!..
Сердце бьется, замирает...
Чуть-чуть дух переведешь...
И по телу пробегает
Упоительная дрожь.
Хочешь дольше насладиться —
Хочешь ветер обогнать...
Но земная грудь боится
Бег небесный испытать.

5

ДОРОГА

Тише, малый! Близо к смене;
Пожалей коней своих, —
Посмотри, они уж в пене,
Жаркий пар валит от них.
Дай вздохнуть им в ровном беге,
Дай им дух свой перенять;
Я же буду в сладкой неге
Любоваться и мечтать.
Мать-природа развивает
Предо мною тьму красот;
Беглый взор не успевает
Изловить их перелет.
Вот блеснули муравую
Шелковистые луга
И бегут живой волною
В переливе ветерка;
Здесь цветочной вьются нитью,
Тут чернеют тенью рвов,
Там серебряною битью
Осыпают грань холмов.

И повсюду над лугами,
Как воздушные цветки,
Вьются вольными кругами
Расписные мотыльки.
Вот широкою стеною
Поднялся ветвистый лес,
Обхватил поля собою
И в седой дали исчез.
Вот поскотина; за нею
Поле стелется; а там,
Чуть сквозь тонкий пар синяя,
Домы мирных поселян.
Ближе к лесу — чистополье
Кормовых лугов, и в нем
В пестрых группах на раздолье
Дремлет стадо легким сном.
Вот залесье: тут светлеет
Нива в зелени лугов,
Тут под жарким небом зреет
Золотая зыбь хлебов.
Тут, колеблемый порою
Перелетным ветерком,
Колос жатвенный в покое
Наливается зерном.
А вдали, в струях играя
Переливом всех цветов,
Блещет лента голубая
Через просеку лесов.

6

ГРОЗА

Вот уж с час — к окну прикован,
Сквозь решетчатый навес
Я любуюсь, очарован,
Грозной прелестью небес.
Море туч, клубясь волнами,
Затопило горний свод
И шумит дождей реками
С отуманенных высот.
Гром рокочет, пламя молний
Переломанной чертой
Бороздит седые волны

Черной тучи громовой.
Чудодейственная сила
Здесь на темных облаках
Тайный смысл изобразила
В неизвестных письменах.
Счастлив тот, кто чистым оком
Видит мир, кому дана
Тайна — в помысле глубоком
Разобрать те письма.
Не с боязнью суевера,
Не с пытливостью ума,
Но с смиреньем чистой веры
Он уловит смысл письма.
Чу, ударил гром летучий,
Гул по рощам пробежал,
И, краса лесов дремучих,
Кедр столетний запылал!
Старец дряхлый! Как прекрасна,
Как завидна смерть твоя!
Ты погиб в красе ужасной
От небесного огня.
Ты погиб, но, гордый, силу
В час последний сохранил
И торжественно могилу
Чудным блеском озарил.
Видя труп твой почернелый,
Зверь свирепый убежит
И далекие пределы
Диким воем огласит.

1840

43. ОТРЫВКИ

1

Один, спокоен, молчалив,
Лежал я ночью в поле чистом,
И надо мной шатром тенистым —
Небес безоблачный разлив.
Мой дух с какою-то отрадой
Стремился ввысь, далёко от земли,
И я дышал надежною прохладой:
То небо веяло вдали!

Порою лишь чудесным легким звуком
Меня на миг на землю привлекал,
И снова я и взорами, и слухом
Высоко в небе утопал.
Полночный час, покой, уединенье
И глубь небес над головой —
Всё, всё вело воображенье
На пир фантазии живой.
Она вкусила нектар рая!
Она вкусила хлеб небес!
И сердце жаркое, в восторге утопая,
Лилось потоком сладких слез!

2

Природа скрыта в ризе ночи,
Творенья в сон погружены,
Небес недремлющие очи
Едва мерцают с вышины.
Везде покой. Чуть ветер веет,
Отрадной свежестью дыша...
Одно мое лишь сердце млеет,
Одна грустит моя душа.
О чем же грусть? Мечты ль бывшие
Волнуют пламенную кровь,
Или потери роковые,
Иль безнадежная любовь?
О нет! Суровой жизни холод
Давно мечты уж потушил,
Давно судьбы тяжелый молот
Мне сталью сердце закалил...

3

ПАЛЫ

Ночь простерта над лугами;
Серой тенью брезжит лес,
И задержан облаками
Бледный свет ночных небес.

Трѳйка борзая несется,
Дремлют возчик и седок,
Только звонко раздается
Оглушительный звонок.

Мрак полночи, глушь пустыни,
Заунывный бой звонка,
Омраченные картины,
Без рассвета облака, —

Всё наводит грусть на душу,
Всё тревожит мой покой
И холодной думой тушит
Проблеск мысли огневой.

Вдруг блеснуло на поляне...
Что так рано рассвело?
То не месяц ли в тумане?
Не горит ли где село?

Тройка дальше. Свет яснее;
Брызжут искры здесь и там;
Круг огня стает полнее
И скользит по облакам.

Миг еще — и пламя встало
Грозно-огненной стеной
И далёко разметало
Отсвет зарева живой.

И на ярком покрывале,
Будто жители гробов,
Заходили, задрожали
Тени черные лесов.

Дальше! Дальше! Блеск пожара
Очи слабые слепит;
Ветер дышит пылом жара,
Дымом, пламенем клубит.

Стой, ямщик! Ни шагу дале!

.

И тревожно кони встали,
Роя землю и храпя.

1840(?)

44. НА ОТЪЕЗД А. И. И С. П. Ж[илиных]

Счастливым путь! Счастливым путь!
Привет! Всех благ вам на дорогу!
Скрепите трепетную грудь
В прощальный час молитвой к богу.

И он вас в путь благословит
Всемощным манием десницы,
И в легком отблеске денницы
Пред вами ангел полетит.

Крылом ответе ваши слезы,
Пробудит радости в груди
И утешительные розы
Рассыплет всюду на пути.

Когда ж порой во мраке ночи
Заснете вы отрадным сном,
Представит он пред ваши очи
В мечте родительский ваш дом.

И вас коснется звук священный
Благословения отца,
И голос матери бесценный
Проникнет радостью в сердца...

Но вот ямщик уж у порога...
Скрепите ж трепетную грудь!..
Привет, всех благ вам на дорогу!
Счастливым путь! Счастливым путь!

14 июня 1841

45. ГРУСТЬ

В вечерней тишине один с моей мечтою
Сижу, измученный неизвестною тоскою.
Вся жизнь прошедшая, как летопись годов,
Раскрыта предо мной: и дружба, и любовь,
И сердцу сладкие о днях воспоминанья
Мешаются во мне с отравой страданья.

Желал бы многое из прошлого забыть
И жизнью новою, другою пережить.
Но тщетны поздние о прошлом сожаленья:
Мне их не возвратить, летучие мгновенья!
Они сокрылися и унесли с собой
Всё, всё, чем горек был и сладок мир земной...
Я точно как пловец, волной страстей влекомый
Из милой родины на берег незнакомый
Невольно занесен: напрасно я молю
Возврата сладкого на родину мою,
Напрасно к небесам о помощи взываю,
И плачу, и молюсь, и руки простираю...
Повсюду горестный мне слышится ответ:
«Живи, страдай, терпи — тебе возврата нет!»

1843, Тобольск

46

Не тот любил, любви кто сведал сладость,
Кому любовь была на радость;
Но тот любил, кто с первых дней любви
Елеем слез поил палящий жар крови,
Кто испытал все муки и терзанья
Любви отвергнутой, кто в сердце хоронил
Последний луч земного упованья,
А в глубине души молился и любил.

1843(?)

47

Рано утром под окном,
Подпершись локотком,
Дочка царская сидела,
Вдаль задумчиво глядела;
И порою, как алмаз,
Слезка капала из глаз.
А пред ней ширинкой чудной
Луг пестрелся изумрудный,
А по лугу ручеек
Серебристой лентой тек.
Воздух легкий так отрадно
Навевал струей прохладной!

Солнце утра так светло
В путь далекий свой пошло!
Всё юнело, всё играло
Лишь царица тосковала
Под косячатым окном,
Подпершись локотком.
Наконец она вздохнула,
Тихо ручками всплеснула,
И, тоски своей полна,
Так промолвила она:
«Все пространней царство наше,
Всех девиц я в свете краше
Бела личика красой,
Темно-русою косою,
Нежной шеей лебединой,
Речью звонкой соловьиной;
Дочь единая отца,
Я краса его дворца...»

1845 (?)

48. ВОСПОМИНАНИЕ

Я счастлив был. Любовь вплела
В венок мой нити золотые,
И жизнь с поэзией слила
Свои движения живые.
Я сердцем жил. Я жизнь любил,
Мой путь усыпан был цветами,
И я веселыми устами
Мою судьбу благословил.

Но вдруг вокруг меня завывала
Напастей буря, и с чела
Венок прекрасный сорвала
И цвет за цветом разронила.
Всё, что любил, я схоронил
Во мраке двух родных могил.
Живой мертвец между живыми,
Я отдыхал лишь на гробах.
Красноречив мне был их прах,
И я сроднился сердцем с ними.

Дни одиночества текли,
Как дни невольника. Печали,
Как глыбы гробовой земли,
На грудь болезненно упали.
Мне тяжело было. Тщетно я
В пустыне знойного страданья
Искал струи воспоминанья:
Горька была мне та струя!
Она души не услаждала,
А жгла, томила и терзала.
Хотя бы слез ниспал поток
На грудь, иссохшую в печали;
Но тщетно слез глаза искали,
И даже плакать я не мог!

Но были дни: в душе стихало
Страданье скорби. Утро дня
В душевной ночи рассветало,
И жизнь сияла для меня.
Мечтой любви, мечтой всеильной
Я ниспускался в мрак могильный,
Труп милый обвивал руками,
Сливал уста с ее устами
И воплем к жизни вызывал.
И жизнь на зов мечты являлась.
В забвенье страсти мне казалось —
Дышала грудь, цвели уста
И в чудном блеске открывалась
Очей небесных красота...
Я плакал сладкими слезами,
Я снова жил и жизнь любил,
И, убаюканный мечтами,
Хотя обманом счастлив был.

1845

49. ХРАМ СЕРДЦА

Когда, покинув мир мечты,
В свое я сердце погружаюсь,
Я поневоле ужасаюсь
Его печальной пустоты.
Как храм оставленный в пустыни,
Оно забвенью предано,

Без фимиама, без святыни...
В нем всё и дико, и темно!
Лишь ядовитый змей страданья
Ползет тропой воспоминанья
И на поблекшие цветы
Рано потерянного счастья
Отраву льет шипучей пастью
Во мраке скорбной темноты.
Везде печальные гробницы
Надежд и радостей былых,
И редко, редко луч денницы,
Как лепту, бросит свет на них.

А было время: чудным зданьем
Здесь возвышался жизни храм
И сладких чувств благоуханьем
Курился сердца фимиам.
Надежды чистого елея
Лампада дней была полна,
И всё отрадней, всё свежее
Горела счастьем она.
Но миг — и всё восколебалось!
Алтарь любви повержен в прах!
На опустевших ступенях
Воспоминанье лишь осталось.
И день и ночь оно с тоской
Чего-то ищет меж гробами,
И роет пепел гробовой
И плачет горькими слезами.

1846

50. ОПРАВДАНИЕ

Толпа любовь мою винит,
И между тем она согласна,
Что мной избранная прекрасна,
О чем же буйная шумит?
Ужели чувство — преступленье?
Ужели должен я просить,
Как подаянья, позволения
И ненавидеть, и любить?
«Она твоею быть не может!»
Я знаю сам и не хочу.

Покой души ее тревожить,
И чувство в сердце заключу.
Сдержу желаний пылких волю,
Мятежный жар сомну в крови,
Но и в забвенье не позволю
Прорваться слову о любви.
И не узнает, не услышит
Она о тайне от меня —
Что ею только сердце дышит,
Что ею только мил свет дня.
Но для чего же мне неволить
Влечение чистое мое
И молчаливо не позволить
Мне любоваться на нее?
Но для чего же мне украдкой
Волшебных взглядов не ловить,
Не услаждаться речью сладкой,
Дыханья уст ее не пить?..
О, сколько раз в толпе бесстрастной,
Томимый жаждой красоты,
Я не сводил очей с прекрасной,
Лелея светлые мечты!
Сдержав тревожное дыханье,
Забыв себя, забыв людей,
Я погружался в созерцанье
Любви возвышенной моей.
Минуты чудные! Казалось,
Перед возвышенной душой
Мне небо света открывалось
С своею вечной красотой.
О, только лишь художник-гений,
Ловя чудесный идеал,
В часы божественных видений
Подобный образ создавал!
И помню я: как тополь стройный,
Во цвете лет, облечена
Красой, и гордой, и спокойной,
Стояла царственно она.
Волнисто-чудной диадимой,
В гирлянде жемчуга и роз,
Вился изгиб неуловимый
Благоухающих волос.
Сияло мыслию высокой

Ее лилейное чело,
И все лицо, как день Востока,
И ясно было, и светло.
Во влаге блещущей эмали,
Под дымкой шелковых ресниц,
Глаза пленительно сияли
Красою северных зарниц.
И переменно отражались
На них мечты живой игрой:
То блеском полдня разгорались,
То в сумрак ночи погружались,
Блистая звездною слезой.
А эти розы щек живые!
А эти — прелесть, красота,
Любви создание — огневые,
Нектарно-влажные уста!
Могучей силы чарованья
На них положена печать,
И может их одно лобзанье
И вдунуть жизнь, и жизнь отнять.
А плеч роскошные разбеги
В сиянье млечной белизны!
А груди пышной, полной неги,
Две чародейские волны!
В них жизнь всю полноту излила,
А прелесть формы обвела...
А страсти пламенная сила
Их горделиво подняла...
Всё, всё в ней было обольщение,
И мне казалось, что она
Олимпа древнего явленье,
Героподобная жена!

1846

51. ТРИ ВЗГЛЯДА

Когда ты взглянешь на меня
Звездами жизни и огня —
Твоими черными глазами, —
Глубоко в грудь твой взор падет,
Забьется сердце и замрет,
Как будто птичка под сетями.

Но новый взгляд твоих очей —
И в тот же миг в груди моей
Цветок надежды расцветает.
И светит сердцу свет сквозь тьму,
И сладок милый плен ему,
И цепи милые лобзает.

Но что ж, когда в твоих глазах
Сквозь тучи, в молнийных огнях,
Любовь заблещет роковая?
О сердце, сердце! Этот взгляд
Осветит блеском самый ад
И разольет блаженство рая...

1846

52. МОЯ ЗВЕЗДА

Ночь несчастий потушила
Свет живительного дня
И отовсюду окружила
Мраком гибельным меня.

Без надежды на спасенье
Я блуждал во тьме ночной.
Вера гибла, гроб сомненья
Раскрывался предо мной.

.
.
.
.

Вдруг увитая лучами,
Мрачной ночи красота,
Воссияла пред очами
Неба новая звезда.

Лучезарною одеждой
Как царица убрана,
Умилением и надеждой
Взору светится она.

Очарован, околдован
Дивной прелестью лучей,
Жадно взор мой к ней прикован,
Сердце рвется встречу к ней...

О, гори передо мною,
Ненаглядная моя!
Для меня теперь с тобою
Ночь пленительнее дня!

1846

53. 30 АВГУСТА 1849 г.

Печальны были наши дни;
В заботах жизни обиходной,
Как смутный сон, текли они
Чредой бесцветной и бесплодной.

Но вы являетесь средь нас
С болшебной пальмою искусства,
И жизнь души отозвалась
На чудный звук порывом чувства.

И все, что сердца в глубине
Затаено святого было,
По звуку вещему струны
В живой аккорд заговорило.

Благодарим за этот час,
За этот день очарованья!
И долго будет он для нас
Златым венцом воспоминанья.

54. Ю. А. К[азанск]ОЙ

Когда порой, взглянувши в Ваш альбом,
С моим нечаянно Вы встретитесь стихом
И память Вам мой абрис нарисует:
Поверьте мне, где б ни был я в тот миг,
Сочувствие — сердце магнитный проводник —
Незапной радостью вдруг грудь мою
волнует,

И мне привидится, как будто через створ
Улыбка милая, пленительный Ваш взор
И вновь по прежнему мне душу очарует...

9 декабря 1849

55. В. А. АНДРОНИКОВУ

Ты просишь на память стихов,
Ты просишь от дружбы привета...
Ах, друг мой, найти ли цветов
На почве ненастного лета?
Прошли невозвратно они,
Поэзии дни золотые,
Погасли фантазии огни,
Иссякли порывы живые.
В житейских заботах труда
Года мой восторг угасили,
А что пощадили года,
То добрые люди убили.
И я, как покинутый челн,
Затертый в холодные льдины,
Качаюсь по прихоти волн
Житейской мятежной пучины...
Напрасно, как конь под уздой,
Я рвусь под мучительной властью...
И только отрадной звездой
Сияет семейное счастье.

1860-е годы

56. ОДИНОЧЕСТВО

Враги умолкли — слава богу,
Друзья ушли — счастливый путь.
Осталась жизнь, но понемногу
И с ней управлюсь как-нибудь.

Затишье душу мне тревожит,
Пою, чтоб слышать звук живой,
А под него еще, быть может,
Проснется кто-нибудь другой.

1860-е годы

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, ЭПИГРАММЫ

1. НОС

**Лиро-эпическое произведение,
исполненное поэзии и философии**

Поэты! Род высокомерный!
Певцы обманчивых красот!
Доколе дичью разномерной
Слепить вы будете народ?
Когда проникнет в вас сознание,
Что ваших лживых струн бряцанье —
Потеха детская? Что вы,
Оставив путь прямой дороги,
Идете, положась на ноги,
Без руководства головы?

О, где, какие взять мне струны,
Какою силой натянуть,
Чтоб бросить мщенья перуны
В их святотатственную грудь?
Каким молниеносным взором
Вонзиться в душу их укором,
Заставить их вострепетать?
Изречь весь стыд их вероломства
И на правдивый суд потомства
Под бич насмешек их отдать?

В неизъяснимом ослепленье
Ума и сердца, искони
Священный ладан песнопенья
Курили призракам они.
Мечту (о жалкие невежды!)
Рядили в пышные одежды,
А истый образ красоты,
Вполне достойный хвал всемирных,
Не отзывался в звуках лирных
Певцов заблудших суеты!

Всё, всё: и перси наливные,
Ресницы, брови, волоса,

Уста, ланиты, стопы, выи,
Десницы, шуйцы, очеса, —
Весь прозаический остаток,
Короче, с головы до пяток
Всё, всё воспел поэтов клир,
Всему принес он звуков дани,
Облек во блеск очарований
И лиру выставил на пир.

А нос — великий член творенья,
А нос — краса лица всего
Оставлен ими в тме забвенья,
Как будто б не было его.
В причины ум свой углубляю,
Смотрю, ищу — не обретаю.
Но как новейший философ,
Решу оружием догадки:
«Или носы их были гадки,
Иль вовсе не было носов!»

О нос! О член высокородный!
Лица почетный гражданин!
Физиономии народной
Трибун, глашатай, верный сын!
По непонятной воле рока
Ты долго, долго и глубоко
Дремал в пыли, забвен и сир.
Но днесь судьбой того ж устава
Ты должен пыль счихнуть со славой
И удивить величьем мир.

Нет! нет! Не знал тот вдохновенья,
Кто взялся б словом изъяснить
Весь пыл, всю бурю восхищенья
При мысли — новый мир открыть,
Воспеть не то, что было пето,
Предмет неведомый для света
Во всем сиянье показать,
Раскрыть огромный мир богатства
И в сонм рифмованного братства
Коломбом новым гордо стать.

Теперь я созерцаю ясно —
Зачем мне жизнь судьба дала,
Зачем гармонии прекрасной
В груди мне струны напрягла,
Зачем природы мудрой сила
Такой мне нос соорудила
И невидимая рука
В часы приятного мечтанья
Производила щекотанье
В носу то крепко, то слегка.

Итак, вперед! На честь, на лавры!
Пускай могучий, звонкий стих
Отгрянет вдруг, как дробь в литавры,
Во слух читателей моих!
Пусть ливнем льется вдохновенье
Во славу нового творенья,
На удивление племен!
Да пронесется туча звуков
Над головами внуков внуков
Через бесконечный ряд времен!

[1858]

2. ЛЮБИТЕЛЬНИЦАМ ВОЕННЫХ

Мне странно слышать, откровенно
Пред вами в этом сознаюсь,
Что тот умен лишь, кто военный,
Что тот красив, кто фабрит ус.
Ужель достоинства примета
В одной блестящей мишуре,
А благородство — в эполетах,
А ум возвышенный — в пере?
Пускай наряд наш и убогий,
Но если глубже заглянуть —
Как часто под смиренной тогой
Кипит возвышенная грудь!
Как часто шляпою простою
Покрыто мудрое чело;
А под красивой мишурою
Одно ничтожество легло.

Я не люблю давать советы,
И только вскользь замечу тут,
Что золотые эполеты
Ума глупцу не придадут,
Что (молвяю тут же мимоходом,
По русской правде, без затей)
Урод останется уродом,
Хоть пять усов ему пришей.
А если разобрать построже,
Так выйдет чисто — что в руках
Одно перо порой дороже
Всех петухов на головах.

3. ЭПИГРАММЫ

1

М. ЗНАМЕНСКОМУ

Судьбою данный капитал
Он на копейки разменял
И сыплет их в народ горстями...
С невольной грустью я спросил:
Кого, мой друг, обогатил
Ты миллионными частями?

2

А. И. ДЕСПОТ-ЗЕНОВИЧУ

Тебя я умным признавал,
Ясновельможная особа,
А ты с глупцом меня сравнял...
Быть может, мы ошиблись оба?

3

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ПОРЯДКИ

При старых порядках судебное дело
Лет двадцать, не больше, в приказе сидело;
А ныне в неделю сутяга иной
Раз двадцать притащат тебя в мировой.

ПОКЛОННИКАМ ЛАТЫНИ

Гибло наше просвещение,
 Смерть была невдалеке,
 Вдруг — о радость! Есть спасенье —
 Во латинском языке.
 Если ж нас латынь обманет,
 Всё же выигрыш и тут,
 Что ослов у нас не станет —
 Всюду asin'ы пойдут!

ЭКСПРОМТ

«Эврийка, эврийка!
 В латыни вся сила!» —
 Vir doctus кричит.
 «Не ври-ка, не ври-ка!» —
 Ум русский педанту
 В ответ говорит.

ПРОЕКТ НОВОГО УСТАВА

Дабы прогресс с законом согласить
 И женщин приравнять к мужчинам,
 Мы дозволяем им отныне
 Усы и бороду носить.

ПО ПРОЧТЕНИИ ОДНОЙ ГАЗЕТНОЙ СТАТЬИ

Лакеи вообще народ не достохвальный,
 Но гаже всех из них лакей официальный.

КУПЦУ ПЛЕХАНОВУ

Сибирский наш Кашей
 Всю жизнь обманывал людей
 И вот на старости, чтоб совесть успокоить,
 Давай молебны петь и богадельни строить.

9

К ОДНОЙ ФИЛАНТРОПКЕ

В филантропическом припадке
 Она дрожит, как в лихорадке,
 Готова свет весь обобрать
 И бедным братьям всё отдать.
 Но чуть какой бедняк неловкой,
 Знакомый мало со сноровкой,
 Пред ней обмолвится... Как раз
 Его в полицию тотчас!

10

Превосходительство и превосходство —
 Два сына матери одной,
 Но между ними то же сходство,
 Что между солнцем и луной!

11

Чему завидовать, что некий господин
 В превосходительный пожалован был чин, —
 Когда бы ум его на миг хоть прояснился,
 То сам бы своего он чина постыдился!

12

НИГИЛИСТУ-ЕСТЕСТВЕННИКУ

Ты говоришь, что без изъятия
 Мы все родня, что все мы братья.
 Ну что ж? Прекрасные слова!

Но слов одних для дела мало:
Ведь по закону естества
Необходимы для родства
Единый род, одно начало.
Но здесь-то целый океан
Положен вами в разделение:
Ведь мы — Адама поколение,
А вы — потомки обезьян.

13

Палестину нашу
Покидает он.
Заварил в ней кашу,
Да и драла вон.
Как же у порога
Нам не затянуть:
«Скатертью дорога,
Боераком путь».

14

Такой народ здесь хлебосол,
И так попить душа в нем рвется,
Что приезжай хоть бы осел,
А он уж с радости напьется.

15

Его со спичами в устах
Встречали мы!
Его на трепетных руках
Качали мы!
И бочку целую в слезах
Кончали мы!

НЕКОЕМУ ПРОГРЕССИСТУ

Он ходит Байроном меж нами,
 Прогрессом сыплет, как дресвой.
 Он точно Байрон — вверх ногами!
 Он прогрессист — вниз головой!

ПУБЛИЦИСТУ-ПЕДАГОГУ

Как публицист — Россия им гордится,
 Как педагог — ни к черту не годится!

Двум тощим выходцам наш город-худотел
 Права почетного гражданства предоставил.
 И сам от этого не больно потолстел,
 И новым гражданам он жиру не прибавил.

Мои приятели Федулы
 Куда как щедры на посулы.
 Послушать их — так, право, благодать:
 Готовы за тебя чертям себя продать.
 А только попроси презренного металла,
 Ценой хоть в два четвертака,
 Такого от тебя дадут они скачка,
 Какого публика и в цирке не видала.

До сих бы пор я отвергал
 Ученье новое Дарвина,
 Когда б тебя не увидал,
 Перерожденная скотина.

Осел останется ослом,
 Хоть дай ему магистерский диплом.

Не забыта мать-Россия
У небесного царя.
Всюду реки медовые
И молочные моря.
И богатым и убогим
Пир готов на каждый день.
Дело только за немногим:
Ложку в руки взять нам лень.

*Драматические
сцены,
пьесы,
либретто*



ФОМА-КУЗНЕЦ

Отрывок из драматической повести

Ряд кузниц; одна из них отворена.

1

Старик Лука

(поет, работая в кузнице)

Вдоль по улице широкой

Молодой кузнец идет;

Ох, идет кузнец, идет,

Песню с посвистом поет.

Тук! Тук! Тук! С десяти рук

Приударим, братцы, вдруг.

Соловьем слова раскатит,

Дробью речь он поведет;

Ох, речь дробью поведет,

Словно меду поднесет.

Тук! Тук! и пр.

Полюби, душа Параша,

Ты лихого молодца;

Ох, лихого молодца,

Что в Тобольске кузнеца.

Тук! Тук! и пр.

Как полюбишь, разголубишь,

Словно царством подаришь;

Ох, уж царством подаришь,

Енералом учинишь.

Тук! Тук! и пр.

(Выходит из кузницы.)

Уж солнышко идет повечерять

И божий мир не так привольно греет;

Пора и нам работу окончать;

От лишних сил и добрый лук слабеет.

(Садится на прилавку.)

А дивно же творец наш мир ведет!

Без господа и конь шагá не ступит.

Вот день потух: его прошел черед.

А там, гляди, и темна ночь наступит.

Сегодня я следил его закат,

А завтра он, быть может, мой проводит...

Ужли-то есть земля, как говорят,

Где солнышко совсем с полдня не сходит?

А жаль мне их! Не видят бедняки

Ни ясных звезд, ни месяца, ни зорей;

Все день да день! Да я б исчах с тоски

(Спаси нас батюшка, святой Егорий!).

Знать, согрешил пред богом тот народ,

Что экую послал им бог притчину.

Ну, толь у нас? За ночью день идет,

Тут снова ночь, как следует по чину.

М а л ь ч и к

(из кузницы)

Лука Ильич! Сюда, скорей сюда!

Лука

(вставая)

Ну, что там? Чай, опять за мною дело?

Ох, молодежь!

М а л ь ч и к

Да, что бедой беда!

Огонь велик, железо пригорело.

Лука уходит в кузницу, к которой подъезжает
верхом человек средних лет,

Проезжий

Эй, кузница!

Лука

(в кузнице)

Кого господь дает?

(Выходит.)

Что надоть? Ась?

Проезжий

(показывая на сбитую подкову)

А вот, дружок, что нужно.

Да поскорей!

(Спрыгивает с коня.)

Лука

Ну, барин, время ждет.

Хоть мне, то есть, и не совсем досужно,

Да так и быть. Ты, чай, ведь сдалека?..

Возьмет же странствовать людей охота.

А славного бог дал тебе конька.

Немецкой, што ль?

Проезжий

Да, английской.

Лука

Вот то-то!

Мы знаем толк, недаром сорок лет

Куем коней и упряжные снасти,

Хошь рассказак, да не надует, нет!

Смекнем, что русской, что немецкой масти.

Ведь каждый день коптимся мы в дыму

И всякую работаем работу...

Что грех таить! К кузнечному письму

Господь мне дал и разум и охоту.

Спать ли что, лихова ль подковать,

Навесить ли торговые запоры,

Замки ль свернуть на аглицкую статью,

Иль вывести немецкие узоры —

На все Лука! Скажи, что ни на есть
Мудреного, а к вечеру готово!
Любуйся лишь. За то Луке и честь,
За то Луке поклон и добро слово.
Нам молота не стать уж поднимать...

Проезжий
(рассеянно)

Хозяин ты?

Лука

Оно хошь не хозяин,
Да коли где придется, так сказать,
Хозяйничать, так дело мы уж знаем.
Умеем где прикрикнуть, где смолчать.
Мы сами ведь бывали под началом.
А знатный конь! Искусственная статья!
Ну, так бы быть ему под енералом.
А можно ли спрошать твой, барин, чин?
Я чаю, ты не низшего сословья?

Проезжий

Чин? Чин? Ну, человек! Ну, дворянин!
Охота знать чужие предисловья!

Лука

В любовь, не в гнев. Оно, то есть, ништо,
Да к речи так пришло сказать случилось,
Ведь наш язык прямое решето,
Что ни вольешь, все выйдет, ваша милость.
Язык — наш враг, писание гласит,
Да победить его подчас не в силу.
Ты чтоб молчать, а бес его зудит,
Так ведь тако ино, что — господи помилуй!
Подумаешь, уж я ли не молчок,
А все порой дойдет до всех соборов.
Да кстати речь...

Проезжий

Пожалуйста, дружок,
Побольше дел, поменьше разговоров.

Лука

Вишь ты!

(Уходит, ворча, в кузницу.)

Проезжий
(задумчиво)

Спасен! Кого ж благодарить —
 Себя, коня или судьбу я должен?
 Мне удалось следы мои сокрыть
 И обмануть стозорких этих волжан.
 Пусть рвутся их с досады и тоски!
 Мне все равно! К опасности готовый,
 Я не боюсь бессильной их руки,
 Мне не страшны безумные их ковы...
 Но что же я? Какую роль играть
 Мне суждено меж жалких этих братьей —
 Давить их, гнестъ их, в прах и в грязь втирать
 Или просить смиренно их объятий,
 Услуживать ученым старикам,
 Водить старух, псаломствуя, к обедням,
 Любезничать меж этих постных дам
 И в праздники таскаться по передним.
 Но так и быть! Смирренно заживем,
 Прикинемся, узнать никто не сможет;
 А в случае, там дерзостью возьмем,
 Где ложное смирение не поможет.

(Ходит молча.)

Лука
(выводит коня)

Вот и совсем! А чудный, право, конь!
 Не шерсть, а шелк! А грива, что те трубы!
 Насилу справились, такой огонь!
 Вот так, пострел, и метит прямо в зубы.

Проезжий

А не мешало бы, хоть на помин.

(Дает деньги.)

Лука

Эх, батюшка, и то зубов не сыщу.
 Взялся бы наковать хоша один,
 Да ведь как быть: не ладится на притчу.

Проезжий едет в город.

И сам не говорит, да и другим
Велит держать монашескую строку.
Да мы и без него, парень, молчим.
Родится же, что ни в Кузьму, ни в Фоку.
Зачем же бог людям язык дает?
Мы, думаем, дескать, мы рассуждаем,
Мы дохтура, а вы что? Так, народ
Оборванный, в азиях!.. Да, брат, знаем,
Пусть дохтур твой коня те подкует!..

1835

СУВОРОВ И СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Драматический анекдот

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Небольшая, просто убранная комната;
около стен лавки; впереди крашеный стол.

М а ш а

(входит и садится на лавку)

Уф! отдохнуть хоть немножко! Батюшка и староста всю деревню сбили с толку своими приготовлениями. А от одного смотренья голова закружится! Вот, подумаешь, сколько шуму и один большой Граф наделает; а приезжай-ка их побольше, так и упаси Господи! *(Потраивает волосы.)* Чудно, право, на этом свете! Ведь все люди как люди; а нет! один едет смиреншенько, кажись, водой не замутит; а другой налетит как Вихорь-Царевич, — такую бурю напустит, что не взвидишь свету белого: того-другого, пятого-шестого, урви да подай!

Лука

выглядывает из-за дверей и говорит женским голосом)

Машенька!

М а ш а

Ну.

Лука

Машечка.

Маша

Да чего надо?

Лука

Мне надо бы потолковать с тобой.

Маша

Говори, никто не мешает.

Лука

Да ты одна тут?

Маша

Одна. А на что тебе?

Лука

Ну, коль одна, так войти можно. (Входит.)

Маша

Ах, это ты, Лукаша! А я, право, думала, что Федосья. Ну, точнехонько ее голос! Чего тебе хочется?

Лука

Хочется-то мне многого, Машенька, а между прочим, что у вас за приготовления такие?

Маша

Будто не знаешь!

Лука

Вот-те Христос, не знаю. Я только что с дороги.

Маша

У нас сегодня пир будет.

Лука

(испугавшись)

Пир? Так это правда?..

Маша

Разумеется. К нам Граф приедет.

Лука

Только-то? Ах! слава-те, Господи! (Крестится.) Уме-

ня отлегло от сердца. Погоди же ты, разбойник Фомка! Эта шутка даром тебе не пройдет!

М а ш а

А что он сделал?

Л у к а

Как что? Перепугал до смерти! Сказал, собачий сын, что у тебя сего дня обручание будет.

М а ш а

А ты, рожица, и поверил?

Л у к а

Тебе смешно, Машенька, а у меня голова вот так и покатилась.

М а ш а

Эх, ты дурачок, дурачок! Разве забыл, что я тебе ономнясь сказала: прибей меня, батюшка, до полусмерти, а не пойду ни за кого, кроме Луки.

Л у к а

(почесывая затылок)

Оно так. Да если присвадается кто-нибудь побогаче? а у меня в кармане-то хоть выпись.

М а ш а

Так что же? Не с богатством жить, с человеком; и через золото слезы льются.

Л у к а

(ласкаясь к ней)

Дорогая ты моя, Машенька! золотая ты моя душенька!

М а ш а

(отталкивая его)

Ну, перестань дурачиться! не то на глаза не пушу. Слышишь? Перестань, говорят!

Л у к а

Ну, ну, перестану. Вишь, ты какая грозная! разом губки и надула... А что, Машенька, разве этот Граф ка-

кого особого рода, что для него так суетятся? Ведь много у нас проезжало и Князей, и Графов, и всяких Енералов, а ни одного не встречали с такими чинами.

М а ш а

Да слышь ты, этот из Графов Граф, то есть самый большой Граф — Суворов!

Л у к а

Суворов!

М а ш а

Ну, да, тот самой, у кого все войско под рукой.

Л у к а

Поди пожалуй, всем войском командует!.. А что, Машенька, мне пришло в голову: не попросить ли Суворова, чтобы он велел обвенчать нас?

М а ш а

Вишь, молодец какой! К Графу прийти не то что к писарю: такого тычка дадут, что и своих не вспомнишь.

Л у к а

(махнув рукой)

Так что же! Пусть дадут, а я все-таки растянусь перед Графом да и зареву во всю ивановскую: Ваше Графское Сиятельство! Господин Суворов-батюшка! помилуй! Лука любит Машу, Маша любит Луку; а Иван Иванович не хочет выдать Машу за Луку за тем, что у Луки столько же рублей в кармане, сколько волос на ладони.

М а ш а

А если Граф-то спросит меня: правда ли, что Маша любит Луку?

Л у к а

А Маша скажет, что она уж давно его любит.

М а ш а

А если она скажет, что не любит Луку, а любит... ну, хоть писаря?

Л у к а

Лих не боюсь этого! А если и скажет, так я пуще

прежнего зареву: не слушайте ее, Ваше Графское Сиятельство! Она вас надувает, ну, вот, ей-богу! надувает!

Смотритель

(в сенях)

Эй, Максим! подмети крыльцо-то почище.

М а ш а

Ах, это батюшка! уйди скорее, Лукаша.

Л у к а

Да куда мне уйти-то? в дверях разом столкнешься с Смотрителем. Постой... (Бежит к окну.) Мы прыгать мастера! (Выскакивает в окно.)

М а ш а

Он убьется, бедненький!

Смотритель

(входит)

Кто убьется такой?

М а ш а

(скоро)

Воробей, батюшка.

Смотритель

Ты все пустяками занимаешься. Ну, время ли теперь думать о воробьях, когда с часу на час ждем Графа Суворова! Поди-ка лучше да приготовь мой парадный сюртук.

М а ш а

Слушаю, батюшка. (Уходит.)

Смотритель

Всем бы хороша, да шалит много. Уж поскорее бы ее с рук долой! Меньше заботы... писарь уже поговаривал... вот проводим Графа Суворова, а там и займемся сватойбой... (Слышен звон колокольчика.) Чу! кто-то едет! (Подбегает к окну.) Тройка!.. солдат... Уж не передовой ли Графа?... а что ты думаешь! (Бежит к дверям.)

Суворов

(в солдатской шинели — входит и кланяется)

Здравствуй, Смотритель!

Смотритель

Здравствуй, здравствуй, служба! Что нужно?

Суворов

А вот отдохнуть немножко, если позволишь.

Смотритель

Милости просим! Я сам в старину был солдатом, так страх люблю потолковать с служаками... А что, служба, ты не передовой ли Графа Суворова?

Суворов

Да, я загонщик.

Смотритель

Так Граф поэтому скоро будет?

Суворов

Нет, еще не скоро.

Смотритель

Ну, так мы успеем и перекусить кой-чего. Ты, чай, от хлеба-соли не откажешься?

Суворов

Конечно нет.

Смотритель

Дело! садись-ка сюда. Маша! Маша!.. не прогневайся, что Бог послал... Маша!

Маша

(выглядывает из-за дверей)

Ась, батюшка.

Смотритель

Подай-ка сюда чашку щей да пирог с капустой. (Маша уходит.) За щи, брат, не отвечаю, а уж пирогом так могу похвалиться: объяденье, да и только! А покамест выпьем-ка по чарочке. Я вот сей час того-сего вынесу (уходит.)

Суворов

(ходит по комнате, смеясь и потирая руки)

Смотритель

(приносит две рюмки и штоф и ставит на столе)

Славное, брат, вино! пьешь — больше хочется *(наливает.)* Что? каково? Чай, отродясь не пивал такого?

Суворов

Помилуй Бог, хорошо!

Смотритель

То-то же! Ну-ка, брат, еще по чарочке. А что, служба, правда ли, что батюшка Суворов от простого вина не отказывается?

Суворов

А как же? Русская душа русское вино любит.

Смотритель

Вот и я точно таков же! Терпеть не могу вин заморских! Дрянь такая! брага не брага, вода не вода, а так что-то ни туда ни сюда. То ли дело — православное! Как дернешь стаканчика два-три, так хоть на Ивана Великого полезай!.. За здоровье батюшки Суворова.

Суворов

Пожалуй *(чокаются и выпивают.)*

Смотритель

Да что ж обед наш? Ведь теперь покуда и поесть; а то как Граф Суворов приедет, так в хлопотах-то не успеешь и перекусить. Маша!

Маша

Сей час. *(Ставит кушанье на стол и кланяется Суворову.)*

Суворов

Здравствуй, красавица! Это дочь твоя, Смотритель?

Смотритель

Да, служба. А что? какова?

Суворов

Настоящая Марфида прекрасная.

Смотритель

Вот такова же была покойница мать ее. Теперь ступай, Маша. (*Маша кланяется и уходит.*) Принимайся-ка за ложку.

Суворов

(ест)

Чудесные! Персидской суп!.. Итальянская похлебка!.. Турецкий соус!.. Французские макароны!

Смотритель

А всё-таки русские щи. Ну-ка и я, благослови Господи!.. Слушай! ложку ко рту! скорым шагом — марш-марш!.. Какова команда? а? хоть бы сей час в Капитаны. А куда хотелось бы мне получить Офицерство.

Суворов

Генеральство, скажи. Худой тот солдат, который не надеется быть Генералом.

Смотритель

Да, скоро сказка сказывается. Генеральство-то получить — не блин спечь. А что, служба, бывал ты в сражениях?

Суворов

Да, был в двух-трех.

Смотритель

Ну, так я это дело знаю получше тебя. Я был в семи сражениях, да в каких еще! Да вот, например, Кагульская баталия. Уж ты, Господи! Как земля только устояла! Вспомнишь, так дрожь берет.

Суворов

Да, говорят, что Кагул чуть было вас не надул: вы было на попятный двор...

Смотритель

(бросая ложку)

Тебе хорошо толковать об этом за щами, а побудь-ка

на нашем месте, так небось запел бы другим голосом. Нас было только 17 тысяч, а турки едва не 200: так изволь тут отбиваться. Пушки вот так и дуют: пух-пух! словно гороху объелись. А ядра-то, ядра-то! Как налетит, да как хватит по линии, так в пять перевертов запрыгаешь. Да мы все-таки отбоярились.

Суворов

С изьянцом?..

Смотритель

Уж, разумеется, с изьянцом. Ведь турки не так глупы, как думаешь. Не станут подставлять даром лба; а тоже пошлют пирог с начинкой, инда подавишься. Да все-таки пуля не чета штыку, хоть она и мелким бесом рассыпается. Как хватит, дружок, под седьмое ребро, так и поминай как звали! Ну-ка, за здоровье Штыка Штыковича.

Суворов

Изволь. За кого другого, а уж за штык как не выпить. (Чокаются.)

Смотритель

(заглядывает в чашку)

Эхе! В чашке-то уж пусто! Молодец! проворно же ты работаешь. А мне с лясами-то, видно, придется края облизывать. Благо хоть пирог в запасе. (Ставит пирог.)

Суворов

А как вашу деревню зовут?

Смотритель

Смолянской. А что?

Суворов

И церковь есть?

Смотритель

Да и какая ж еще!

Суворов

И поп есть?

Смотритель

Смотри, пожалуй! Ведь ничего умнее не мог придумать для спросу.

Суворов

И в колокола звонят?

Смотритель

Да ты смеешься, что ль, надо мною?

Суворов

А капусты много?

Смотритель

Да разве я капустный Смотритель? В уме ли ты?

Суворов

Славный пирог! Не ты ли его испек?

Смотритель

Эй, служба! со мной не шути. Я не посмотрю, что ты
загонщик Графской; я и сам служу Царю-Государю.

Суворов

(выходит из-за стола)

Спасибо, Смотритель! Славный обед! твое здоровье.
(Пьет.)

Смотритель

Люблю молодца за обычай! Ну, и твое здоровье.
(Пьет и выходит из-за стола.) Маша! собирай обед. *(Маша собирает и уходит.)* Да ты, брат, ровно спать собираешься?

Суворов

(ложится на лавку)

Отдохну немножко.

Смотритель

Славной же ты загонщик! Вот как я, бывало, посылан
был от моего Генерала, не смеешь и подумать об отдыхе:
скачешь сломя голову, только зубы стучат. Балует вас
батюшка Суворов, дай ему Господи здоровья!

Суворов

А что, Смотритель, не скажешь ли ты теперь сказки?

Смотритель

Ох! ты забавник! Да скорее на животе рожь измолотишь, чем от меня сказку услышишь. Не таковской брат. (*Ложится на другую лавку.*) Вот ты не скажешь ли? Ведь у вас в лагере то и дело что сказки... Ну-ка, служба, потешь старика, махни богатырскую!

Суворов

Отчего не потешить!.. Слушай же: в некотором царстве, в некотором государстве...

Смотритель

Постой! говори порядком: о ком речь идет?

Суворов

Об Еруслане Лазаревиче.

Смотритель

Слышал, брат. Чудовая! Что твой Францыль Венециан, проклятый басурман!

Суворов

Так, в некотором царстве...

Смотритель

Постой еще. Сказка без присказки, что шапка без верку.

Суворов

Ну, так слушай же. За морем синица не пышно жила...

Смотритель

А! не пышно жила, пиво варивала.

Суворов

Она солоду купила, хмелю выпросила...

Смотритель

Хм! она брагу наварила, гушу выбросила. Понимаем!

Суворов

Уж как черный дрозд винокуром был...

Смотритель

А сизой орел пивоваром слыл... Знаю, брат, знаю. Все старье. Знакомое. Нет ли поновее чего?

Суворов

Что ж тебе поновее? Ну вот хоть о Царь-девице.

Смотритель

Нет! расскажи-ка лучше что-нибудь о батюшке Суворове. Он, говорят, в жизнь свою настроил столько чудес, что если б порассказать об них, так что твоя сказка!

Суворов

Что же рассказать тебе? Чудак из чудачков, бьет поляков, поет петухом, кричит курицей.

Смотритель

Слышал я это. А вот что, служба. Мне хотелось бы угодить Суворову; ты знаешь его, так скажи, что он любит и чего не любит.

Суворов

Любит правду, ненавидит кривду; кто не кривит душой, за того стеной; а кто мытарит для дружбы, так того вон из службы: Капитану арест, Ефрейтору палочки.

Смотритель

А скажи, пожалуйста, как бы его принять получше.

Суворов

Что за мудрость! Поклонись в пояс, поднеси рюмку винца, и он за это скажет тебе два спасибо.

Смотритель

Все так! да если он заговорит со мной, как мне отвечать-то?

Суворов

Отвечай смело, так и в шляпе дело. Пущевсего неговори: не могу знать, — запорет!

Смотритель

Поди пожалуй! Да если он задаст такой вопрос, что ум за разум зайдет, что ты прикажешь тут делать?

Суворов
(встает)

Ври! со вранья пошлины не берут.

Смотритель
(тоже встает)

А вот что, служба. Мне с непривычка-то трудно будет толковать с Графом Суворовым, так сделаем пробу. Будь ты Суворов; хоть оно тебе немножко и не к роже, да что за дело! Не ты первый, не ты последний чужим добром похваляешься. Начнем же.

Суворов

Изволь. (*Быстро повернувшись.*) Здравствуй, Смотритель!

Смотритель
(*вытянувшись, руки по швам*)

Здравия желаем, Ваше Сиятельство!.. Что, каково? Ведь лихо, брат. (*Потирает себе руки с самодовольствием.*)

Суворов

Помилуй бог, хорошо!

Смотритель

Не угодно ли чего приказать Вашему Сиятельству?

Суворов
(садится)

Ничего, ничего!.. благодарю!.. Садись-ка, старик.

Смотритель

Нет, постой! не так, брат! Вот и видно, что не Графской природы. Ну, какой Граф посадит меня при себе! а если и вздумает посадить, так уж верно — на съезжий.

Суворов

Да ведь Суворов чудак. Он всё делает наыворот. Я больше тебя его знаю... Садись же, старик.

Смотритель

Всепокорнейше благодарим, Ваше Сиятельство!

Суворов

Садись же, садись! без отговорок!

Смотритель

(садится, руки по швам)

Так ли еще сел, служба? ты учи меня.

Суворов

Руки на стол.

Смотритель

Да ты, пожалуй, скажешь: и ноги на стол! ты смеёшься надо мной.

Суворов

Или делай, что тебе велят, или я не стану показывать.

Смотритель

Ну, ну, не сердись, приятель! В твою угодую я не только руки положу на стол, да и сам сяду... А все что-то не верится... Ну, вот я приказ исполнил.

Суворов

Вот так!.. Все ли у вас благополучно?

Смотритель

Все благополучно, Ваше Сиятельство.

Суворов

Помилуй Бог, как рад! (Минутное молчание.)

Суворов

(вскочив)

Смотритель!

Смотритель

(тоже вскочив)

Что угодно, Ваше Сиятельство?

Суворов

Знаешь ли ты, сколько Суворов проиграл баталий?

Смотритель

Не мо... (Топают ногой.) Знаю, Ваше Сиятельство,

Суворов
Сколько же?

Смотритель
Сколько у меня здесь волос (*бьёт себя по лысине.*)

Суворов повертывается на одной ноге;
смотритель делает то же самое.

Суворов
Смотритель!
Смотритель

Что угодно, Ваше Сиятельство?

Суворов

Где у Француза крылья?

Смотритель

На пятах, Ваше Сиятельство.

Суворов повертывается два раза; Смотритель делает то же самое.

Суворов
(нараспев)

Кукуреку, Смотритель.

Смотритель
(так же)

Кукуреку, Ваше Сиятельство!

Суворов
(обнимает Смотрителя)

Ты Илья Муромец! Ты Еруслан Лазаревич! Ты Добрыня Никитыч! Ты, верно, полюбишься Суворову.

Смотритель
А дай-то бог! Кажись, я отвечал славно.

Суворов

Помилуй Бог, славно!

Смотритель

А знаешь ли что, брат? Я Суворову-то ведь подарок подготовил.



Суворов

Какой же? Нельзя ли посмотреть.

Смотритель

Почему же! Маша!

Маша

(в дверях)

Я здесь, батюшка.

Смотритель

Пошли сюда Якова: чай, уж он оделся. Да скажи, что я ему велю порядком гаркнуть, как бы пред самым Графом Суворовым. (Маша уходит.) Двенадцати вершков, в плечах эдакой, а голос словно из пустой кадки... раздвисься, братец!

Яков

(в солдатском мундире, подходит, маршируя, к Суворову и вытягивается перед ним).

Желаю много лет здравствовать, Ваше Сиятельство!

Суворов

(лезет под стол)

Ой, боюсь-боюсь! Какой страшной!

Смотритель

(хохочет)

Ох, ты, старый проказник! Быть бы тебе при царе Горохе шутом!

Суворов

(под столом)

Как тебя зовут, братец?

Яков

Яковым, Ваше Сиятельство.

Суворов

(там же)

Давно ли ты в службе?

Яков

(смотрителю)

Что мне, дядюшка, отвечать-то?

Смотритель
(Суворову)

Да ведь я тебе толковал, что только приготовил его на службу. Видишь, хочу подарить Графу Суворову.

Суворов
(вылезая из-под стола)

Подари-ка его лучше мне.

Смотритель

Вишь какой сокол! Из какого ты царства?

Суворов

Да я ведь сам Суворов.

Смотритель

Ты? ты — Суворов? (Хочет). Да если ты Суворов, так я уж сам Петр Великий.

Суворов

Яков! поедem со мною. Я отдам тебя в мой Фанагорийский полк.

Смотритель

Смей только у меня уехать, так я тебя сверну в три погибели!

Яков

Да почем знать, дядюшка, может, этот солдат и взаправду Суворов.

Смотритель

Дурак! Ну, какой это Суворов? Разве ты не видал, как он под столом сидел? А кстати ли такому Графу под стол садиться!

Яков

Да вишь, он что говорит: мой-де Фонаринский полк. А солдату кстати ли полком командовать!

Смотритель

А ты и развесил уши! Ну, разве я не могу сказать также: мое-де царство на луне стоит? да черт ли поверит? Сам ты умной человек.

Яков

Вестимо так, дядюшка. Я и сам эдаким Суворовым сумею представиться, да черт ли поверит? Сам ты умной человек, дядюшка.

Смотритель

Ну, теперь налево — кругом!

Суворов

Если ты отпустишь его со мной, то он через год будет Унтер-Офицером.

Смотритель

Хоть бы Унтер-Майором! не хочу, да и только! Отдам самому Суворову на руки. Пусть он увидит, как любят его на святой Руси. Марш, Яков! (Уходят оба.)

Лука

(выглядывает из-за дверей)

Они ушли. Войдем, Машенька. (Входят.)

Суворов

А! красавица! добро пожаловать!

Лука

Господин служивой, мы пришли к тебе с просьбой. Не можешь ли ты научить нас, как бы попросить Графа Суворова.

Суворов

А в чем дело?

Лука

Да дело-то вот в чем. Я люблю вот эту Машу, и она меня любит, а Смотритель не хочет выдать ее за меня; говорит, что я голяк; а я, право, доброй малой! Так мы хотим попросить Графа, чтобы он приказал обвенчать нас.

Суворов

Да если отец не послушает?

Лука

И! что ты! да если бы Суворов приказал ему броситься в огонь, так он бы и не поморщился.

Суворов

Хорошо, хорошо! Но пора ехать.

Лука

Так как же попросить-то его.

Суворов

Всему научу, поезжай только со мной.

Лука

Изволь. Я было хотел отвезти Графа, да здешний староста сам берется прокатить Его Сиятельство. Лет уж в семьдесят, а туда же кричит: сам-де свезу отца родного.

Суворов

Поедем же.

Маша

Господин служивой! ты не прогневаешься, если я попрошу тебя принять подарочек. (*Подает Суворову платок.*) Ты знаком с Графом Суворовым, так замолви об нас доброе словечко.

Суворов

(берет платок)

Спасибо, красавица! не горюй! Бог милостив, а Царь жалостлив. (*Уходит с Лукой.*)

Маша

(одна)

Помоги им, Господи!.. Говорят, у служивых добрая душа; у этого и лицо такое доброе. Как мы с Лукой попросим Суворова, да служивой замолвит словечко, так авось Граф и сжалится.

Смотритель

(ведет старосту)

Насилу-то затащил Матвеича!

Староста

(молится образам и, поглаживая бороду, кланяется во все стороны)

Мир вам, и я к вам, старик ромяной, непрошеной — незваной, не в гости гостить, не балы точить, а дело говорить. Здорово, Иван Иванович! Здравствуй, Марья Ивановна.

Смотритель

Хоть теперь и осень, а все милости просим. Видишь, Матвейч, и мы порой умеем сказать красное словцо. Садись-ка, так гость будешь.

Староста

Благодарность приносим и к нам напредки просим. (Садится.)

Смотритель

Загонщик сказывал при отъезде, что Графу скоро быть надобно: он сей час только уехал с Лукой. Что, Матвейч, всё ли у тебя готово?

Староста

Живет здорово, да и всё готово, Иван Иванович.

Смотритель

Вот и у меня тоже готово, только самому одеться. Жаль, что комната-то не слишком нарядна.

Староста

Э, Иван Иванович! Не красна изба углами, а красна пирогами. Подойди к Графу поближе, поклонись пониже, здорово-де живешь-можешь да деток водишь. Чай, у Графа-то есть детки!

Смотритель

И позабыл спросить у загонщика! Эдакая память! (Бьет себя по лбу.)

Староста

И, Иван Иванович! Спрошал — ладно, не спрашал — ладно, дело-то не повадно, оно, то есть, видишь, домашнее.

Смотритель

И подлинно так. К слову, Матвейч, прикажи крестьянам твоим надеть платье получше.

Староста

Уж не бойся, Иван Иванович. На всех новые армяки, так что твои сертуки; да вот и я приоделся как Соломон во славе.

Смотритель

Что правда, то правда. Да иной подумает, что ты к венцу собираешься.

Староста

А не мешало бы, Иван Иванович. Хоть борода-то и с проседью, да поступка-то с розсыпью: и пропоешь и пропляшешь. А что, Марья Ивановна, не пойдешь ли ты, примерно, будучи, так сказать, за меня?

Маша
(кланяется)

Покорно благодарю.

Староста

Да я бы и бороду обрил, да и голову смочил.

Маша
Покорно благодарю.

Староста

Скажи-ка: нет-де, Егор Матвейч, хоть ты бы и набеллся, да все бы мне в женихи не годился.

Смотритель

Эх, благодетель! чтобы тебе давича завернуть ко мне! Загонщик такой же весельчак, как и ты, благая головушка; уж то-то бы пошли у вас тары да бары! только держись!

Староста

Еще не ушло время, Иван Иванович. Авось мы и с Графом потолкуем.

Смотритель

Дай-то Бог! А все-таки не мешает одеться. Беда, если Граф Суворов застанет меня в этом балахоне! (Уходит.)

Староста

А мы хоть и без Маши, а пойдем пробовать молодцов наших. (Хочет идти.)

Крестьянин

(вбегает запыхавшись)

Егор Матвееч!

Староста

Что ты, Кузьма?

Крестьянин

Митюха Пальцов сей час прискакал с паскотины и бает, что графские повозки видел.

Староста

(крестится)

С нами Господи! Беги, Кузьма, скорее в земскую избу да веди сюда крестьян.

Крестьянин

Духом слетаю. (Убегает.)

Староста

Марья Ивановна, скажи батюшке. Я вот побегу распорядиться. (Оба уходят.)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Комната довольно хорошо убранная; вместо скамей стулья. Смотритель, староста и крестьяне, все в нарядных платьях.

Смотритель

Как снег на голову!.. Живей, ребята! Егор Матвееч, распоряджайся!

Староста

Сейчас, зараз, Иван Иванович. Слушайте, ребята! Как Граф войдет сюда, вы ему в пояс, да и крикните в голос:

«Здравствуй-де, батюшка Граф, Ваше Сиятельство!» Поняли, ребята?

Крестьяне

Поняли, Егор Матвееч.

Крестьяне

(один за другим)

Да вот как Граф-то сюда пожалует, мы ему в пояс да и крикнем в голос... Ну, ребята! (Все кланяются и кричат.) Здравствуй, батюшка Граф, Ваше Сиятельство!

Староста

Славно, детки! Ну а как сядет Граф на первое место, под святую кровлю и как я поднесу ему хлеб с солью, вы опять в пояс да в голос: хлеба-де-соли кушать, батюшка Граф, Ваше Сиятельство!

Крестьяне

(кланяясь)

Хлеба-соли кушать, батюшка Граф, Ваше Сиятельство.

Староста

Любо, братцы!

Смотритель

Только не сробейте, ребята! А что, Егор Матвееч, кто у тебя там на карауле? Чтoб не прозевать Графа.

Староста

Никитка Торбасов — лихой малой! Ястреба в небе чует, рыбу на дне видит.

Смотритель

Я, кажется, умру от радости, когда увижу Графа Суворова. Готов целую неделю не пить ничего, кроме гусиной водки, лишь бы только получить от него ласковое слово. Скоро ли он будет?

Староста

Что царь делает, один бог ведает, Иван Иванович. Потерпим: стерпится-слюбится.

Смотритель
(взглянув в окно)

Никитка бежит. Смирно, ребята! (Убегает со старостой.)

Слышны звон многих колокольчиков, хлопанье бичей и крик ямщиков.

Крестьяне оправляют платья, приглаживают волосы.

Входит адъютант Суворова. Крестьяне кланяются и хотят кричать; смотритель машет им рукой.

Адъютант

Что, давно Граф проехал?

Смотритель

Никак нет, Ваше Высокоблагородие. Его Сиятельство еще проезжать не изволил.

Адъютант

Что ты говоришь?

Смотритель

Точную правду, Ваше Высокоблагородие.

Адъютант

Да проезжал кто-нибудь?

Смотритель

Загонщик недавно проехал.

Адъютант

Загонщик? Да Граф не посылает загонщиков.

Смотритель

Не могу знать, Ваше Высокоблагородие; а сегодня точно проехал загонщик Его Сиятельства.

Адъютант

А каков он из себя?

Смотритель

Низенького роста, волосы с проседью, да такой шутник, Ваше Высокоблагородие.

Адъютант
(про себя)

Он и есть!.. (Смотрителю.) А давно загонщик про-
ехал?

Смотритель

Часа полтора будет, Ваше Высокоблагородие.

Адъютант

Хорошо. Поторопи ямщиков.

Смотритель

Слушаюсь. (Уходит со старостой.)

Адъютант
(крестьянам)

А вы Графа собираетесь встретить?

Крестьяне
(кланяясь)

Графа, Ваше Благородие.

Адъютант

Верно, и посмотреть хочется?

Крестьяне
(кланяясь, говорят один за другим)

Как же не хотеть, Ваше Благородие... Он так любит
матушку — святую Русь... Грудью стоит за нее. Бережет
наши домишки... такой ласковой, говорят...

Адъютант

А видели загонщика?

Крестьяне
(кланяясь)

Видели, Ваше Благородие (один). Такой забавник,
пострел его побери! как скажет слово, так вот и пока-
тишься! Ну, ни дать ни взять Егор Матвейч, здешний
староста.

Адъютант
(смеется)

В самом деле?

Смотритель
(входит)

Лошади готовы, Ваше Высокоблагородие.

Адъютант

Благодарю. Прощай, братец, прощайте, друзья.

Крестьян
(кланяются)

Прощенья просим, Ваше Благородие.

Смотритель

Смею спросить, Ваше Высокоблагородие, скоро ли
го Сиятельство прибудет?

Адъютант

Да он уж проехал.

Смотритель

Проехал!!

Адъютант

Да. Это давишний твой загонщик. (Уходит.)

Смотритель стоит как остоленелый.

Крестьяне
(между собой)

Слышал ты?.. Да правда ль то?.. Офицер не станет
обманывать... чудеса, ребята! ну, кто бы подумал?, те-
перь, видно, расходиться... да вот и Егор Матвейч.

Староста
(входит)

Что, Иван Иванович? Граф скоро будет?

Смотритель
(бьет себя по лбу)

Пропал я!

Староста

Бог с тобою, Иван Иванович! Что ты?

Смотритель

(дерет себе волосы)

О, глупая ты башка!

Староста

Да что с тобою, Иван Иванович?

Смотритель

Сошлют в Сибирь теперь. Ох!

Староста

Спишь ты али бредишь? опомнись, Иван Иваныч! *(крестьянам)* несите-ка ковш холодной воды, ребята. Ему никак что-то попритчилось. *(Один из крестьян уходит.)*

Смотритель

Согрешил я, Господи, перед тобою!

Крестьянин

(возвращается и подает ковш с водой)

На-ка, Егор Матвееч.

Староста

(взяв воды в рот, прыщет на Смотрителя)

Прытки-прытушечки! С го голя вода, с тебя вся худоба! *(Снова прыщет.)* Скорби, болезни и всякие немочи! сойдите с раба божия и Ивана на черную гору, на темную рошу, где зверь не прохаживал, где червь не пропалзывал *(опять прыщет.)* Ну, теперь ладно. Возьмите, ребята. *(Отдает ковш крестьянам.)*

Смотритель

(вырвав ковш, выливает на старосту)

Вот тебе! Видишь, какой забавной! плюет на человека.

Староста

(отряхиваясь)

Ох, мой кафтанчик! в другой раз только... да ты с ума спятил, Иван Иваныч?

Смотритель

Сам ты спятил, Матвееч! Что ты в рожу-то мне брызжешь?

Староста

Да я выгонял из тебя болость, как Иван Иванович.

Смотритель

Вот и видно, что рехнулся. Ну, с чего ты взял, что я болен? И отродясь, я угорел только однажды

Староста

Да вот ты говорил такие неблагогие речи, Иван Иванович, а я и подумал...

Смотритель

Небось заговоришь, как Сибирь под носом. Знаешь ли, какую беду я сделал?

Староста

А что такое, Иван Иванович? Христос с нами!

Смотритель

Да я Графу-то в лицо смеялся!

Староста

О Господи, святая твоя воля! да пьян, что ли, ты был, Иван Иванович?

Смотритель

Како-ты пьян! Только пять чарок выпил.

Староста

Так как же это учинилось?

Смотритель

Да ведь давишний-то загонщик — сам Граф Суворов.

Староста

Как так!

Смотритель

Да так же. Ну, кто ж его узнает! а я и давай ему болтать всякую всячину. Сгубил я себя, окаянный!

Староста

Ума не приложу.

Смотритель

Ну, славно же мы встретили Графа! Вот тебе и приготовления! вот тебе и подарок! о глупая ты голова! *(В продолжении этого разговора крестьяне один за другим расходятся.)*

Лука

(входит с Машей)

Иван Иванович! вот тебе грамотка от графского загонщика.

Смотритель

(вырывает записку)

Давай ее сюда... Ай! да где очки мои!.. Маша, ищи проворнее... Что-то он пишет, батюшка?.. Да куда это очки мои запропалились! *(Стучит ногами.)*

Лука

Дай я прочту, Иван Иванович.

Смотритель

Никто не смей читать письма Графа Суворова! Оно ко мне писано, сам я его и прочитаю. *(Ищет очки.)*

Лука

Что это он городит, Егор Матвеевич?

Староста

Нишкни! ведь загонщик-то сам Граф.

Лука

Неужто?

Староста

Да так-таки.

Лука

Поэтому я Графа Суворова возил?

Староста

Да, счастлив ты, Лука. А мне вот так и не удалось.

Смотритель

(надевает очки)

Тс! слушайте *(Развертывает записку, ассигнация вы-*

падает. Смотритель не замечает этого и читает медленно.) Ну, Смотритель! благодарю тебя за угощение... Ох, ты мой батюшка! дай тебе господи здоровья!.. Якова пришли в Петербург: я постараюсь об нем... родимый ты мой! ...Если же хочешь оказать мне твою дружбу... хочу, хочу, батюшка! хоть в огонь за тебя!.. то исполни мою просьбу... смотри-ка просит! Отец ты мой! прикажи, все исполню!.. Выдай дочь твою за Луку... завтра же, батюшка, выдам!

Лука

Ах, славе те, Господи!

Староста

Тс!

Смотритель

(читает)

Лука доброй малой, он мне очень приглянулся... да и мне он уж давно по сердцу... На свадьбу дочери дарю сто рублей... благодетель ты мой!.. твой товарищ по каше и по штыку Граф Суворов-Рымникский. (Падает на колени; слезы на глазах.) Господи! помилуй ты его! Владычица! сохрани ты его! Святые все с силами небесными! дайте ему долгоденствие — отцу (целует записку), благодетелю (целует опять), Ангелу! (Целует в третий раз и встает. Староста крестится. Лука в это время поднимает ассигнацию и подает Смотрителю.)

Староста

Удивил Господь милость свою на рабах своих!

Смотритель

Уф! сердце вот так и прыгает! (Маше.) Завтра твоя свадьба (Луке), а ты, Лука, хоть и беден, но ты полюбился Суворову. Поцелуй свою невесту.

Староста

А чудной сегодня день, Иван Иванович.

Смотритель

Запишу его в святцах красными чернилами, и на радостях так напьюсь, что и старикам не в память. Пух! (Скачет по комнате.)

КУЗНЕЦ БАЗИМ, ИЛИ ИЗВОРОТЛИВОСТЬ БЕДНЯКА

Сцены Таз-баши

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Халиф Гарун-аль-Рашид.
Джафар, его визирь.
Мезрум, начальник евнухов.
Кузнец Базим.
Фатима.
Купец.
Покупщик.

Знакомый Базима.
Чиновник Халифа.
Начальник дворцовой стражи.
Преступник.
Полицейские служители.
Народ.

Действие происходит в Bagdage

СЦЕНА 1

Улица в дальней части Багдада; бедный дом Базима.

Базим

(входит с гитарой и мешком с провизией, и сбрасывает мешок у дверей своего дома)

Машалах! Сегодняшний день был для меня счастливее всех прочих. Есть, что поест, есть, что выпить! Ай, да Базим! ты родился под счастливым созвездием. Другой на твоём месте умер бы с голоду, а ты живёшь себе, да и здравствуй. Четвёртого дня был кузнец, третьего дня рассказчик, вчера банщик, а сегодня полицейский служитель. Халиф (да будет с ним мир!) не думал, что, печатывая бани и кузницы, не позволяя тешить православных рассказами, он сделает мне доброе дело. А оно так и вышло! полицейская служба принесла мне гораздо больше дохода, чем кузницы, бани и рассказы. Сегодня у меня и ужин и, вдобавок, гитара для Фатимы. Да я теперь ни за что не променяю своего ремесла. А если эти зловещие купцы из Мосула (проклятие на их бороды!) опять вздумают завернуть ко мне, то я их так отделаю, что они забудут как звали отца их. *(Поднимает мешок.)* Пойду обрадую мою Фатиму. Лишний поцелуй будет наградою изворотливости Базимовой. *(Уходит в дом.)*

Спустя немного времени входят Халиф, Джафар и Мезрум в платье купцов.

Х а л и ф

Что-то теперь поделявает наш знакомец Базим? Верно, клянет мосульских купцов и халифа.

М е з р у м

А песен сегодня не слышно, повелитель правоверных.

Х а л и ф

Может быть, он еще не воротился. Во всяком случае, я останусь здесь до его прихода. Мне очень любопытно узнать, — как он извернется в настоящем случае. А успех что-то сомнителен.

Д ж а ф а р

А я думаю иначе, повелитель правоверных. Голова Базима создана для выдумок. Скорее мы устанем разрушать его планы, чем он изобретать новые.

Х а л и ф

Я не стану больше продолжать моих испытаний. Четырех дней довольно, чтобы убедиться в остроумии. (Слышны звуки гитары.) Но что это? гитара! кажется, этого инструмента прежде у него не было.

М е з р у м

Не поселился ли здесь другой жилец?

Х а л и ф

А вот мы сейчас узнаем. Стучитесь в дверь.

В доме раздается голос Базима.

Х а л и ф

Тс!

Б а з и м

(поет)

Капелька шираза
В рюмке у меня,
Блещет без алмаза,
Греет без огня.

Д ж а ф а р

Голос Базима! Значит, он нашел новый источник удовольствия. Я говорил правду, повелитель правоверных.

Х а л и ф

Стучись в дверь. (*Джафар стучится.*)

Г о л о с Б а з и м а

Выпьешь — сладость!
И следа нет грустных дум!
В сердце — радость,
И в глазах сверкает ум.

Х а л и ф

Этакой негодяй, как будто и не слышит. Стучись сильнее. (*Стук сильнее.*)

Г о л о с Б а з и м а

Капелька Шираза и пр.

Д ж а ф а р

Он не хочет слышать стука.

Х а л и ф

Поговори с ним. Может быть, на голос он и ответит.

Д ж а ф а р

(*кричит*)

Базим! Базим!

Г о л о с Б а з и м а

Выпьешь — сладость и пр.

Д ж а ф а р

Эй, Базим!

Б а з и м

Проклятие на ваши бороды! что за полуночники?

Д ж а ф а р

Ужели ты не узнал нас?

Б а з и м

А мне почему знать вас? В Багдаде, благодаря визирю, бродяг больше, чем у купца тюменов.

Х а л и ф

Это по твоей части, Джафар. (*Смеется.*)

Д ж а ф а р

Мы твои приятели, мосульские купцы.

Б а з и м

Приятели! жгу отцов таких приятелей. По вашей милости я поел довольно грязи.

Х а л и ф

Ты напрасно говоришь это, Базим. Мы, кажется, тебе ничего худого не сделали.

Б а з и м

Еще ничего! а не по вашим ли проклятым предсказаниям опечатали кузницы, прогнали рассказчиков и запретили правоверным ходить в баню? ничего худого! нет, жженные отцы! Базим не дурак. Он заткнул уши для ваших предсказаний.

Х а л и ф

Виноваты ли мы, что наши слова случайно сбылись.

Д ж а ф а р

Ведь Халиф властен делать, что ему угодно. Когда бы захотелось ему опечатать бани и кузницы, он сделал бы это и без наших предсказаний.

Б а з и м

Да чего же, ради самого Аллаха, вы от меня хотите?

Х а л и ф

Послушать твоих умных речей. Мы завтра уезжаем из Багдада.

Б а з и м

И ничего умнее не могли выдумать. А еще бы лучше, если бы вы тотчас же отправились.

Х а л и ф

Не откажи, по крайней мере, в последний раз в гостеприимстве. Умный человек, как ты, такая редкость, что не искать беседы его значило бы быть глупее самого отца глупости.

Б а з и м
(после небольшого молчания)

Хм, Фатима! как ты думаешь, пустить ли их, или нет?

Ф а т и м а

Это в твоей воле, Базим.

Х а л и ф

Какой милый голос! где он нашел такого соловья?

Б а з и м
(после небольшого молчания)

Ну, так и быть. Подождите, я сейчас отворю дверь. Только, чтобы никаких предсказаний не было, иначе, валлах-биллях! я оскверню гробы отцов ваших до девяносто девятого рода.

Отворяется дверь, все входят.

СЦЕНА 2

Знутренность Базимова дома.

Б а з и м

Ну, войдите. Только рты ваши пусть открываются для беседы, а не для ужина.

М е з р у м
(смотря на Фатиму)

Да это настоящая пери.

Б а з и м

А ты настоящий див! опусти покрывало, Фатима. У этих купцов такой взгляд, что ты разом получишь на лице веснушки. Садитесь, садитесь.

Все садятся.

Х а л и ф

Да у тебя ужин сегодня роскошнее ужина халифова.

Б а з и м

Знаю, куда текут эти речи. Но я уж сказал, что ужин приготовлен для меня, а не для вас. Мой дом не гостиница.

Д ж а ф а р

Мы и не смеем думать о гостинице. Где есть такая полнолунная хурия, там рай самого пророка.

М е з р у м

Она могла бы служить украшением гарема халифова.

Б а з и м

Ты опять за пророчества, мосульский ворон? а знаешь ли ты, что борода твоя не так крепко приросла к твоей черной роже, чтобы нельзя было сделать из нее метелку.

Х а л и ф

Не сердись, Базим. Похвала жене — похвала мужу. И я скажу, что если б я был халифом, то отдал бы за нее пол-Багдада.

Б а з и м

А пока не халиф, так молчи, да и здравствуй.

Х а л и ф

У меня есть один вопрос до тебя, Базим. Надеюсь, что ты не откажешься отвечать на него.

Б а з и м

Каков вопрос, приятель! Если ты спросишь, где находится родимое пятнышко у первой жены халифовой, то я должен возложить все упование на Аллаха.

Х а л и ф

Нет, вопрос мой проще. Твой ужин заставляет думать, что ты нашел новый источник доходов.

Б а з и м

Хм! уж не в одном Мосуле, есть и в Багдаде нечто.

Х а л и ф

Каким же средством ты добыл себе ужин?

Б а з и м

Деньги не перевелись еще в городе.

Х а л и ф

Это яснее солнца. Но надобно было достать деньги.

Б а з и м

Я и достал их, а каким образом? — это уж не ваша работа.

Д ж а ф а р

Верно, тайком работал в кузнице.

М е з р у м

Или парил тихомолком в бане?

Б а з и м

Ни слова более. Багдад не Мосул. Базим не купец мосульский. Что запретил халиф (да продлит аллах его годы!), то верный подданный не станет делать.

Х а л и ф

Совершенная правда. Но когда опечатали кузницы, ты стал рассказчиком, когда же рассказчикам запрещено было тешить уши правоверных, ты пошел парить их спины. Любопытно бы знать, какое теперь твое занятие?

Б а з и м

А для чего вам это? разве для того, чтоб опять вернуть черта в мои дела?

Х а л и ф

О, совсем нет! Мы хотели бы только подивиться твоей изворотливости. Будь так добр, расскажи, как ты извернулся нынче?

Б а з и м

(после некоторого молчания)

Хм! ну, так и быть. Видите ли эту саблю?

Х а л и ф

Хорошая сабля!

Б а з и м

А история ее еще лучше. Она досталась мне от отца, который получил ее от деда. Отец промотал саблю и оставил мне одни ножны, а я взял, приделал деревянный клинок да и попал в полицейские служители. Ясно?

Х а л и ф

Не совсем еще.

Б а з и м

(показывает деревянную саблю)

Вот с такой саблей я сегодня ходил по базару и мирил купцов с покупателями. Полицейский служитель халифа ведь есть же нечто, ну и перепал рубль-другой.

Д ж а ф а р

Каков!

Х а л и ф

Хороша же в Багдаде полиция!

Б а з и м

Но у меня ни гугу! я сказал вам об этом потому, что вы вредить мне больше не можете. Ведь вы завтра выезжаете из Багдада?

Х а л и ф

Да.

Б а з и м

Ну, так положите это известие в кувшин вашей совести и прикройте его крышкою молчания.

Х а л и ф

Еще несколько слов, Базим. В прежние вечера мы не видали у тебя жены.

Б а з и м

А разве нельзя было жениться сегодня?

Х а л и ф

Очень можно, но кто она такая?

Б а з и м

Кто она такая? Жемчужина! отец ее из Шираза переехал в Багдад на житье и умер на третий день, оставив дочь свою сиротою. Я увидел ее, она мне понравилась, вот и вся история. Теперь за вами очередь. Ну, что, успели ли вы видеть халифа и его приятелей?

Х а л и ф

К сожалению, нет. Халиф, говорят, болен, никуда не выходит, и нам придется ехать, не повидавши повелителя правоверных. Нечего будет рассказать в Мосуле.

Базим

Хм! а я знаю человека, который опишет вам халифа так ясно, как бы вы сами его видели. А любимцев его — великого визиря, Джафара, и начальника евнухов, Мезрума, — вот просто в рот положить.

Халиф

Ах, расскажи, Базим. Ты сделаешь нам большое одолжение. Прежде о халифе.

Базим

Извольте видеть, халиф наш, Гарун-аль-Рашид (да продлит Аллах драгоценные дни его!) настоящий железод. Строен как кипарис, красив как солнце. Ум у него таков, что сам Нерлетун пред ним отец глупости. Правда, временем находит на него затмение и он делает довольно бестолковые приказы, например: опечатать бани, кузницы и тому подобное, но на это больше сбивает его плут Джафар.

Халиф (смеется)

Не поздоровится Джафару, когда правоверные будут так честить его.

Базим

Кто чего стоит! Впрочем, Джафар не дурак. Где дело дойдет — накормить правоверных грязью, он не поскупится. Говорят так же, что он мастер пороть и сшивать, но это дело не мое, а халифово.

Халиф

Ну а Мезрум?

Базим

Тьфу! это такой руфиян, — невежа, что не в состоянии даже поддерживать род людей аллаховых. Вся его обязанность состоит в том, чтобы жены повелителя правоверных не вздумали вкусить запрещенного плода в чужом огороде. Да где? семь Мезрумов не скараулят одной дочери аллаховой. Они себе надувают их, да и здравствуй!

Халиф

Спасибо тебе, Базим. Мы теперь узнали халифа и его

любимцев, как самих себя. А вот еще один вопрос: что, если халиф уничтожит полицию?

Б а з и м
(вскочив)

Жгу твою бороду, и бороду твоего отца, и бороду твоего деда, колдун проклятый! Ты опять напророчишь беду на мою голову!

Д ж а ф а р

И если великий визирь за обман велит тебя отдуть феллаками?

Б а з и м

Что за речи, человек! Я оскверню гробы ваших отцов! замолчите, зловещие вороны! И то уж три предсказанья ваши исполнились.

М е з р у м

А если Мезрум проведает, что у тебя жена такая красавица и велит взять ее в гарем халифа?

Б а з и м

И ты туда же, див проклятый! вы будете служить подгнетом чертям на джехеннеме. Прочь из моего дома!.. я заткнул уши... не слышу... идите себе, откуда пришли.

Х а л и ф

Мы идем. Не забывай нас, Базим, и не брани, если паче чаяния слова наши сбудутся. (Уходят.)

Б а з и м

О, зачем я пустил этих мосульцев в мой дом! Они три раза уже накликали на меня несчастье... Если слова их исполнятся, я превращусь в ничто, я буду хуже собаки... проклятие на их жен и детей!.. Проклятие на все их племя!

СЦЕНА 3

Базар в Багдаде.

Б а з и м
(считает деньги)

Семь, восемь, девять, десять... славный день! никогда

еще столько денег не было у меня в кармане. Сегодня позволю себе двойную порцию, повеселюсь — вот как! Проклятые мосульские купцы уж уехали. Мешать никто не будет. Отправляюсь домой... Но что это за спор?... послушать... Авось не будет ли тут поживы.

Подходит к одной лавке.

Купец

Я тебе говорю, что отрезал полное количество.

Покупщик

А я тебе говорю, что ты сплутовал. Отдавай деньги и возьми твою гадкую материю.

Купец

Отрезанное не берут. Ведь я при твоих глазах мерил.

Покупщик

Знаю я вас, купцов! вы успеете обмануть три раза на одном кругу. Подай деньги.

Купец

Получай материю.

Базим
(грозно)

Что здесь за шум?

Покупатель

Да вот, господин, этот купец отрезал мне гораздо меньше, чем сколько нужно, а деньги взял.

Базим

А! ты плутуешь, друг?

Купец

Нет, господин. Вот при тебе перемеряю, и ты увидишь, что он ест грязь.

Базим

Хорошо, меряй.

Купец

Сколько тебе было нужно аршин?

П о к у п щ и к

Семь.

К у п е ц
(меряет)

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... вот видишь ли, господин?

Б а з и м

Правда, как Аллах свят. Тут семь аршин. Ого, приятель! да ты, видно, из того сорта людей, которые только заводят шум на улицах. Пойдем-ка, голубчик. Я вот померяю твои пятки.

П о к у п щ и к

Виноват, господин, ошибся! (Тихонько дает ему денег.)

Б а з и м

Нет, нет, дружок. От меня сладким голоском не отделаешься.

П о к у п щ и к
(тихо)

Больше не могу, видит Аллах, не могу. Что хочешь делай.

Б а з и м

Ну, хорошо. Я добрый человек. Но, смотри, вперед не заводи шуму. Бери свое сукно да и ступай с богом. (Покупщик уходит.) Ну, дружок, скажи мне спасибо. Ведь дело-то твое очень не чисто.

К у п е ц

Как, господин?

Б а з и м

Как? я разве не видал твоего аршина? Он целою четвертью короче настоящего.

К у п е ц

Это что за речи, господин?

Б а з и м

Да, да. Четверть не четверть, а все вершка два будет. Теперь подошвы твои в моих руках.

Купец

Мой аршин...

Базим

Да, да, твой аршин; а если ты еще не убедился, что аршин твой врет, то я сейчас померяю его феллаками.

Купец

(дает ему денег)

Осмотри еще, господин, может быть, ты и ошибся.

Базим

Да разве в одном вершке, не больше. А все-таки аршин твой врет.

Купец

(дает еще)

Помилуй, господин.

Базим

Ну, ну, хорошо. Сегодня позволяю тебе продавать на этот аршин, а завтра чтоб у тебя был непременно новый. Иначе я шутить не буду *(отходит.)*

Купец

О, Аллах! когда халиф избавит нас от этой саранчи.

Базим

Каково! так, по дороге, зашиб монет десятков! Машаллах! Теперь у меня запаса на целую неделю, и я преспокойно могу делать мой кейф и плевать на бороду купцов из Мосула. *(Слышится барабан.)* Что это? новый указ! уж не об отмене ли полицейских служителей? А что ты думаешь? Эти проклятые купцы снова накаркали беду на мою голову.

Чинovníк халифа

Слушайте указ повелителя правоверных, великого халифа Гарун-аль-Рашида! *(Читает.)* «Повелеваем всем полицейским служителям в Багдаде немедленно явиться в мой дворец для получения награды за свою верную службу».

Все

О, Аллах!

Бой барабана, чиновник удаляется.

Базим

Валлах! биллях! звезда счастья моего в полном восхождении. И деньги и награда! Бежать скорее.

Знакомый Базима

Базим, в доме у тебя случилось несчастье.

Базим

Это что за речи?

Знакомый

Сейчас явились к тебе служители халифа и увели Фатиму твою во дворец, не смотря на ее слезы и сопротивление.

Базим

О, человек! какой пепел ты насыпал на мою голову!.. Это все мосульские купцы наворожили... проклятие на их бороды! Я оскверню гробы их прадедов... О, Фатима! что я теперь? лицо мое почернело ...я сделался хуже собаки.

Полицейский служитель

(толкая его)

Ну, что ты развылся? разве не слышал приказа халифа? или голова твоя из железа?

Базим

Несчастный этот день! если б я не выходил сегодня, Фатима моя была бы со мной.

Полицейский служитель

(толкая его)

Ступай же, ступай.

Базим

Пойду... и стану просить вместо всех наград одну мою Фатиму... (Уходит.)

СЦЕНА 4

Дворец халифа.

Начальник дворцовой стражи

(полицейским служителям)

Стоять смирно! Не сморкаться, не чихать, не кашлять, полы запахнуть, смотреть весело. Понимаете?

Полицейские служители

Понимаем, господин.

Н а ч а л ь н и к

Когда ж войдет повелитель правоверных, упасть ниц и лежать до тех пор, пока не скажет: встаньте. Понимаете?

В с е

Понимаем, господин.

Н а ч а л ь н и к
(Базиму)

А у тебя, приятель, отчего лицо похоже на кислое яблоко? а?

Б а з и м

Такое даровал аллах, господин.

Н а ч а л ь н и к

Аллах даровал, а я хочу, чтоб оно было весело, слышишь?

Б а з и м

Слышу, господин.

Н а ч а л ь н и к

Мало слышать, надо исполнять. Смейся.

Б а з и м
(принуждает себя улыбнуться)

Н а ч а л ь н и к

Скверно! Смейся лучше.

Б а з и м

Не умею лучше, господин.

Н а ч а л ь н и к

Так я тебя выучу смеяться. У меня есть чудесное для этого средство. Смейся, или сейчас палками по пятам.

Б а з и м

Аллах! Аллах! вот в самом деле чудесное средство заставить смеяться.

Н а ч а л ь н и к

А это что у тебя? (Показывает на саблю.)

Ба з им

Как что это, господин? это сабля.

Н а ч а л ь н и к

Вижу, что сабля, да какая?

Ба з им

Такая же... (*В сторону.*) Вот попался-то...

Н а ч а л ь н и к

Нет, не такая... Отчего она у тебя не вычищена?

Ба з им

Уж стара слишком... Нельзя прочистить.

Н а ч а л ь н и к

А! по крайней мере, остра ли она?

Ба з им

О, уж на этот счет можете быть совершенно покойны. Бритва первого багдадского брадобрея пред нею — тьфу! не более.

Н а ч а л ь н и к

Любопытно взглянуть на такую саблю. Покажи-ка ее, приятель.

Ба з им

Как?.. что?.. я недослышал.

Н а ч а л ь н и к

Я говорю, чтоб ты вынул ее из ножен.

Ба з им

А, из ножен?.. сейчас. (*Силится вынуть.*)

Н а ч а л ь н и к

Да она у тебя и не вынимается?

Ба з им

О, нет, господин. Но эта сабля чудесного рода. Когда нужно ее на дело, она сама выскакивает из ножен, а когда только для любопытства, так ее и зубами не вытащишь. Вот что!

Н а ч а л ь н и к

Ты, кажется, кормишь меня грязью. Дай-ка я сам ее вытащу.

Б а з и м

Ах, господин. Рукам такой высокой особы неприлично касаться к сабле простого служителя. Вот я сам попробую (*силится вынуть.*)

Г о л о с

Повелитель правоверных! Повелитель правоверных!

Б а з и м

Слава пророку! убежал от феллаков. Завтра же куплю настоящую саблю.

(*Халиф за занавесом. Начальник стражи дает знак, все падают ниц.*)

Х а л и ф

Встаньте. (*Все встают.*) Я велел собрать вас, чтоб наградить достойных.

В с е

Да продлит аллах дни твои, повелитель правоверных!

Х а л и ф

Мне приятно было бы наградить всех вас. Но, к сожалению, я узнал, что есть между вами обманщики, которые присвоили себе звание полицейского служителя, не имея на то никакого права.

Б а з и м

(*в сторону*)

О, Аллах!

Х а л и ф

Кто из вас называется Базим?

Б а з и м

Ну, пропал я. (*Выходит на середину и повергается ниц.*)

Х а л и ф

Встань и отвечай мне. Точно ли ты полицейский служитель?



Б а з и м

На мой глаз и на мою голову! Чем же мне быть иным, повелитель правоверных!

Х а л и ф

Бойся солгать. Ты обманом присвоил себе это право.

Б а з и м

А что я за собака, чтоб стал обманывать. Звание полицейского служителя досталось мне по наследству от предков. (*Скороговоркой.*) Мой отец был полицейским служителем, мой дед был полицейским служителем, и прадед, и дядя, и тетка, и бабушка — все были полицейскими служителями.

Х а л и ф

Хорошо, я велю об этом справиться. Но мне сказали, так же, что ты не умеешь исправлять своей должности.

Б а з и м

Клевета, повелитель правоверных. Я исправляю ее уже десять лет верой и правдой.

Х а л и ф

Вот мы сейчас это увидим. Приведите сюда преступника, и пусть Базим отрубит ему голову.

Б а з и м

(*в сторону*)

Проклятая сабля!.. (*Вводят преступника и ставят его на колени.*)

Х а л и ф

Что же ты медлишь?

Б а з и м

Сейчас, повелитель правоверных. (*Преступнику на ухо*). Кричи, что ты невинен.

П р е с т у п н и к

Я невинен, клянусь Аллахом, я невинен.

Х а л и ф

Исполняй свою должность.

Б а з и м

Позволь сказать одно слово, повелитель правоверных. Если этот человек действительно невинен, то мы сейчас можем узнать это. Осмеливаюсь доложить, что у меня сабля не простая. Она досталась в род наш от одного из 12 имамов (да будет с ними мир!). Если нужно отрубить голову злодею, то она блесит молнией и с одного раза отделяет голову от плеч. Если же поднята будет над невинным, то в мгновение ока превращается в дерево.

Х а л и ф

А вот увидим.

Б а з и м

(вытаскивая саблю)

О, Аллах! этот человек невинен... сталь превратилась в дерево.

Х а л и ф

(хохочет)

А ты препорядочный плут, Базим.

Б а з и м

(падает ниц)

Что я за собака, чтоб не быть тем, чем угодно халифу.

Х а л и ф

(хлопает в ладоши, занавес отдергивается)

Встань и взгляни на меня. Узнаешь ли ты меня и этих двух приятелей?

Б а з и м

Купцы из Мосула! *(Опять падает.)* О, я бедный! я умер! чрева мои превратились в воду.

Х а л и ф

Не бойся ничего. Ты мне доставил случай видеть на опыте изворотливость ума бедняка. Встань. Я жалую тебя начальником всех полицейских служителей.

Б а з и м

(встает)

О, Аллах! я и во сне не ожидал подобного счастья.

Х а л и ф

Только ты должен простить прощенья у верховного ви-
зиря и начальника евнухов за твои нескромные речи.

Б а з и м

О, повелитель правоверных! прилично ли таким высо-
ким особам сердиться на безумную речь червяка? Если
я что и сказал, то сказал не я, а сам отец глупости, ко-
торый сидел во мне в те минуты. А целый свет знает об
их храбрости, об их красоте, об их мудрости.

Х а л и ф

Теперь доволен ли ты, Базим, и станешь ли еще про-
клинять купцов мосульских?

Б а з и м

Голова моя в твоих руках, повелитель правоверных.
Но скажи сам, кто порадуется моему возвышению? была
у меня одна подруга, но и она теперь в твоём гареме.

Х а л и ф

Тебе возвратят ее. Она взята только для того, что-
бы предсказания мосульских купцов исполнились вполне.
Теперь поди и употреби свой ум на пользу твоего госу-
даря. Джафар выдаст тебе десять мешков денег, раздели
их новым своим подчиненным.

Полицейские служители

Да здравствует повелитель правоверных!

СТРАШНЫЙ МЕЧ

Отрывки из либретто

ИЗ ПЕРВОГО ДЕЙСТВИЯ

1

К р е с т ь я н е

О б щ и й х о р

Ужасный день! опять гроза
Шумит над нашими полями.

Скорей, друзья, скорей в леса!
Уж нивы стонут под конями,
И в дыме меркнут небеса!

Несколько голосов

Простите, жилища и нивы родные!
Прости, прародительский мирный приют!
Окончились дни, наши дни золотые...
Далеко нас волны войны занесут!

Хор

Скрылся, скрылся век веселый.
Век довольства, тишины!
Задымятся наши села
В страшном зареве войны!

Несколько голосов

Не зреть нам уж боле отцовского крова
И прадедов наших священных могил,
Нас гонят, нас гонят из края родного!
Гнев божий свой пламень на нас обратил.
Давно ли мы жили под верной защитой?
Давно ли под жатвой златились поля?
Их пламень разрушит! их сроет копыто,
И кровью зальется родная земля!

Неизвестный

Привет мой вам, друзья и братья!
Я слышал ваш печальный хор,
И шел сюда — делить несчастье ваше.

Хор

Благодарим тебя, благодарим.

Неизвестный

Но вы поведайте причину ваших жалоб.
Куда бежите вы? зачем?

1-й крестьянин

Ты верно странник,
Когда не ведаешь постигшей нас беды.

Неизвестный

Я точно странник. Издалека

От храма Лады я иду,
Чтоб сеять семена святого мира,
И смуты силою Белбога прекращать.

1-й крестьянин

Благословен твой путь священный!
Благословен твой к нам приход!

Неизвестный
Но, братья! что же вас волнует?
Кто тишину и мир ваш возмутил?

1-й крестьянин

Отец! печальна наша повесть:
Война, война далеко гонит нас
От наших нив, от наших хижин.
Не в силах я сказать всего...
Но вот пастух! он всё тебе расскажет,
Он знает всё.

Хор

Он всё, он всё тебе расскажет,
Он знает всё! он знает всё!

1-й крестьянин

Приблизься, друг.

Пастух

Готов исполнить
Твое желанье. Не красна
Простая речь простого селянина,
Но истинна. Итак, внимай.

Хор

Он всё, он всё тебе расскажет.
Он знает всё! он знает всё!

Пастух

(баллада)

Там, за этими горами,
Где поток крутой шумит,
С золотыми головами
Зданье дивное стоит.
В нём, в забавах провожая

Дни и ночи напролет,
Чародейка молодая
С злыми силами живет.

Хор

Об этом каждому известно,
Поверь, он правду говорит.

Пастух

Недоступен замок дивный
Чародейки молодой;
И ни разу рог призывный
Не трубил ему войной.
Вдруг с отборными бойцами,
В щит оружием звуча,
Показался пред стенами
Витязь страшного меча.
Красотой ее плененный,
Он одну ее искал,
И себя, и стан военный
Чародейке отдавал.
Просьбы тщетные! Всемила,
Тайной силою гордясь,
Хоть Ратмира и любила,
Но дала ему отказ,
С тех пор они враждуют меж собою,
И гордые, ни витязь, ни она —
Не думают друг другу покориться...
А мы страдать должны!
Мечи их губят наши села
И наши мирные поля.

1-й крестьянин

Теперь ты знаешь все. Закон гостеприимства
Не можем мы исполнить над тобой:
Мы удаемся отсюда...
Уж видны признаки начавшейся войны.
Прости, прости, наш край родимый!
Тебя нам вечно не видать.

Неизвестный

Нет! вы увидите опять родную землю,
Иду туда — и прекращу раздоры,
Иль сам погибну я за вас.

(Крестьяне в ужасе, они не верят в осуществление замысла
Неизвестного, но тот не отступает от своего намерения,
вместе с крестьянами молится Белбогу о даровании мира людям
и уходит. Крестьяне удаляются в противоположную сторону.)

2

Песня Всемилы

Сердце! сердце! что с тобой?
Где всегдашний твой покой?
Сокрылся, сокрылся покой твой, Всемила!
И черные тени на сердце легли.
Давно ль я беспечно жила и любила?
Теперь нет отрады нигде на земли!
Ни пышность, ни сила души не питают;
У сердца права и законы свои...
Здесь блеск и величье меня окружают, —
А сердце все просит, все просит любви!
Сердце! сердце! что с тобой?
Где всегдашний твой покой?

3

Песня девиц

Общий хор

Веселье! веселье! срывайте цветы!
Веселье! веселье! свивайте венки!

1-й хор

Мы сорвем-сорвем цветы
Легкими руками;
Мы завьем-завьем цветы
Пышными венками.

2-й хор

Мы украсим те венки
Бисером цветистым;
Мы наденем те венки
Из цветов душистых.

Общий хор

О, ловите упоенье!
Радость, сладкое мгновение,
Проблеск райской стороны!
Торжествуй, краса и сила,
Радость всех очей — Всемила,
В новый день твоей весны.

4

Песня отрока

В небе морок, в сердце горел
Что мне делать? Как мне быть?
Я пойду ль на сине море
С ним кручину разделить.
Там на берегу зеленом,
Над широкою волной,
Поклонюсь ему поклоном
И спрошу его с тоской:
Море! море! ты волнами
Весь мир божий обтекло;
За какими берегами
Вечно на небе светло?

5

Монолог Ратмира

Светило дня торжественным закатом
Венчает путь на светлых небесах;
Одеянный и пурпуром и златом,
Последний луч трепещет на водах.
Как сладко на крылах желанья
Лететь туда — в надзвездный край,
В разлив безбрежного сиянья,
Туда — в мечтательный наш рай!
О, лети, мечта живая,
В область мира — и с собой
Принеси из сада рая
Мой утраченный покой.

Дуэт часового и часовой
 Часовой и часовая
 Мрачно на небе без солнышка;
 Грустно на сердце без девицы (молодца).

Часовой

Если б крылья я имел
 Соколины
 Я давно бы улетел
 В край родимый.

Часовая

Я и ранней зарей,
 Я и поздней порой
 Все ходила в полях,
 Все срывала цветы.

Часовой

В том краю живет она —
 Радость сердца;
 Дни и ночи у окна
 Ждет милова.

Часовая

Я срывала цветы,
 Я бросала в рекуз
 Вы плывите туда,
 Где мой милый живет.

Часовой

Я взглянул бы с тоской
 В очи милой:
 «Не видаться мне с тобой
 До могилы!»

Часовая

Вы скажите ему,
 Что грущу без него,
 Что я ночью и днем
 Ожидаю сго.

Хор жрецов Лады

Из далеких стран полночи
 Мы приносим в вашу землю
 Благодать небес.
 Вы спешите встретить Ладу,
 Мир носящую богиню,
 В светлом торжестве.
 Да с ее святым приходом
 Процветет здесь древа мира
 Благодатный плод.

Общий хор

Теперь да стихнут смуты ада!
 Да гаснет пламенник войны!
 Привет тебе, о мать-Лада,
 Богиня мира и любви.

Хор жрецов Чернобога

Хор жрецов

Чернобог! Чернобог!
 Мы приносим тебе
 В жертву чистую кровь
 При усердной мольбе.

Три жреца

Отврати от нас несчастье злое!
 Пронеси грозящую нам тучу.

Три жреца

Да тебе угодна будет жертва:
 Дым густой, источник чистой крови.

8

Песня Баяна

Я посвящаю кубок мой
 Тебе, всемогущий звуков гений!
 Ты дал мне силу песнопений,
 Ты окрылил меня мечтой.
 Ты правил слабыми перстами,
 Когда пред взорами князей
 Я славил звучными струнами
 Величье родины моей.
 Ты мне источник вдохновений!
 И восхищенною душой
 Тебе, всемогущий звуков гений,
 Я посвящаю кубок мой!

Сказки

Осенние вечера

ВЕЧЕР I

— Эй, кто там?

Дверь кабинета отворилась, и на пороге показалась фигура старого казака, в молчаливом ожидании приказа.

Между тем отставной полковник пробежал записку, бывшую у него в руках. Сколько можно было при беглом взгляде рассмотреть размашистые строки записки, дело шло о приглашении на вечер человек четырех приятелей полковника.

— Возьми эту записку и ступай к Николаю Алексеевичу. Он уж знает, что ему делать с нею.

— Слушаю, — был ответ казака, и дверь затворилась снова.

Полковник зажег сигару и стал ходить взад и вперед по комнате.

Воспользуемся несколькими минутами молчания, чтобы познакомиться с хозяином. Ему было лет под 50; седина прокрадывалась уже на подстриженной под гребенку голове и на густых усах. Но полное румяное лицо, бодрая осанка и пламенные глаза, нередко бросавшие искры одушевления, — все это придавало ему такую свежесть, которой позавидовал бы не один юноша нашего бледного века. Отслужив 30 лет царю и отечеству, ветеран взял отставку, не столько по утомлению от служ-

бы, сколько по желанию молодой прекрасной своей жены. Порядочный капитал, принесенный ею в вено полковнику, дал ему средства жить если не роскошно, по крайней мере, спокойно и независимо. Счастливый женой, любимый приятелями, уважаемый в обществе, Безруковский (фамилия полковника) смотрел на осень дней своих глазами мира и довольства. Если прибавим к тому, что он был не чужд современной образованности, христианни делом и мыслью, философ в жизни и поэт в мечтах, еще не покинувших седеющую его голову, то обрись портрета его будет кончена.

Через четверть часа казак воротился.

— Ну, что?

— Сказали: будет исполнено.

— Хорошо. Зажги свечи в зале и готовь чай.

— Слушаю.

Через несколько времени четверо приятелей Безруковского один за другим вошли в залу.

— Тысячу спасибо, миллион спасибо, господа, — сказал Безруковский, искренне пожимая им руки. — Милости просим сюда, к чайному столу. За отсутствием жены, мне поручено исправлять должность хозяйки. И надеюсь так хорошо исполнить свою обязанность, что верно получу от нее благодарность. Вот сигары, вот трубки! Прошу покорно!

Пока гости садятся к столу, размениваясь общими фразами ежедневного разговора, столь естественного между приятелями, нелишнее познакомиться с каждым из них, хотя в самом легком очерке.

Первый из них, тот, к кому адресована была записка с просьбою пригласить остальных, был мужчина лет 35. Усы и военный покррой его сюртука намекали, что он был тоже питомец Марса, хотя уже оставивший знамена своего предводителя. Спокойный и какой-то рассудительный взгляд голубых его глаз и несколько флегматические движения давали ему вид солидности, а приветливая улыбка, почти не сходявшая с его губ, говорила ясно, что он находится в мире с собой и с ближними. Друзья прозвали его Академиком, сколько вследствие классической его наружности, столько же и за положительность его суждений, иногда отмеченных легкою иронией.

Другой гость был Таз-баши, питомец Руси и Татарии, с приметно угловатыми чертами лица, с узкими гла-

зами, полными веселости и лукавства. Резкая интонация голоса и неудержимая живость движений, при небольшом росте, давали ему характер резвого мальчика-шалуна, несмотря на 30 годов и эполеты без звездочек.

В наружности третьего гостя особенно кидался в глаза прекрасный очерк лица умного и мечтательного. Легкая смугловатость загара сказывала, что он наблюдал природу не из окон своего кабинета, а особенность его манер, не лишенных грации, говорила, что он хотя и не чужд принятой светскости, но и не раб ее. Друзья звали его Лесняком, намекая на страсть его — жить вдали от города, на лоне природы. Богатые сведения его в естественных науках несколько не имели педантической учености: напротив, он разувечал их всем блеском поэтического колорита, потому что природа была для него не столько книгою житейской мудрости, сколько откровением тайн создания, отголоском собственных его дум и мечтаний.

Наконец, последний гость поражал в своей особе странным сближением приятного, почти женского лица с едкою насмешкою на губах. Способность его — подмечать слабую сторону жизни, доходила до того, что в самых очевидных проявлениях красоты — в жизни и искусствах — он прежде всего схватывал эти небольшие пятна, которых не чуждо ни одно творение рук человеческих. Но кто ближе узнавал его благородную душу, его строгость, однажды-навсегда принятых правил, тот переставал его бояться и в искрах насмешки открывал пламень добра и сочувствия. Немец по предкам, но русский по вере и воспитанию, он носил в себе более элементов последней нации, хотя друзья не иначе называли его как фон и *Немец*.

Между тем гости заняли места вокруг стола, на котором самовар пел уже свою вечную песню и стаканы дымились ароматным чаем.

— Вот в чем дело, господа, — начал Безруковский, откинувшись на спинку дивана. — Прошу выслушать меня внимательно и потом, по соображению вашему, дать ответ. Самое главное, или, лучше, первое, в моей речи то, что теперь у нас осень, с своими длинными вечерами, с грязью во дворе и на улице и с убийственной скукою в душе.

— Да. Полковник недаром провел два дня своего за-

творничества. Начерченная им картина осени делает честь его наблюдательности, — сказал Таз-баши как будто про себя, прихлебывая чай из стакана.

— Не знаю, — продолжал Безруковский, показывая вид, что он не слышал насмешливого замечания Таз-баши, — не знаю — разделяете ли вы в одинаковой степени со мною это последнее обстоятельство, т. е. скуку. Может быть, в отношении ко мне тут участвует разлука с женой; но, во всяком случае, я уверен, что никто из нас в настоящее время не может похвалиться большим весельем. Не правда ли, господа?

— Далее, — сказал Академик, внимательнее всех слушавший хозяина.

— Далее возникает второй пункт моей речи, т. е., коли скучно, так надобно искать средств убить эту скуку.

— Всемирная истина! — протянул Таз-баши своим резким голосом.

— Поэтому, господа, не угодно ли вам будет поголосно сказать ваше мнение о таком важном предмете. Начнем с младшего, и пусть г. Татарин первый скажет нам — какую мысль внушает ему закон предопределения.

— Гм, — начал Таз-баши. — Подать совет можно скоро, а дать ему толк — дело не минутное, говаривал покойной памяти дедушка мой, бывший, как вам известно по истории, первым министром при царе Кучуме. Но хотя нить моего разума и коротка для длины подобного вопроса, однако ж, оставляя рассудительную медленность моего дела, я, по русскому обычаю, скажу не думая, т. е. не то чтобы не думая, а отложив подумать после, когда уже будет сказано. Итак, вот вам мой ответ. От скуки, которою страдает почтеннейший наш хозяин, выпишем поскорее его благоверную; а от нашей скуки — станем чаще собираться у него попить хоть чай, если не дадут чего-другого лучшего, и разбирать разные планы и предположения, какие только придут в высокоблагородную голову. Первое — экономно, а второе, — по крайней мере, очень весело.

— Друг Таз-баши, — сказал улыбнувшись Безруковский, — пословица русская говорит: делу время и веселью час. Спрячь пока свою шутку в запазуху, чтобы при случае снова блеснуть умом-разумом, а теперь, когда речь идет о деле, попробуй-ка, как ни тяжело тебе это, сказать что-нибудь дельное.

— Но уж я в этом нисколько не виноват, если вашему высокоблагородию все речи мои кажутся бесконечною и, пожалуй, бестолковою шуткою. Моя уж участь такова, что в самых премудрых словах моих видят одну бессмыслицу. Если же ты хочешь мнения, высказанного в рамках системы, с приличными знаками препинания и придыхания, спроси Академика. А я остаюсь при моем мнении, каково бы оно ни было.

— Итак, г. Академик, хоть и не в очередь, а потрудись отвечать на придирку этой задорной татарской особы.

— С большим удовольствием, — отвечал Академик, поглаживая усы свои левою рукою. — По моему мнению, в видимой бессмыслице Татарина есть капля и русского смысла. Берусь на этот раз быть толмачом его кучумской мрачности.

— Завидная должность! — вскричал весело Безруковский.

— Но и не так-то легкая, — процедил сквозь зубы Немец, подняв глаза к потолку.

— Извольте видеть, — продолжал Академик. — Свидание наше у кого бы то ни было из нас, все-таки первое условие — провести приятно вечер: но здесь и запятая.

— Я угадал, что не обойдется без знаков препинания, — шепнул Таз-баши Безруковскому.

— Обыкновенный приятельский разговор, — продолжал Академик, — из общих мест и будничных мыслей удовлетворяет только при редком свидании. А частые встречи требуют беседы, которая имела бы цель более интересную, чем простой разговор о том о сем и о другом подобном. Следовательно...

— Еще академическое словечко, — снова шепнул Таз-баши.

— Следовательно, чтоб придать большую ценность нашей беседе, — продолжал Академик, не обращая внимания на выходки Татарина, — надобно предположить какую-нибудь известную цель и, судя по ней, определить план беседы.

— Но уж в таком случае моя милость будет на последнем плане, — промолвил Таз-баши, не могший удержаться, чтобы опять не вклеить своего словечка.

— Разумеется, — сказал Безруковский. — Это и мое мнение. Говорить красно могут и татары, а русский толк требует разумного разговора.

Таз-баши посмотрел по сторонам и, по-видимому, соби-
рался что-то сказать, но Немец шепнул ему в это время
на ухо: молчи, иначе дашь повод к торжеству хозяина,
подтвердив истину его замечания.

— Что касается до цели, — снова начал Безруков-
ский, — то за ней ходить далеко нечего. Свободная мена
мыслей и чувств, частные взгляды на жизнь в различ-
ных ее проявлениях, суд настоящего, мечты о будущем —
это, кажется, не скудный источник для приятной беседы.
Только, во всяком случае, допустив цель, не будем свя-
зываться предметом. А то г. Таз-баши разом пожалует
нас всех в академики.

Татарин не пропустил случая толкнуть локтем соседа
своего — Академика.

— Без сомнения, — сказал Таз-баши. — Общество
друзей — не ученое общество, и приятельский разговор —
не академический диспут. Но позвольте спросить, г. Пре-
зидент (я заранее даю вам этот титул с должным почте-
нием), кто же из нас должен назначить тему для нашей
беседы? И притом, согласна ли будет данная тема рас-
положению прочих собеседников? А то, пожалуй, вы
вздумаете говорить о дядюшке, когда мне хотелось бы
помянуть тетушку.

— Кто даст тему? — сказал Безруковский. — Обстоя-
тельство, случай, пожалуй, одушевление! Не смейся, Таз-
баши. Я вижу по лукавым глазам твоим, что ты хочешь
сказать: целиком из риторики. Я не спорщик на слова.
По мне всякое правило, хотя бы взятое из детской про-
писи, имеет цену и значение, коль скоро оно основано на
разуме. Я сказал: случай, обстоятельство — и остаюсь
при сказанном. Вот, например, теперь, что мешает нам
начать беседу об этом предмете и развить мысль не по
правилам рассуждения, а в живой, одушевленной беседе.

— Сохрани нас Аллах, — вскричал Таз-баши, взмах-
нув руками. — Внутренность моя содрогается при одной
мысли о подобном препровождении времени. И скажите,
что мне, — неучу между учеными, татарину между рус-
скими, — что мне делать при этих беседах? А сплю я и
так, благодаря бога, очень спокойно.

— Значит, ученость в сторону. Быть так! Но все-та-
ки, если нить разговора коснется подобных вещей...

— Так сказать: аминь, и только! — прервал Таз-ба-
ши, приплюснув об стол свою сигару.

Собеседники рассмеялись.

— Я думаю, — начал Лесняк, до тех пор хранивший молчание, — всего лучше призвать на помощь воспоминание прошлого. С каждым из нас жизнь разыгрывала более или менее занимательную драму, каждый смотрит на мир и людей с особенной точки зрения. Поэтому рассказы о своем житье-бытье не будут лишены занимательности.

— Дай себя расцеловать, мой добрый леший, — вскричал Таз-баши, сделав жест объятия. — Ты хоть смотришь исподлобья, но видишь лучше, чем эти дальнорзоркие господа своими открытыми глазами. По крайней мере, ты прочел в душе моей, как в книге. А уж потешил же бы я вас моими рассказами — не о себе... что жизнь моя в этом омуте русской жизни!.. а о моем покойном дедушке, бывшем у царя Кучума первым министром. То-то был хан — сливки ханов! за то и ум министра его — море безбрежное.

— Ну, а вы, господа, как? — спросил Безруковский, обращаясь к Немцу и Академику.

— Я согласен, — был ответ Академика.

— Пожалуй, — сказал Немец. — Только вы знаете, что я не любитель нежностей.

— Так что же, — отвечал Академик. — Твои рассказы будут солью нашей беседы.

— А мои так патокой, право, патокой, — подхватил Таз-баши, припрыгнув на стуле.

— Итак, дело почти слажено, — сказал Безруковский, — остается приступить к исполнению.

— Впрочем, господа, — начал Академик, — рассказы о себе не мешают рассказам и о других, по примеру дорогого нашего Таз-баши, который уж наперед тает при воспоминании о своем пресловутом дедушке.

Таз-баши низко поклонился.

— Но еще слово. Если сюжет приведет нас к какому-нибудь важному спорному пункту, то, я думаю, не мешает приостановить нить рассказа и перебросить слова дватри для объяснения.

— Виллах-биллях! Это что за речи? — вскричал Таз-баши, открыв свои узкие глаза до возможной степени. — А знаешь ли, что говорит ваша же пословица: бочка меду да ложка дегтю. Во всяком случае, я заранее протестую против всякого насильственного вторжения в область моего рассказа.

— Ну, твой рассказ будет иметь особую привилегию, на которую я первый согласен, — сказал Безруковский, улыбаясь.

— Да притом к словам Таз-баши трудно будет привить какую-нибудь мысль, — прибавил Немец.

— Даже не позволю привить и бессмыслицы, — возразил Таз-баши, — сколько бы твоя немецкая голова не была способна на такие вещи.

— Значит, дело окончательно решено и подписано, — сказал весело Безруковский. — Итак, господа, к ружью! Жизнь, мечта, любовь, радость, печаль, все двигатели этого груза, который мы тащим на себе от колыбели до гроба и который зовем жизнью, — все в дело, и да благословит небо наше решение!

— Аминь, — отвечал Академик торжественно. — Да будет сегодняшний вечер зерном приятного будущего! Но...

— Он когда-нибудь подавится своими но, — вскричал Таз-баши, живо повернувшись.

— Мы определили цель и предмет наших бесед, а забыли об условиях исполнения.

— То есть говорили об изобретении и расположении, да опустили изложение. Кажется, так говорит ваша риторика, г. Академик?

— Правда, Таз-баши. Ты иногда не лишен догадливости. По моему мнению, единственное условие изложения, как угодно было выразиться г. Таз-баши, есть и должно быть — отсутствие всякой изысканности. Пусть каждый из нас говорит без претензий, как знает, как думает...

— Золотое правило, — вскричал Таз-баши. — Я хотя по службе стянут казачьим мундиром, но татарская душа любит простор, говаривал мой дедушка...

— Бывший при царе Горохе шутком, — прервал Безруковский. — Эй, Иван! бокалы и игристого! Напьем до краев и выпьем за веселое будущее.

— Вот что значит уметь сберечь интерес к окончанию, — вскричал Таз-баши, вспрыгнув со стула и весело потирая руки.

Явились бокалы; пробка хлопнула, и кипучая струя Шампани заиграла в гранях хрусталя.

— За здравие и долгоденствие нашей приязни.

— За здравие будущих наших рассказов.

- За здоровье хозяина.
- За здоровье любезных гостей!
- И да здравствуют осенние вечера!

Все эти тосты слились в дружное «ура», и полные бокалы, чокнутые друзьями, выпиты разом.

— Итак, господа, к делу. Чтоб исполнить главное условие наших рассказов — без претензий, я по долгу хозяина первый открою наши осенние вечера эпизодом из моей жизни.

Собеседники — с трубками и сигарами в руках — сели вокруг стола, и Безруковский начал.

СТРАШНЫЙ ЛЕС

Это было в 18.. году. Семейные дела моего брата требовали неперменного присутствия моего в Т. Я подал в отпуск. И хотя наш Атаман был очень скуп на подобные вещи, однако ж, убежденный важностью представленных мною причин, он немедленно подписал мой отпуск. Одно было дурно, что срок мне назначен был в обреш, так что я должен был скакать день и ночь, завтракая на облучке и обеда у телеги, чтобы успеть устроить дела брата и вернуться назад к сроку. Сборы военного известны. Через два часа, считая тут же и прощанье с сослуживцами, я летел уже по большой московской дороге. Но как ни гнали ямщики, побуждаемые то кошельком, то нагайкою, я все-таки не один раз жалел — зачем нет у нас железных дорог или зачем, по крайней мере, порода иппогрифов не разведена на станциях. Нечего и говорить, что мне совсем было не до наблюдений. Весь дневник мой составляли ямщики, кони и станции, станции, кони и ямщики. Единственное развлечение мое в этом пути было — то видеть полет вздремнувшего казака при каком-нибудь непредвиденном толчке, то самому растянуться вместе с телегой при крутом повороте. Но тем и ограничивалось все удовольствие моей поездки.

Наконец, на пятый день моего путешествия, перед самым закатом, я въехал в одно небольшое помещичье селение. На беду мою, экстра-почта и курьеры захватывали всех лошадей, и мне волею и неволею пришлось ждать целые два часа в доме ямского старосты. Сколько я ни кричал, сколько ни делал обещаний! — упрямый староста заладил одно: «почтовых нет, а вольных и за сто рублей

не сыщешь». В этой крайности казак мой — это одна и та же особа с моим Иваном — придумал меня утешить. Может быть, эту мысль подсказал ему собственный его голодный желудок, только Иван воспользовался двухчасовой остановкой и состряпал чай и завтрак. Ругнувши его порядком за эту новую остановку, я все-таки нашел, что стакан чая и добрая порция бифштекса — дело очень недурное, особенно когда нет лучшего занятия. В этом заключении, отправив предварительно ямщиков к черту, а старосту по лошадей, я принялся за свой завтрак, с переменою бифштекса на чай и чаю на бифштекс. Но вот уж чай кончен; от бифштекса остались одни полоски подлива, проведенных хлебом по блюду во всевозможных направлениях, а проклятый староста все — нет лошадей, да и только! К большей моей досаде, он тоже, вероятно, по примеру моего Ивана, пустился в утешения, но только не физические, а чисто моральные, вроде следующих: «что хоть ждать и скучно, зато лошади будут чудо; что не все же ехать, надо знать и отдых», и тому подобные глупости.

— Да к тому же, барин, — продолжал старик, — коли рубль-другой на водку, так мы вас провезем и напрямиком, пожалуй. Десяток верст вон из счета.

— Да уж разумеется напрямиком, — вскричал я с досадой. — Я терпеть не могу околесных.

— Оно так, да извольте видеть, по этой дороге-то, о которой я говорю вам, и днем перекрестившись, а уж в ночную пору и подавно.

— Да черт, что ли, там с причтом засел на дорогу?

— Черт не черт, а все полчерта с хвостиком. Лес, сударь, что твоя трущоба. Дорожка вьется как сатана перед светлым праздником. Здесь косогор, а там овраг, а тут такой поворот по окраине, что и едуци днем повернуть подумаешь. Да это все бы ничего. Две версты потрястись — не Бог знает что. Кони же у нас привычные: провезут и по жердочке. Да вот только чтоб в потемках-то не попасть на поганую тропу. А это не больно ладно.

— Что ж тут важного?..

— Важного-то ничего, только придется ехать мимо одного жилья... ну, то есть не жилья — кто из крещеных пойдет жить в такой пропасти? — а захолустья, где иной порой деются такие страсти, что и помянуть — дрожь берет!

— Разбойничий притон, что ли? — спросил я, усмехнувшись.

— Хуже, батюшка барин, хуже. На ворах все-таки крест есть. А то тут, правда не всегда, а один месяц в году об эту пору, живет какой-то, говорят, тоже вашей милости барин, роет могилы да варит кости умерших.

— Дурак! а что же делает ваша земская полиция?

— Оно то есть и нам тоже приходило в голову, да видно, исправникам не на все власть дана али рублевики слишком дешевы у этого окаянного. Только до сих пор на всякий донос их милости слышишь один ответ: молчите, дурачье, не ваше дело. Оно, конечно, не наше дело: пакостей от него не видать, людей не обижает. Да все-таки не стать ему жить не по-православному.

— А давно этот колдун живет у вас?

— Да лет десяток будет. Проживет себе месяц или около, да и уедет опять, а куда — Бог весть, словно в камской мох провалится.

В другое время я не стал бы поддерживать подобного разговора; но скука ожидания ухватила и за этот вздор, как за единственное возможное развлечение. Я снова спросил старосту:

— И никто не знает — кто он такой?

— Да разные слухи ходят об этом. Одни говорят, что он помешанный, другие — что кровавый грех лежит на душе его. А мне сдается, что он просто-напросто колдует, а может, и над кладом работает. Ведь известно вашей милости, что клад просто не дается; а коли еще срочный, так не диво, что барин тот приезжает и уезжает всегда в одну пору.

— Ну а в отсутствие его неужели не нашлось ни одного смельчака, который бы решился заглянуть в самое жилье?

— Как, батюшка, не быть; были такие сорви-головы, да что взяли? Видели только голые стены да угли в печи, вот и все тут!

Бог знает, скука ли долгого ожидания помutila мой рассудок или казацкая удаль подстрекнула — проехать ночью там, где и днем едут перекрестившись, как говорил староста, — только мне припала смертная охота — пуститься напрямик. К тому же учет десяти верст казался мне таким выигрышем, что для него можно было риск-

нужь и не на такие страхи. Тут невольная мысль пришла мне в голову.

— Но послушай, старик, — сказал я, — если все так бояться этого лесу, как же ты говоришь, что можно им проехать?

— Оно то есть изволите видеть, почему ж не проехать. Ведь вас будет трое, кони знатные, жилье же стоит несколько в сторону. А может быть, что оно теперь уж и опустело.

— Итак, любезный, найди мне ямщика, этакое, знаешь, посмелее. От черта у нас крест есть, а не с чертом и сами справимся.

В это время раздалось утешительные слова: «коня пришли, запрягать, что ли?» Благовестником был детина лет 22-х со смышленным лицом и с размахистою поступью.

— Поскорее, братец, поскорее. Да не ты ли повезешь меня?

— Коли в угодую вашей милости, так почему ж не прокатить доброго барина.

— Но ведь вот в чем дело, любезный. Я хочу вознаградить мою остановку и ехать не столбовой дорогой, а напрямиком.

— Оно то есть через страшный лес? Понимаю. Да ведь знаешь, батюшка-барин, дорога-то больно невидная, — сказал детина, почесывая затылок.

— Знаю, братец, все знаю и даю целковик на водку, лишь бы только ехать по этой дороге.

Мой детина замялся.

— Ну что ж ты, Сидор, али трусу празднуешь? — спросил его староста.

— Трусу не трусу, а все как подумаешь, что одна душа в теле, так неволей раздумье возьмет.

— Так ты отказываешься? — спросил я Сидора.

— Оно не то что отказ, да ведь кабы Бог помог миновать поганое место, так бы ништо себе, а то сам знаешь, на базаре другой головы не купишь.

— Ну, так пошел позови другого, не такого трусишку, как ты. Этот целковый — награда молодцу.

Сказав это, я вынул рублевик и бросил его на стол.

Глаза у малого просияли.

— А что, дядя Сергей, не попытать ли удачи? — спросил он, обращаясь к старосте.

— Вольному воля, брат Сидор. А ведь целковые не растут под каждой березой. Говори же скорее, вишь, барин торопится. А не то я пойду кликну Васютку Скосыря.

— Ну, уж так и быть. Только чур, барин, не выдавать, какова ни миня.

— В этом будь спокоен. Да у меня уж есть заговор от всякого страху, — прибавил я для того, чтоб скорее решить его.

— Неужто? Так давно бы и сказал так. Кони разом будут готовы.

— Ступай же, ступай скорее.

— Сей-час... а целковичек-то можно взять по дороге?

— Возьми, возьми, да торопись только.

— Мигом слажу. Э! Уж была не была! Пропадать, так не даром! — были последние слова Сидора при выходе его из избы.

Вскоре кони были готовы, багаж уложен. Осталось сесть и ехать.

— Ну-ка, благослови Господи! — говорил мой возница, садясь на козлы и подбирая вожжи. — Дядя Сергей, перекрести на дорогу.

— Со Христом, Сидорушка, со Христом! Да какова ни миня, не забудь только сказать: буди надо мною божия милость, отцово благословение и материна молитва.

— Ладно, дядя Сергей, ладно, не забуду.

Тут он приосанился, сдвинул набекрень свою поярковую шляпу и крикнул молодецким голосом: «Эй вы, залетные! Ударю!»

Кони рванулись грудью и понесли, как скорлупу, легкую тележку.

Меня утешала мысль, что страх опасного места заставит ямщика гнать без отдыха, и я крепко надеялся скорой ездой вознаградить скучную остановку. И точно: кони были чудесные, ямщик лихой. Обстановка вечера способна была рассеять хоть какое горе. Теплый воздух разносил душистые испарения цветов; голубое небо разливалось тихим, отрадным светом. Все настраивало душу на лад поэзии, вызывало мечты, нежило сердце. Прижавшись к подушкам, я принял положение с таким комфортом, какой только позволял незатейливый мой экипаж. Давно забыты были — и досадная остановка и вздорный рассказ старосты. Одно чувство самодовольствия напол-

вяло мою душу. Я потонул в мечты, или, лучше, дремал с открытыми глазами.

Не знаю, долго ли продолжалось это блаженное успокоение, как вдруг неожиданный толчок мгновенно разрушил весь мой комфорт и заставил обратиться к внешнему миру. Было уже довольно темно, так что глаз с трудом мог различить дорогу, или, скорее, колею, по которой катилось колесо телеги. Свежий ветер разбудил спавший лес, и гряда туч успела уже застлать две трети неба.

— Что, далеко еще до станции? — был мой вопрос ямщику.

— А кто его знает? Вишь, здесь верст нет. А кажись, за половину перевалили.

— Но хорошо ли ты знаешь дорогу?

— Как не знать. Не раз случалось езжать здесь порожняком.

— Так что ж ты не стегнешь лошадей! Они идут у тебя почти шагом.

— Стегнуть-то немудрено, да вишь, барин, какая темень. Того и гляди, в овраг сядешь. Вот даст Бог, проедем поганую тропу, так дорога опять пойдет гладкая.

Делать было нечего. Оставалось уважить такие резоны и плестись несколько времени шагом.

Между тем частые толчки телеги очень чувствительно докладывали мне, что мы еще не миновали поганой тропы. Вот бы хорошо-то было, подумал я, если б судьбе захотелось прокатить меня по этой тропинке!.. Не успела эта мысль проскользнуть в голову, как вдруг — крик! И я уже кончил мысль свою в нескольких шагах от телеги. Признаюсь, никогда действие не следовало так быстро за мыслью. Верно, злодейка судьба подслушала тайную думу и, как услужливая особа, постаралась угодить мне самым быстрым исполнением. Спасибо хоть за то, что падение было счастливо. В минуту я был на ногах и подбежал к телеге, под которой копошился мой Иван, бранясь по русскому обычаю. Ямщик успел уже подняться, отделавшись легким ушибом, и искал свою шляпу. Умные лошади верно догадались, что с седоками случилось что-то особенное, и стояли как вкопанные.

— Ну, брат Сидор, — сказал я полушутя, полудосадуя. — Я нанял тебя везти, а не бросать с телеги.

— Да что ж, барин, делать, коли случилась такая

притча. Кажись, в прежнее время овражек этот был дальше; верно, лешего угораздило передвинуть его на самую дорогу.

— Это, братец, очень глупая шутка с его стороны. Но уж дело сделано. Бока мы потеряли, надо теперь приняться за телегу.

— Надо-то надо, да уж вы извольте сами придумать — как чему быть тут, а я от дела не прочь.

Высказав такую премудрую истину, Сидор заложил обе руки за опояску и ждал моего приказа.

Признаюсь, знание мое в этом случае сделало преглупую физиономию; к счастью, в это время Иван, принявший уже вертикальное положение, обратился к ямщику с вопросом: топор, что ли, али веревку надобно?

— Оно бы и топор и веревку не мешало, да лиха беда, где взять их?

— Поищем, так найдем, — сказал Иван таким уверенным тоном, который ясно говорил, что у него обе эти вещи в запасе.

Не зная толку в подобных делах, я предоставил им все планы и соображения о починке телеги, а сам отошел в сторону и сел на свалившееся дерево. Можете угадать — о чем я думал? С одной стороны, досада на прихоть — ехать проселками, когда была столбовая дорога, с другой — опасение просидеть целую ночь, как рак на мели, в созерцании подвигов Ивана с Сидором около тележного колеса — все это очень неприятно шевелило мою душу и лишало ее обычной веселости. Тут же таинственный житель страшного леса пришел мне на память; воображение работало как добрый поденщик и столько нарисовало мне мрачных картин — с могилами и черепами, что я невольно проклял окаянного старосту, которому пришла блажь — наговорить мне на ночь всякого вздору.

Но такие приятные мечты не мешали мне, однако ж, время от времени справляться об успехе работы. Ответы были очень успокоительны. Мой Иван оказался таким мастером тектонского дела, что я готов был дать ему докторский диплом во всем, что только относится до топора и веревки.

Между тем темнота увеличивалась; светлая полоса неба обозначалась на отдаленном горизонте едва приметною нитью. Ветер крепчал и порой выводил такие рула-

ды, что озадаченный слух никак не мог решить — какую гамму выбрал г. Стрибог для настоящего концерта. Но все это была только прелюдия той шутки, которую судьба намерена была разыграть со мною в эту ночь. Едва только я услышал радостный отзыв Ивана: «Готово, ваше благородие, садитесь», — вдруг небо открылось и целый поток дождя упал на наши головы. Ямщик признал за лучшее передать вожжи Ивану, а самому вести коренную под уздцы. Но то ли дорога шла беспрестанными поворотами, то ли ямщик искал более надежной тропы для телеги, только мы беспрестанно виляли вправо и влево. Один раз даже показалось мне, что ямщик повернул лошадей почти кругом. Спрашивать его было мало толку, а указывать — и того меньше. Призвав на помощь терпение, я завернулся в шинель и предал себя на волю судьбы.

И точно, глазам было делать нечего: непроницаемая мгла застилала даже самые близкие предметы. Зато слух был потрясен до последней нервы. Признаюсь, и было чего послушать! Ветер шумел как бешеный. Все дикие голоса, все резкие звуки, какие только можно придумать для адской музыки — вой, свист, треск, стон, — все это сливалось в таких раздирающих диссонансах, что слух, привыкший и к буре битв, терпел мучительную пытку. Изредка отзыв колокольчика и голос ямщика, либо Ивана, выдавались на этой чудовищной массе звуков непогоды, и мысль — что тут живые существа — вливалась в душу каплю отрады; но тут же другая мысль о положении этих существ — иссушала эту каплю дочиста. Я даже мысленно желал услышать перекат грома, но не для того, чтобы прибавить новый диссонанс к этому furioso бури; нет! В голосе неба я услышал бы отрадное: не бойся! А блеск молнии показался бы мне утешительным взором небес. Но небо было обложено тучами: оно не хотело принять участия в судьбе бедных путников.

Промоченный до костей, насквозь прохватываемый холодным ветром, я чувствовал, как живительная теплота оставляла мое тело, и решился идти пешком, чтобы хоть немного согреться. К тому же более великодушная мысль — вполне разделить неудобства моих спутников — заставила меня в ту же минуту исполнить мое намерение. Я выпрыгнул из телеги и, придерживаясь за облучок, по колено в воде, принялся месить грязную дорогу. В дру-

гое время положение мое вызвало бы целый ряд шуток и веселости. Ведь вы знаете причудливый мой характер, который жаждет тревоги, чтобы отдохнуть от утомительного спокойствия. Но теперь каждая минута замедления удаляла меня от цели поездки; а могло быть, что эта самая минута нужна была семейству моего любимого брата.

— Стой, — закричал вдруг ямщик испуганным голосом. — Беда, да и только!

— Что такое? — спросил я, тоже не совсем спокойно.

Вместо ответа ямщик стал причитать: буди надо мною божия милость, отцово благословение, материна молитва.

Сомневаться было нечего: мы попали-таки на поганую тропу.

Ну, что ж, думал я, пить так пить до дна. Заключение спектакля должно же согласоваться с целой пьесой. Вперед!

— Слава те господи, — вскричал в свою очередь мой Иван. — Кажись, жильё. Вон и свет мелькает.

— Будет уж тебе слава те Господи, — сказал ямщик, дрожа от страха.

— Где, где, Иван? — спросил я казака, тщетно напругая свое зрение, чтобы увидеть огонь.

— А вот здесь, направо, ваше благородие. Вон! Вон! Взглянув в ту сторону, куда показывал Иван, я увидел огонь. Как слабая искра, он то вспыхивал, то потухал, и вместе с ним оживала и умирала моя надежда.

— Сидор! Правь лошадей на огонь!

— Сохрани меня Господи! Что ты, что ты, барин! Да разве ты не знаешь, что это за место?

— Знаю, братец, знаю. Но я так иззяб, что готов погреться хоть у жерла самого ада. Ступай.

— Что хотите, а я туда ни за што не поеду, — сказал ямщик с решимостью отчаяния.

— Ну, так мокни здесь как бесхвостая курица. Иван, держи вправо!

Казаку не нужно было повторять приказа, тем более что он, кажется, ничего не знал об этом жильё. А то, по русскому обычаю, страх к колдовству, верно, привел бы в искушение военную дисциплину.

Телега тронулась. Ямщик против воли пошел за нами, ежеминутно крестясь и читая молитвы. Вскоре вместо одного огонька появилось несколько. Я даже подумал, что мы попали в деревню. Но, подъехав ближе, уви-

дел, что огни выходили из окон одного здания. Через четверть часа лошади уперлись в забор.

— Ступай, Иван, ищи ворот и стучись напропалую.

И между тем как мой казак искал ощупью ворот, я подошел к дому и взглянул в окно. Первый предмет, поразивший меня, был почти исполинского роста мужчина, в черном платье, стоявший у затопленного камина спиной к окну. Руки его были сложены на груди, голова поникла. Отблеск, падавший от огня, освещал довольно большую комнату, в которой стол, диван и несколько стульев составляли всю мебель.

В это время раздался стук в ворота. Но мужчина, погруженный в мысли, казалось, не слышал его или не хотел обратить внимания. Однако ж при повторенных ударах он медленно приподнял голову и, обратясь к окну, стал, казалось, прислушиваться. Очерк полуобращенного лица его рисовался мрачным и суровым силуэтом, который не подавал мне большой надежды на радушный прием.

Между тем удары в ворота сыпались градом, раздаваясь даже под воем бури. Незнакомец подошел к дверям и, казалось, кого-то кликнул. Потом, отдав приказание, снова воротился в комнату.

Я подошел в это время к воротам, где Иван несколько времени уж пробовал силу казацкого кулака.

— Кто там? — раздался изнутри сильный голос с приметною досадою.

— Казачий есаул Безруковский, — отвечал мой Иван.

— Что надобно?

Я взялся отвечать.

— Прошу небольшого местечка хоть на кухне — обсохнуть и обогреться. Два часа мы под дождем и совсем потеряли дорогу.

Несколько времени ответа не было.

— Извольте подождать, — начал снова голос, несколько благосклоннее. — Я сейчас доложу барину.

Через несколько минут застучал засов, и человек высокого роста с угрюмой физиономией, сколько можно было рассмотреть при свете фонаря, отворил ворота.

Телега въехала во двор. Ворота затворились и, человек с фонарем, обратясь ко мне, сказал довольно почтительно:

— Пожалуйста к барину.

— Сейчас. Только, пожалуйста, братец, дай уголок моему казаку и ямщику.

— Пусть они отпрягут лошадей и вынесут ваши вещи. А там я проведу их на кухню.

Успокоенный его обещанием, я вошел в комнату. Незнакомый мужчина сидел теперь в креслах. При входе моем он немного обернулся и на мой поклон отвечал легким движением головы.

— Извините меня, милостивый государь, что я потревожил ваше уединение. Но я сбился с дороги, промок до костей; другого жилья поблизости не нашлось; поневоле должно было обратиться к вашему гостеприимству.

— Оставьте извинения, г. офицер, — сказал он довольно холодным тоном. — Нужда, говорят, иногда выше закона. Располагайтесь здесь, как бы меня не было. Я жалею только о том, что теснота моего помещения лишает меня удовольствия — не мешать вам своим присутствием.

Ну, подумал я, начало обещает немного. Впрочем, положение мое было такого рода, что самый грубый прием не мог уколоть моего самолюбия: лишь бы найти угол и согреть свои бедные члены.

В этих мыслях, не отвечая на привет хозяина, я сбросил с себя мокрое платье и отдал его Ивану, который в это время вошел с слугой в комнату.

Молчание, казалось, было девизом этого дома. Не желая его нарушить, я ходил по комнате, а хозяин мой, облокотившись на кресло и положив голову на руку, задумчиво смотрел на камин и, по-видимому, совсем забыл о моем присутствии.

Вскоре, против всякого ожидания, слуга незнакомца принес самовар, молча поставил все нужное на стол и удалился. Приличие требовало узнать — действительно ли для меня это угощение; но, посмотрев на мрачного моего хозяина, я почел за лучшее молча приняться за хозяйство. Я небольшой любитель чая; но два часа хождения под дождем, на резком ветре, в грязи по лодыжку придали ему такой вкус, что я готов был предложить его жителям Олимпа вместо амброзии. Стаканы исчезали так же быстро, как наливались. Вскоре отрадная теплота разлилась по всему телу, и я находил, что настоящее мое положение не лишено поэзии.

Напившись чаю, я набил дорожную мою трубку и от нечего делать стал производить наблюдения над моим хозяином.

Ему, по-видимому, было не более сорока лет; но болезненное выражение лица и резко выдававшиеся морщины говорили ясно, что буря жизни состарила его преждевременно. Но сам ли он был виною своих несчастий или провидение очищало его душу в огне искушений — это оставалось для меня пока тайной. Только одно казалось несомненным, что он боролся мужественно, и если изнемогал в борьбе, то для того только, чтобы встать с новой силой. Я не говорю уже, что вздор, рассказанный мне глупым старостой, рассеялся при первом взгляде на это, хотя суровое, но благородное лицо, в котором сам Лафатер не нашел бы ни одной черты злобы или притворства. Он был в глазах моих жертвой ошибки или обмана, но никогда — преступления.

Наблюдения мои прерваны были приходом слуги, который тихо и почтительно подошел к своему господину и, наклонившись почти на ухо, сказал: «Скоро будет час, сударь!»

Незнакомец вздрогнул.

— Хорошо, поди спать, — сказал он, проведя рукой по лбу, как бы отгоняя какую-то беспокойную мысль.

Слуга вышел.

Незнакомец тяжело вздохнул.

— Итак, снова иду беседовать с тобой, мой ангел! Снова иду молить за тебя вечное правосудие!

Слова эти, произнесенные довольно явственно, отзывались такой грустью, что, казалось, вся душа его трепетала в этих звуках.

Обернувшись от камина, незнакомец увидел меня. Он на минуту остановился и с каким-то недоумением меня осматривал.

— Да, — прошептал он про себя, как бы припоминая что-то, — это тот... да! — и потом, помолчав немного, прибавил: — Ну, так что же? Неужели я для него должен забыть свой долг? — Тут он оборотился ко мне и сказал: — Спокойной ночи! Желал бы я очень, чтоб вы теперь спали сном мертвого.

Вы легко поверите, что последние слова отзывались не слишком весело в моем слухе.

— Извините меня, — сказал я ему. — Если присутст-

вие мое вас беспокоит, скажите слово, и я уеду сейчас же, хотя бы пришлось провести целую ночь в каком-нибудь овраге.

Слова мои, казалось, смягчили его. Он посмотрел на меня более с грустью, чем с неудовольствием, и сказал:

— Нет, нет, оставайтесь здесь. Я не гоню вас. Мы ведь сошлись не для знакомства. Утром мы будем далеко друг от друга и вряд ли когда увидимся. Об одном прошу вас, забудьте, что вы были здесь, и пусть ни одно воспоминание об этой ночи не тревожит вашего счастья. Прощайте!

Я не мог преодолеть себя.

— Тысячу раз простите мою нескромность. Но если уж судьба, против моего и вашего ожидания, соединила нас хоть на одну минуту: почему ж в этом случае не видеть указания на лучшее? Правда, я молод; но в сердце моем всегда было участие к страданиям подобных, и язык мой, может быть, и для вас найдет слово утешения.

Незнакомец посмотрел на меня пристально.

— Утешения, говорите вы. Как легко говорят это слово! Людские утешения — хороший пластырь только для домашнего обихода. Но если в душе кипит ад, если сердце точится тысячью жал, упреков и угрызения — что значат все слова в мире! Разве вы можете хоть один миг прожить чужой жизнью? Разве в вашей власти — испытывать на самом себе муку больного, которого вы так смело беретесь лечить?.. Утешения! Нет, молодой человек, пусть болезнь эта всем острием своего жала вопьется в собственное ваше тело, и только тогда, если еще голос участия не замолкнет под воплем боли, беритесь утешить несчастливца.

Что-то особенно поразительное было в этих звуках скорби. Напрасно я искал слов для продолжения разговора; оставалось молчать, и только взором выразить мое участие.

После короткого промежутка молчания незнакомец снова начал:

— Но все-таки благодарю вас за доброе намерение. Благодарю не столько за себя — вы утешить меня не можете, — а за других, которые в свою очередь услышат от вас слово участия и, может быть, найдут в нем целительный бальзам для своего сердца. Мое же утешение — там, — сказал он, указывая на небо. — Верховный судия

есть вместе и ходатай! Он знает — когда мне изречь прощение и исцелить это страждущее сердце. А до тех пор пусть кара гнева его всей силою тяготеет над головою убийцы!.. Вы содрогаетесь? Да, молодой человек, перед вами убийца. На этом самом месте отнял я жизнь прекрасного создания! Этой рукой брошен пагубный свинец в грудь той, которая была для меня дороже жизни и счастья! И с того дня — нет мне отрады. Я скитаюсь как Каин между живущими. Закон людей оправдал меня; но есть другой закон — безжалостный, неумолимый — закон совести. И он-то мстит мне и при свете дня и во мраке ночи. Теперь проклинайте меня, если можете. Я еще живу — значит, мера проклятий еще не исполнилась.

Сказав эти слова, незнакомец захватил свою голову обеими руками и быстро ушел в другую комнату.

До сих пор еще этот вопль страдальческой души обливает холодом мое сердце. Можете представить себе, каково было мое положение в настоящую минуту. С стесненным сердцем я бросился на диван, но напрасно старался успокоить свое волнение. Ужас преступления, может быть, и ненамеренного, невольное участие к душевным страданиям несчастливца, мысль о том, что ждет его в сокровенном будущем, — все это тяжелым гнетом давило мою грудь. Но что не могло сделать усилие рассудка, то произвело простое физическое утомление. Я стал засыпать.

Вдруг сквозь тонкий сон почуял я запах ладана; мгновенно мысль о гробе, об умерших стрельнула в голову и в сердце. Сна как будто не бывало. Я быстро присел на постеле и оглядывался кругом себя, желая найти разгадку. Вскоре слух, возвративший свою деятельность, поражен был глухим протяжным чтением: голос, казалось, выходил не из груди, а из могилы. Решившись во что бы то ни стало проникнуть тайну этого полночного чтения, я воспользовался небольшою щелью в стене перегородки, отделявшей меня от таинственного чтеца, и приложил к ней зоркий глаз. Картина, представившаяся глазам моим, была поразительна. Две лампы ярко освещали иконы Спасителя и Богородицы; под ними курилась небольшая кадьница с ладаном. Посреди комнаты поставлено было что-то вроде налоя, и перед ним, с зажженной свечой в руке стоял несчастный незнакомец и молился. Теперь очень явственно доходили до моего слуха печальные сло-

ва надгробного канона. Можно было думать, что в молитве о упокоении своей жертвы он надеялся найти спокойствие и для своей совести. Каждый раз, как произносит он: упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея, он обращал глаза к иконам и делал медленно и твердо крестное знамение. Но когда он дошел до места, самого трогательного в целом каноне: со святыми упокой — голос его задрожал; он пал на колени, едва выговаривая слова, задушаемые рыданием. Я не мог вытерпеть. Стесненное мое сердце излилось слезами. Я осторожно сошел с дивана и пал тоже на колени перед образом. Чувствовала ли страдальческая душа его в это время, что вовсе незнакомый ему человек, с которым судьба печально столкнула его на одну минуту, молился за него, как за брата, как за самого себя; молился за несчастную жертву его злодейства или ослепления. Нет, тот не имеет сердца, тот христианин только по имени, кто остается равнодушным в эти торжественные минуты беседы страждущей души с богом! И за себя ли молился он? Себе ли он просил прощения? Нет, он, казалось, безропотно предал себя гневу божественного правосудия; молитва его за нее, может быть, им любимую и от него же погибшую жертву.

Успокоенный молитвой, я снова подошел к перегородке. Незнакомец все еще продолжал чтение канона, однако ж более спокойно, чем прежде. Я мысленно повторял с ним те слова молитвы, которые доходили до моего уха. Наконец, голос на минуту замолк; казалось, страдалец собирал все силы, чтобы произнести раздирающие слова замогильного прощания: вечную память! Но тут все мужество его оставило; он упал на пол и долго лежал ниц, вздрагивая по временам всем телом.

Я не мог более видеть этой сцены и отвернулся. Последовало молчание. Когда же, почти через полчаса, я взглянул в отверстие, страдалец уже сидел в креслах, опустив голову на руки, лежавшие на коленях.

Утомленный душой и телом, я бросился на диван и вскоре погрузился в глубокий сон.

День был уже в полном блеске, когда я проснулся. Яркое солнце сияло всей силой светящихся лучей своих. Казалось, оно хотело вознаградить природу за вчерашнее ее

страдание. На столе кипел самовар, и Иван, как он сказал мне после, несколько уже раз входил в комнату, но, не имея приказания, боялся меня разбудить. Узнав, что хозяин еще не выходил, я старался всеми силами, чтобы не потревожить его покоя, может быть, единственной отрады в несчастном его положении.

Во время чая я нечаянно увидел на стене завешенную картину. Мысль, что это, может быть, портрет жертвы, подстрекнула мое любопытство. Я тихонько подошел к картине и приподнял завесу. Даже и теперь живо помню ее содержание. Картина изображала дикую местность. Солнце садилось за лесом. Человек в охотничьем платье держал за уздцы двух лошадей. Прекрасная женщина, с бледным лицом, с полузакрытыми глазами, прижав руку к груди, лежала на траве. Высокий мужчина, на коленях, с выражением отчаяния на лице, держал в руках своих другую ее руку. Вдали лежало изломанное ружье. Несколько человек с заплаканными глазами доканчивали картину. В человеке на коленях я сейчас же узнал моего хозяина; умирающая женщина, вероятно, была его жертва.

Но напрасно в мастерском очерке картины я старался угадать смысл содержания. Тут не могло быть убийства в настоящем смысле. Этому противоречила окружающая группа людей. Правда, изломанное ружье и кровь под рукою женщины давали мысль, что выстрел был орудием смерти. Это подтверждали и слова незнакомца, сказанные им вчера в порыве увлечения. Но как случилось это? Какие обстоятельства сопровождали эту драму? Этого я не мог объяснить себе никакими догадками.

Я столько углублен был в рассматривание картины, что вовсе не замечал Ивана, который пришел мне напомнить, что лошади готовы. Наконец, он принужден был дотронуться до моей руки, чтобы обратить мое внимание.

— Хорошо, уложи мои вещи. Я сейчас выйду. Да скажи, чтобы колокольчики были подвязаны.

Когда Иван вышел, я вынул записную книжку и, оторвав листок бумаги, написал карандашом следующие строки к хозяину:

«Я уезжаю не простившись с вами. Это было ваше желание. Но будьте уверены, что каково бы ни было ваше преступление, или, скорее несчастье (вы не способны быть преступником), участие мое к вам будет всегдашнее»

думою моего сердца. Свято исполню желание ваше — хранить молчание. Но вы не можете требовать, чтоб я когда-нибудь мог забыть о вашем положении: это выше сил моих. Примите искреннюю благодарность за приют от непогоды, и да поможет вам Бог также найти скорее приют от душевной бури вашей! Б.».

Я оставил записку на столе и, мысленно пожелав спокойствия несчастливцу, вышел из комнаты. Мы тихо выехали со двора. Невольный взгляд, брошенный на окрестность, был поражен сходством картины с окружающим меня ландшафтом. Так вот что значили слова: «на этом самом месте я отнял жизнь прекрасного создания», думал я, грустно оглядывая дикую окрестность. Поворот дороги, закрыв обитель несчастья, представил глазам моим другие виды, более веселые. Я вздохнул легче. Светлый день, сиявший с безоблачного неба, отразился и в моих думах; дождевые капли, кой-где сохранившиеся на листьях дерев и на траве, сверкали в душу мою искрами утешения. Вскоре я готов был слушать даже разговор ямщика с моим Иваном о проведенной ночи. К этому присоединилось желание узнать что-нибудь от них о моем хозяине.

— Нет уж, сохрани Господи, чтобы я в другой раз поехал на ночь по этой дороге, — говорил ямщик своему товарищу. — Натерпелся же я страху вдоволь! Легко сказать, всю ночь пролежал на печи не смыкая глаз. Того и думаешь, что вон этот немой верзило подойдет к печи да пырнет ножом под самые вздохи. А ты, брат, хранишь себе во всю ивановску, ино злость берет.

— А что ж мне было делать, — отвечал казак с невозмутимым спокойствием. — Слуга молчит, ты залез в самый угол. С собой, что ли, толковать будешь? Да этак, пожалуй, скука возьмет.

Желая дать другое направление их разговору, я спросил ямщика:

— А что, Сидор, ты никогда не слыхал, что это за барин такой?

— А леший его знает. Вишь, мы здесь новосельные. Нет и трех лет, как барину нашему пришла блажь выселить нас на это место из старой деревни. Там, говорит, земли в обрез, а здесь, говорит, хоть кататься по полю. Я же у вас, говорит, и почту устрою. Заживете, говорит, припеваючи.

— Да ведь слухом земля полнится, Сидор. Вероятно, вы что-нибудь слышали от соседей.

— Слыхать-то слышали, да только правды-то не могли добиться. Вишь, говорят, что в прежнее время здесь была его вотчина. Да и теперь вот все это место по самую поганую тропу ему принадлежит.

— А не знаешь, зачем он живет один в этом захолустье?

— Слышал и об этом, да что говорить на ветер. Я хоть и не совсем верю, что он колдует... какое колдовство в нашу пору? Острог хоть какого колдуна выведет на свежую воду... Да все же небольшое веселье столкнуться с ним в ночную пору. Кто знает, не ровен час, захочет вспомнить старину да влепит в лоб свинцовую горошину, так небось пройдет охота за ним подглядывать.

— А разве он сделал какое убийство?

— Да так немножко... Застрелил молодую свою хозяйку.

Так вот кто была его жертва! Узел начинает распутываться.

— А неизвестно — за какую вину?

— А бог их ведает. Ведь чужая душа — потемки.

— Да как же суд упустил это дело?

— Да, вишь, говорят, что убил-то ее ненароком. Ну, слава тебе, Господи, — вскричал он, перекрестившись, — вот и на прямую дорогу выехали. Ей вы, соколики! Сгорки на горку, даст барин на водку!

Лошади понеслись. Ямщик затянул бесконечную песню. А я снова предался мыслям: вы угадаете предмет их.

Безруковский замолчал.

— И только? — спросил Академик.

— Чего ж тебе еще больше. Я исполнил свою задачу: рассказал, что случилось со мною в страшном лесу.

— Но послушай, приятель, это нечестно с твоей стороны так обмануть ожидание. Ты в этом рассказе, как хочешь, стоишь на втором плане. Главное лицо — твой незнакомец. А тут необходимы пояснения.

— А если я больше не узнал ни слова?

— Это плохо; но на твоём месте я сам приделал бы конец к рассказу. Терпеть не могу ничего неоконченного!

— За то и концы твои притащены, как говорят, за волосы, держатся на прилепе, — сказал Таз-баши. — Я сам не охотник до недосказов; но уж, право, не возьмусь

надевать сапоги им на ноги. Пусть идут босиком, колы родной отец так пустил.

— Я только жалею о том, что неизвестна будущность несчастливца, — примолвил Лесняк. — А хотелось бы знать — кто остался победителем в этой душевной борьбе — религия или отчаяние.

— А может быть, нашлась и более существенная утешительница, — прибавил Немец с легким сарказмом. — Впрочем, это было бы хорошо для него, а не для повести.

— Значит, большинство голосов в пользу продолжения, — сказал Безруковский. — Быть так. Я хотел только узнать — не утомил ли вас моим рассказом. Итак, извольте слушать окончание.

— Военная хитрость, — сказал Таз-баши с улыбкою.

— Впрочем, не беспокойтесь. Конец будет непродолжителен.

Безруковский взял сигару и стал продолжать свой рассказ.

Года через два после рассказанного случая мне пришлось по поручению начальства быть в городе С. Исполнив поручение скорее, чем предполагал, я имел время на обратном пути завернуть к одному моему приятелю — помещику. Так как спешить было нечего, то я охотно принял радушное его приглашение — провести день-другой в его семействе. Решимость моя вознаграждена была нечаянным открытием. Войдя в кабинет хозяина, я неожиданно увидел знакомую мне картину памятного леса. Верно, удивление очень заметно выразилось на моем лице, потому что приятель мой невольно спросил — разве я знаю сюжет этой картины?

— И знаю и нет, — отвечал я ему, не могши оторвать глаз своих от ландшафта. — Но каким образом эта картина у тебя? Два года назад я видел ее далеко отсюда.

— Тот, кому она принадлежала, вот уж год кончил грустную жизнь свою.

— Покой господи его душу! — сказал я, невольно перекрестившись.

— Из твоего участия я заключаю, что ты знал бедного моего родственника А.

— Очень мало, — отвечал я, и, подумав, что смерть А. разрешила меня от клятвы хранить молчание, я рас-

сказал приятелю моему все подробности нашей встречи.

— Теперь твоя очередь, — сказал я ему. — Объясни мне, пожалуйста, всю эту историю.

— Короче и проще ее быть ничего не может, — отвечал мой приятель. — А. был сосед по моему имению. Еще в ребячестве мы познакомились; вместе вступили в службу и почти в одно время ее оставили, — я по делам моего имения, а он по живому своему характеру, для которого всякое принуждение было невыносимо. Исключая этого пункта, А. был человек благородный во всех отношениях. Другие видели только, как он рыскал по полям за зайцами; но мне, как искреннему его приятелю, были известны все прекрасные его действия в отношении не только к своим крестьянам, но решительно ко всем, кто только терпел нужду. Владелец большого имения, он смотрел на золото как на средство золотить жизнь (собственное его выражение), то есть как можно более доставлять удовольствия себе и другим. Года через три холостой своей жизни, он случайно увидел девицу — прекрасную, умную, дочь одного соседнего помещика — и влюбился в нее без ума. Он снискал ее взаимность, сделал предложение и получил ее руку. Казалось, все ручалось за продолжительность их счастья — довольство, молодость и взаимная любовь. Но судьбы небес неисповедимы! Зерно самого этого счастья заключало уже в себе зародыш будущих бедствий. Не любил он так страстно, он все бы с потерей ее рано или поздно нашел утешение. А то самая эта любовь, составлявшая все счастье его жизни, и довела его в последствии до того положения, в котором ты его видел. Но станем продолжать.

Ровно через год последовала катастрофа. Желая отпраздновать годовщину своей свадьбы всеми удовольствиями, А. в этот день, между прочим, устроил охоту. Все шло как нельзя лучше. День был чудесный; гости веселы, молодые супруги не могли налюбоваться друг другом. Вот уж мы, исхлопав порядочную долю зарядов, возвращались домой веселые, беззаботные. Там ожидал нас богатый ужин, фейерверк и музыка. А. ехал подле жены, которая, кажется, никогда не была так хороша, как в этот роковой для нее час. Движение разлило румянец на полных щеках; губы горели избытком жизни, глаза были полны неги и удовольствия. Порой долетал до нас звонкий смех ее, вызванный шуткою мужа или проделкою ко-

того-нибудь охотника. Подъезжая к одному кособоку, А. предложил жене своей проскакать на гору. Хлыстики взвились, и лошади понеслись во весь карьер. Тут несчастная мысль пришла в голову А. Верно, желая придать более эффекта своему наездничеству, он вздумал разрядить ружье на всем скаку. Но едва только он взвел курок, вдруг лошадь его споткнулась на передние ноги, выстрел грянул — и прямо в несчастную женщину. Она вскрикнула и пошатнулась. Мы бросились к ней стремглав: кто сдерживал лошадь, кто снимал ее с седла. Осторожно положив ее на траву, мы в ту же минуту послали одного служителя за доктором, а другого в поместье за экипажем. И между тем как посланные понеслись во весь опор, я, по праву родственника, разорвал ее корсаж и старался унять текущую кровь. Надежда спасти несчастную не совсем еще нас оставила. Близость города, а следовательно и пособий, питала эту надежду. Но приезд медика потушил последнюю ее искру. «Заботьтесь больше о живом, — сказал он с мрачным видом, — а здесь скоро нужно будет другое что, а не микстура». Эти безнадёжные слова раздались как смертный приговор в ушах наших. Вид умирающей женщины, за минуту еще полной жизни и счастья, столь пленительной своею красотою и любезностью, леденил кровь в жилах. Но что было с несчастным А., невольным убийцей своей жены? Я не найду слов описать его отчаяние. В первые минуты он стоял как окаменелый, опираясь на проклятое орудие убийства. Казалось, он не понимал, что происходило перед его глазами. Но, когда омраченный рассудок несколько возвратил свое действие, первым движением его было ударить ружье о землю, что он сделал с такою силою, что оно разлетелось пополам. Вы видели эти геркулесовские плечи. Придайте к тому порыв отчаяния — эту нравственную силу, которая иногда поспорит с физическою, — и вы увидите, что я не преувеличиваю. Тут он бросился к жене своей и схватил ее руку, опущенную на траву. Он силился произнести какие-то слова, но отчаяние задушало их в груди, и только невнятные звуки вылетали из его губ. Но зачем распространяться в изображении этой мрачной картины несчастья? Мы схоронили несчастную женщину; целый месяц поочередно сидели у постели больного А. и, смотря на его страдания, не один раз дерзали просить Бога, чтобы он прекратил жизнь его. Но

судьбы Божии определили иное. Крепость телесных сил превозмогла жестокою нервическую горячку. А. ожил для новых страданий. Зная религиозное его чувство, мы пригласили одного почтенного священника, который почти два месяца был при А. неотлучно. Он молился с ним на могиле умершей, терпеливо слушал его беспрестанно повторяемые рассказы о прошлом, пользуясь всяким случаем влить в душу его утешения религии. По желанию А., священник доставил ему книгу с молитвами о усопших. С этих пор у несчастного не было другой молитвы. Часто, встав с постели в глубокую полночь, он уходил в свой кабинет и там читал похоронный канон. Казалось, что эти молитвы, — трогательное излияние чувств веры и скорби, — доставляли ему облегчение. По крайней мере, после них он становился спокойнее и забывался сном.

Спустя год после потери жены А. продал свое имение, не имея сил жить в местах, бывших свидетелями прежнего его счастья, а сам отправился в небольшую деревню в другой отдаленной губернии. Но, продавая свое поместье, он удержал за собою небольшой участок земли, где он сделался невольным убийцею. Здесь, на самом месте печального события, он построил себе небольшой дом, и каждый год в июле месяце, когда случилось несчастье, он ездил туда с одним преданным ему слугою и проводил несколько дней в тоске и молитвах. В это время он был решительно недоступен, и ваше пребывание у него я считаю особенною жертвою его самоотвержения. Остальное время, как я сказал, он жил в своей деревне, мало заботясь о своем существовании.

В прошлом году я получил письмо от его управителя, который писал мне, что барин очень нездоров и просит меня к нему приехать. Я в тот же день собрался в дорогу, спеша застать его в живых. А. действительно был очень болен. Продолжительные страдания мало-помалу истощили этот крепкий состав и приблизили его к давно желанной могиле. Он желал умереть в своем уединении и просил меня быть исполнителем последней его воли. Пригласив того же почтенного священника, который был утешителем его в первые дни несчастья, мы отправились в известную вам пустыню. И здесь-то, недели через две по приезде, напутствованный утешением религии и слезами дружбы, несчастливцев тихо угас на моих руках. Последние слова его были: «Наконец, я вижу тебя, мой ан-

гел! Ты исполнила мою просьбу — пришла за мною — руководить меня в этом пути. Дай же твою руку и веди меня к общему нашему Отцу и Богу».

Придав тело его земле, подле гроба жены, я, согласно с завещанием умершего, выхлопотал позволение выстроить небольшую церковь на месте его пустынного дома. И теперь крестьяне перестали бояться этого места и вместе с священником усердно молятся о успокоении душ Александра и Марии.

После небольшого молчания со стороны всех собеседников Безруковский сказал:

— Рассказ мой кончен. Прошу не прогневаться, господи, если что пересказано или недосказано. Притом же вы знаете, что первый блин всегда комом. Погодите, со временем научусь стряпать вкуснее.

— Конеч у тебя лучше начала, — сказал Лесняк, сидевший у стола, подперев рукою голову. — Религиозный элемент для меня всякую картину облакает особенным светом. А где свет небес, там житейский мрак — ничто. Умри твой А. жертвою отчаяния — Боже мой! Сколько бы жизнь его потеряла цены своей! Он, может быть, возбудил бы сожаление; мы жалеем даже о животных; но нашел ли бы он это участие, которое сердце наше питает к высокой доблести покорного страдания? <...>

— Но ради Бога, господи, — прервал Таз-баши, — говоря о таких предметах, вы заставите нас спрятать в карман наши рассказы. По мне одно — либо рассуждать, либо рассказывать. Если этот вечер должен быть посвящен рассказам, то рассуждения — в сторону. Для них мы выберем другое время, к которому и я, может быть, поумнею. Посмотрите, как задумался Немец. Впрочем, не трудно угадать, о чем он думает.

— Любопытно видеть опыт твоей проницательности, — сказал Немец, подняв голову.

— Ты думаешь: если не о плане своей повести, так, наверное, о каких-нибудь недомолвках в рассказе почтенного нашего хозяина. Ну что, не правда ли?

— Первое — ложь; а во втором есть несколько правды. Я точно думал о том — найдется ли в наше время муж, подобный А., который десять лет не мог утешиться в потере жены?

Собеседники улыбнулись.

— Но тут, дорогой мой Немец, дело не о простой потере, — возразил Академик. — А угрызения совести, я думаю, существуют и в наше время.

— Спорить не буду, может быть, — отвечал Немец, приподняв слегка нижнюю губу.

— Кто же теперь станет рассказывать? — спросил Безруковский, посмотрев на своих гостей.

— Только не я, — сказал Таз-баши. — Мои рассказы будут десертом после сытных ваших повестей. Впрочем, я охотно перемену эту очередь, если увижу, что после чьего-нибудь рассказа глаза начнут терять свою ясность, и тотчас же берусь или совсем помрачить их, или привести их в нормальное положение.

— Не станем спорить об очереди, — сказал Академик. — Кто начнет, тот и рассказывай. Вот, например, не угодно ли вам прослушать былинку доброго старого времени.

Собеседники охотно изъявили согласие, и Академик начал.

ДЕДУШКИН КОЛПАК

В некотором царстве, в некотором государстве, в Сибирском королевстве жил-был когда-то один купецкий сын по имени Иван Жемчужин. Были у него батюшка и матушка, как и у других купецких сыновей, да то ли им Бог веку не дал, то ли им жизнь скучна показалась, только они один за другим померли, когда у Иваши и коренные еще не прорезались. Но как на белом свете не без добрых людей, то нашлись такие благодетели, которые круглого сироту призрели, вспоили-вскормили и грамоте выучили. И вышел мой Иваша молодец молодцом, и румяным лицом, и кудрявым словцом.

— Но пощади, любезнейший Академик, — прервал Таз-баши с умоляющим жестом. — Твоя сказка напевом своим так смахивает на Лазаря, что надобно быть слепым, чтобы найти удовольствие в этом мурлыканье. По неволе закачается голова под такт напева, а там, пожалуй, и на стол свалится.

Гости засмеялись выходке Татарина.

— Нечего делать, — отвечал Академик, тоже рассме-

явшись. — Надобно в угоду тебе перестроить гусли на новый лад. Но уж извини, если старая песня порой отзовется в рассказе. Извольте ж слушать.

Из начала моей сказки вы могли уже видеть, что Иван Жемчужин был малый хоть куда. Мастер и поплясать, мастер и дело сделать. Поэтому нечего дивиться, что красные девицы его жаловали, а своя братья — молодые купчики — просто его на руках носили. Но если, с одной стороны, это было хорошо, так с другой — не слишком. Частые гуляния да вечеринки не раз отвлекали его от дела и приучали к праздности. Еще пока были живы его воспитатели, так он все-таки был на привязи; но когда Бог прибрал и их, Жемчужин пустился по всем по трем. Поплакав, как водится, на могиле своего отца и матери и заказов две-три обедни за упокой, он решил, вместе с приятелями своими, что сделал все, что было надобно. Не то чтобы у него было злое сердце, а то, что в голове у него ветер ходил. Да и то сказать, кто станет требовать благоразумия от 20-летней головы. Это такое сокровище, которое копится годами и опытами. Да хорошо еще, если родовой капитал имеется. А то без него — года проскрипят себе, как колеса под телегой, а опыты — как от стены горох! И в 70 лет останешься 7-летним ребенком... Ну, ну, не хмурься, Таз-баши, ты знаешь мою привычку идти останавливаясь.

Так вот, Иван мой принялся хозяйничать. Нечего и говорить, что хозяйство его было — разлюли! Выручит рубль, а убьет два. Благодаря такому хозяйству и добрым приятелям, мой Иван в один прекрасный летний день остался совсем без копейки. Кинулся было он к тому-другому из приятелей, да, на беду, у одного у самого денег нет, а у другого — есть, да в долгах ходят, а третий — ужó подумает. Нашлись и такие молодцы, которые посмеялись ему прямо в глаза. Что тут делать? Побить их, подлецов, — сил не хватит; упрашивать — душа не воротится. Можно бы еще рискнуть попробовать счастья у знакомых отца либо воспитателя; да у них с тех пор, как он пустился в разгул, для него были все двери закрыты. Оставалось только идти к кому-нибудь в услужение, да и тут беда: добрые люди не возьмут, а к худым самому идти не хочется. Продумал бедняга целую

ночь, а ровно ничего не выдумал. Да как и выдумать, когда голова его никогда не работала над такими пустяками. Не то чтобы у него ума не было, а то, что этот ум еще молоко сосал. Решился наконец Иван продать отцовский дом. Хоть и жалко было расставаться с местом своего рождения, да что ж делать, когда не оставалось другого средства. В этих мыслях он лег соснуть, примолвив в ободрение себе: утро вечера мудренее. Не успел он утром протереть глаза, как вдруг дверь настежь и к нему пожаловали гости: полицейский чиновник, да из думы гласный, да еще несколько лиц безгласных. И видится и не верится! А вот когда полицейский чиновник объявил во всеуслышание, что дом купецкого сына Ивана Жемчужина берется за долги под казенный присмотр, так у бедного просто руки опустились. Но закон не потачник мотыгам; не смотрит ни на слезы, ни на жалобы. У него: прав — так ступай с Богом, а виноват — так милости просим. Крайне не весело было Жемчужину уходить из отцовского дома, особливо, когда он надеялся поправить им свое состояние. Да делать нечего. Поклонившись со слезами на все четыре угла, Иван выбежал из дому и пошел куда глаза глядят. Сначала глядели они на гору, в поле; да бес, который никак не утерпит, чтобы не воспользоваться хорошим случаем, шепнул ему на ухо: «В поле теперь жарко, поди лучше к реке, там хоть прохладишься немного». Послушал Жемчужин бесовских внушений и повернул к реке; бесенок бежит с ним бок о бок да то и дело подталкивает. Подойдя к реке, Иван сел на крутой берег и задумался. Сначала он думал о том, что река куда уж какая широкая: любой пловец вернется с половины; потом пришла ему и глубина в голову; а там дальше, дальше — и задумал он одним разом рассчитаться с долгами и с жизнью. Нечего и говорить, что все это была работа того бесенка, который шепнул ему — свернуть с прямой дороги. Вот стал Иван раздеваться, для того, чтобы люди не подумали, что он бросился в воду с намерением. Коли увидят платье на берегу, думал он, подумают, что я утонул купаясь, и хоть крест поставят на могиле. Знать, что христианская душа не совсем еще в нем заснула. Вот он скинул свой кафтан и расстегнул рубашку. В это время ангел-хранитель его показал ему крест на груди. Посмотрел на него Иван, и взяло его раздумье. Невольно он припомнил себе благословление

родительское и святое крещение; припомнил и наставления отца Игнатия, своего духовника. Ангел-хранитель уже радовался, что не погибла христианская душа. Но и бес не оставался без дела. Подвернувшись с другой стороны, он показал Ивану ожидавшую его будущность: бедность, позор, оскорбления — все, что только могло возмутить и не такую твердую душу, какая была у Ивана. Адский выходец попробовал потолковать ему и из богословия, что, дескать, видно так Богу угодно; что смерть еще на роду всем людям написана; что Бог милостив к православным; что хоть на первый раз и накажет его, но потом и помирует. Это иезуитское толкование искусителя решило Ивана. Он снял с себя крест, последнее, что удерживало его от гибели, и смотрел уже — где бы лучше кинуться ему в воду. Взмолнился ангел-хранитель к Богу о спасении крещеной души, и Господь его услышал. Спаситель стоял уже за спиною Ивана.

Надобно вам сказать, что с того самого времени, как Жемчужин повернул к реке, за ним невдалеке следовал один старичок и не спускал глаз с Ивана. Когда Иван шел, и старик шел; когда Иван сел на берег, и старик остановился. Теперь он подошел к Ивану и как бы случайно спросил: а что, молодец, не купаться ли здесь думаешь?

Иван вздрогнул, как вор, пойманный в краже, и оглянулся. Старик спокойно продолжал:

— Берегись, приятель, здесь место очень глубокое, да и спуск не податлив.

— А если я пришел утопиться, — сказал Иван, может быть, желая посмотреть, как испугается старик. Ведь самолюбие и при гробе не покидает человека.

— Топиться? Ну, это дело другого рода, — продолжал старик также спокойно. — Лучшего места для этого в целой реке не сыщешь.

Иван с изумлением посмотрел на старика.

— Хорош гусь, — сказал он ему с досадой. — Али тебе смерть человека плевое дело? Али жалости вовсе не ведаешь?

— Жалости? — возразил старик. — Вот хорошо! Жалеть о всяком дураке слишком будет убыточно.

Сказав эти слова, старик пошел себе назад, как будто и не его дело.

Озадаченный Иван несколько времени смотрел ему

вслед. Мысль, что и при смерти его так обижают, задела молодца за живое.

Постой же, проклятый старичонка, сказал он с досадой. Это тебе даром не пройдет. Утопиться я и завтра утоплюсь, а прежде все бока тебе отделаю.

Говоря это, Иван поспешно оделся и пустился догонять старика. Но то ли старик увидел погоню, то ли так пришло желание, только он стал ускорять шаги, а когда Иван был уже от него недалеко, он пустился со всех ног: откуда прыть взялась.

— Постой, старый хрен, постой! Я тебе дам дурака с кулака, — кричал Жемчужин вслед старика.

Старик не отвечал ни слова и бежал не останавливаясь. Иван за ним. Бегут, только пятки мелькают.

Вот уж Иван стал нагонять старика, как вдруг тот шмыгнул в ворота одного дома и хлопнул калиткой.

— Что это с вами, дедушка? Зачем вы так бежите? — спросила с испугом молоденькая внучка старика, когда тот, облитый потом и едва переводя дух, вбежал в комнату.

— Ничего, ничего, Анюша. Ступай гостя встречать, — сказал старик, уходя в другую комнату.

И прежде чем хорошенькая Аннушка могла объяснить себе, что это за гость такой, Иван — пых в комнату!

Но как бы ни был рассержен он на старика-насмешника, он все-таки сохранил столько ума, чтобы не принять молоденькую девушку за старого хрена. Растерявшись совсем при этом неожиданном превращении, он остановился посреди комнаты и только отпыхивался.

Между тем Аннушка, или Анюша, как называл ее старик, испуганная в свою очередь подобным посещением гостя, прижалась в угол и смотрела на Ивана наполовину со страхом, наполовину с любопытством.

Несколько минут продолжалось молчание, во время которого слышалось только легкое побрякивание старика в другой комнате. Аннушка первая пришла в себя и, отойдя немножко из угла, обратилась к гостю с вопросом:

— Вам кого надобно?

Голос, которым сказаны были эти слова, окончательно расстроил бедного Жемчужина. Надо сказать, что голос Аннушкин был что твой соловушко! Но так как нуж-

но же было отвечать, то Жемчужин, собрав все силы, про-
бормотал:

— Мне-с?.. ничего-с... Как ваше здоровье?

Аннушка готова была принять его за полоумного, если бы только в этом не разубеждали ее глаза Ивана, в которых было что-то такое, что чрезвычайно понравилось девушке.

— Я слава Богу, — отвечала она на ловкий вопрос Жемчужина. — Как ваше?

— Мое-с... так, ничего-с... слава Богу.

И снова замолчали. А дедушка продолжал себе по-
крякивать в другой комнате.

Наконец Иван почувствовал, какой он дурак, и в этой смиренной мысли он стал ни с того ни с сего кланяться Аннушке.

Аннушка тоже почла нужным отвечать на поклоны Ивана.

— Извините-с, — сказал наконец Иван, пересиливая свое замешательство. — Мне сказали, что здесь пускают на хлебы. Так я и пришел узнать — за какую цену? Извините, пожалуйста.

— Ничего-с, ничего-с, — отвечала девушка. — Но только вам напрасно сказали, что мы держим нахлебников. Да у нас нет и лишнего помещения.

— Извините, пожалуйста. А позвольте спросить, кто вы такие?

— Я — Аннушка, внучка дедушки... знаете, Якова Степаныча.

— Как не знать, слышал-с, — отвечал Жемчужин уверенно, хотя совесть и говорила ему: врешь, разбойник! — Еще прозвание его, кажется... — Иван замялся.

— Петриков-с.

— Да, точно, Петриков. Так у вас не принимают на хлебы?

— Никак нет-с.

— Извините, пожалуйста. Ведь чего, подумаешь, люди не выдумают! За тем прошу прощения, — сказал Иван, пятась к дверям, хоть ему и очень не хотелось так скоро оставить Аннушку.

— Прощайте-с.

Жемчужин еще раз поклонился и вышел, уж, разумеется, не так скоро, как вошел.

Чудная перемена произошла с Иваном. Топиться уж

и в помине не было. Он даже нашел, что жить гораздо веселее, чем умереть, и что в воде уж, верно, нет таких хорошеньких рыбок, как на земле Аннушка.

Между тем старик с веселым лицом вышел из-за перегородки.

— Ну, что, Анюша, каков твой гость? — спросил он Аннушку, которая, не знаю для чего, протирала стекло в окне, выходявшем на улицу.

— Я его прежде не видела, дедушка.

— Мало ли кого ты не видела, — возразил старик. — А каков он тебе показался?

— Мне-с?.. он, кажется, скромный такой, — отвечала Аннушка, покраснев немного.

— Вот угадала, так угадала! Особливо, я думаю, он скромно вошел. Так, что ли?

Девушка не отвечала.

— Да, да, — продолжал старик. — Всем был хорош, да только вот тут посвистывает, — сказал он, показывая на голову. — Он, кажется на хлебы просился? А? Ну, ничего, даст Бог, и свой найдет. Да что толковать об нем. Дай-ка лучше перекусить чего-нибудь.

И разговор прекратился.

Возвратимся к Жемчужину. Вышед из дома Петрикова, он на минуту остановился: то ли хотелось ему посмотреть на дом, который он в первые минуты поспехов хорошенько не заметил, то ли для того, чтобы подумать — куда бы на этот день приклонить голову. Думал, думал и решился идти к одному бедняку — знакомому, с которым он в прежнее время удостоивал перемолвить слово. Богатые отказали, думал он, авось бедняки будут жалостливее. И точно, на этот раз надежда его не обманула. При бедности кармана у знакомого его была душа богатая. Он принял Жемчужина с таким радушием, что у Ивана почти слезы навернулись.

Таким образом, приют нашелся. Оставалось теперь подумать о средствах найти трудовой кусок хлеба. Посоветовавшись с знакомым, Иван решился смирить свою гордость и на первый раз поискать где-нибудь места сидельца. К счастью его, один из старых знакомых его воспитателя принял участие в положении Жемчужина. Он достал ему место сидельца у одного зажиточного купца, с порядочной платой. Жемчужин засел за прилавок, и так как он был малый смысленный, то вскоре успел за-

служить доверенность хозяина. Сидя весь день за прилавком, Иван утешал себя надеждой пройти еще засветло мимо дома Петрикова и полюбоваться — как хорошо сделаны у него окна, особенно одно угловое, с горшком ерани и с белой как снег занавеской. Иногда случалось ему встречать самого Петрикова, и Жемчужин за несколько шагов снимал уже свою шапку и кланялся в пояс. Старик с обычной своей усмешкой ласково отвечал поклоном на поклон, но тем дело и оканчивалось.

Один раз, не помню в какой-то праздник, Жемчужину привелось стоять в церкви недалеко от Аннушки... Надобно вам сказать, что он, не знаю почему, особенно полюбил церковь, в приходе которой числился дом Петрикова. Правда, Жемчужин говорил, что уж куда какой тут голосистый дьякон, вот так бы его все и слушал; но так как дьякон вскоре переведен был в собор, а Жемчужин по-прежнему продолжал посещать церковь, то я не могу вам сказать — на сколько правды было в словах Жемчужина... Ну, так я сказал, что в один праздник ему привелось стоять подле Аннушки. Все видели, как он усердно молился, а одна Аннушка заметила — как он поглядывал на нее. Обедня кончилась. Иван выждал выхода Петриковых и пошел за ними, посматривая так пристально по сторонам, как будто он в первый раз видит эту улицу. На повороте к известной калитке, Жемчужин низко поклонился старику, поздравил с праздником и, должно быть, нечаянно обернулся к Аннушке, которая, отстав от своего деда, спешила теперь догнать его. Как-то, тоже, верно, нечаянно, глаза их встретились. Девушка рассмеялась и покраснела, а Иван остановил свою шляпу на половине пути к ее месту назначения. Наконец, вероятно, припомнив, как надевается шляпа, он поспешил привести ее в надлежащее положение и пошел к своему хозяину. Можно было заметить, что ему в голову пришла какая-то необыкновенная мысль, потому что он два раза спотыкнулся по дороге да пять раз натыкался на встречных прохожих.

Хозяин Жемчужина был купец старого покроя. Простой, добрый, любивший в иное время поболтать всякий вздор со своими сидельцами, а в другое порядком их пожулить. На этот раз он был более расположен к первому. Увидев Ивана, который, помолившись наперед иконам, поздравил его и сожительницу его — в два обхвата

в объеме — с праздником, хозяин приветливо пригласил его выкушать чашку чая.

— От обедни, верно, Иван Петрович? — спросил хозяин.

— Точно так, Поликарп Ермолаич, от обедни.

— А уж, верно, из Архангельской? — продолжал хозяин, посмеиваясь. — Да ведь, кажись, нет уж любимого твоего дьякона... али кто другой нашелся ему на смену? А?.. Ну а скажи-ка мне — от кого читали сегодня Евангелие? — спросил купец с лукавым видом, прищуривая левый глаз.

— От Матфея, батюшка, или постой, от Луки... так, кажется.

— То-то от Луки! Верно, в голове ходило не евангельское.

— Виноват, Поликарп Ермолаич. Чего таиться, грешный человек.

— Ох, уж вы, молодые головы! И в храм Божий ходят с житейскими помышлениями.

— Уж коли вы сами начали, Поликарп Ермолаич, так уж, верно, вам так Бог внушил. Благословите, батюшка, на злат венец и вы, матушка Аграфена Ивановна, — сказал Жемчужин, встав с места и низко кланяясь своим хозяевам.

— Э, так вот куда речь идет? Ну, ладно, ладно. Лучше завести свою, чем на других губы облизывать.

— Уж как же вам не стыдно, Поликарп Ермолаич, — вступила в речь его сожительница. — Хотя бы для святого праздника удержались говорить такие речи.

— И, матушка, — отвечал купец, — говорю я правду, а правду не грешно сказать и в праздники... Ну, а кого ты там заметил, — продолжал он, обращаясь к Жемчужину.

— Вы, верно, знаете, Поликарп Ермолаич, меццанина Петрикова?

— А! Это, что с внучкой ходит? Знаю, брат, знаю. Хоть и не наш брат купец, а хороший человек. А внучка его — что твоя малина-ягода! Вижу, Иван Петрович, что губа-то у тебя не дура.

— Так уж сделайте такую божескую милость, Поликарп Ермолаич, и вы, матушка Аграфена Ивановна, не откажите помочь мне, а вам за это бог заплатит.

— Сватать, что ли? Ну, ладно, ладно. Ты малый че-

стный. Почему же не помочь тебе в добром деле. Сегодня уже поздно ехать, а вот завтра подумаем.

Жемчужин низко поклонился хозяину и поцеловал руку у почтенной его сожительницы.

Остальной разговор прошел в шутках со стороны хозяина и в беспрестанном повторении: уж как же вам это не стыдно, Поликарп Ермолаич! — со стороны хозяйки.

Ивану опять пришлось не спать целую ночь. Верно, под сердцем кусалось.

На другой день хозяин Жемчужина, надев свое праздничное платье и помолившись иконам, отправился к Петрикову, а Жемчужин сам не свой пошел к обедне.

Вероятно, он был в особенном благочестивом настроении духа, потому что дьячок, смотря на усердные его поклоны, не удержался толкнуть в бок пономаря и шепнуть ему: «Вишь, как молится, должно быть, имянинник сегодня».

По окончании обедни, Жемчужин еще положил три земные поклона перед образом Михаила Архангела и пошел к хозяину ни жив ни мертв.

Вскоре приехал хозяин.

— А славная погода сегодня, Иван Петрович, — сказал хозяин, снимая свой сюртук. — Не худо бы этак вечером съездить в поле — чайку напиться. А, как ты думаешь?

— Хорошая погода, Поликарп Ермолаич, — отвечал Жемчужин, в огне как в пытке.

— Этакое, подумаешь, благодатное лето выдалось, — продолжал хозяин, по-видимому, желавший помучить бедного жениха. — Только жаль, что грибов мало. А? Не правда ли?

— Да, точно неурожай на грибы, — отвечал Жемчужин, мысленно проклиная все грибы на свете.

— Ну да вот Бог даст дождичков, так авось и грибы покажутся.

— Да уж полноте вы, Поликарп Ермолаич, мучить Ивана Петровича, — вступилась добрая сожительница. — Посмотрите-ка, у бедного ино слезы навертываются.

— Ничего, матушка, ничего; потерпит, дело не к спеху. — Но то ли положение бедного Жемчужина тронуло наконец веселого купца, то ли истощился запас его шуток, только он вдруг принял серьезный вид и сказал, раз-

глаживая окладистую свою бороду: — Ну, Иван Петрович, был я и у Петриковых.

Жемчужин весь превратился в слух.

— На первый раз, — продолжал хозяин, — пока похвалиться нечем. Старик не прочь, да говорит, что у него мало, а у тебя — ничего, так чтобы не каяться. Вот, говорит, как Бог поможет ему зажить своим домком, так я и по рукам. А до тех пор не даю слова.

Бедный жених опустил голову.

— Ну, что ж, чего печалиться? — сказал купец, невольно тронутый горем своего сидельца. — Старик ведь не отказывает. Бог милостив, год-два... веи себя только хорошо — будет и у тебя копеечка.

— Да ждать-то бы еще ничего, — сказал Жемчужин. — Да как в это время сыщется жених побогаче? Тут как быть, батюшка Поликарп Ермоланч?

— А быть, как Господь на ум положит. И полно горевать, любезный! Суженого конем не объедешь. Коли Бог судил Анюше быть за тобой, так и семь ворожей отвода не сделают. Живи себе честно да молись Богу, и все ладно будет.

С этими утешениями хозяин отпустил Ивана.

На первых порах после неудачного своего сватовства Жемчужин ходил как сам не свой. Даже единственная отрада — пройти мимо дома Петрикова — не приходила ему в голову; а если когда и приходила, то стыд отказа сейчас же ее прогонял. Он сделался задумчивым, скучным, и хотя продолжал вести дела хозяина по-прежнему, однако ж без особенного в них участия.

Но судьба бодрствовала над ним невидимо.

Однажды, когда он сидел за своим прилавком, перекидывая на счетах, вдруг в лавку вошла молодая женщина в сопровождении Аннушки. Иван не верил глазам своим. На него нашел какой-то столбняк, так что он и видя не видел, и слыша не разумел. И только уже после вторичного вопроса Аннушкиной спутницы он пришел в себя и вспомнил, что в лавку, кажется, для всех вход открыт. Выложив требуемый товар, Жемчужин решился спросить о здоровье Петрикова. В это время вошла в лавку третья покупательница, знакомая Аннушкиной спутницы, и они, как водится, не упустили случая пострекотать немножко. Иван мог свободно говорить с Аннушкой; но язык, как на беду, совсем забыл, что есть

русская речь на свете. Наконец кой-как собравшись с духом, он спросил вполголоса Аннушку, не сердится ли она на него за то, что он смел ее сватать.

Аннушка, покраснев как маков цвет, сказала тоже вполголоса, что сердиться тут, кажется, не за что.

— Вот вы так, верно, сердитесь, — говорила она, не поднимая глаз. — С того самого дня вы ни разу не проходили по улице. И дедушка не раз спрашивал: что это с вами сделалось? Уж не больны ли вы?

— А вы, Анна Васильевна, желали бы, чтоб я проходил по вашей улице? — спросил Жемчужин с необыкновенной смелостью.

— Я очень желала бы этого, — отвечала Аннушка со всей откровенностью невинной души.

— Ну, так я с сегодняшнего же дня стану опять ходить мимо вашего дома... Только уж вы, Анна Васильевна, пожалуйста — того — удостоите втак взглянуть на меня. А то мне и ночь не уснуть спокойно.

Между тем третья покупательница вышла, и Жемчужин смекнул, что разговор должен кончиться. С живостью он вытащил кусок сукна, подвернувшийся ему под руку, и сказал громко:

— Ну, уж этого ситцу лучше во всем гостинном нет.

— Спрячь-ка, батюшка, свое сукно подальше, — сказала Аннушкина спутница, — да лучше скажи: али порог высок у Якова Степаныча? Али собаки больно кусаются?

Жемчужин оторопел.

— По-моему, не мешало бы почтить старика, — продолжала женщина. — Не всякий те раз пойдешь в лавку. У людей зорки глаза.

Сказав это, Аннушкина спутница пошла в другую лавку. Аннушки же давно уж и след простыл.

Долго стоял Жемчужин за прилавком, пощипывая сукно, пожалованное им в ситцевый чин, и раздумывая, что бы значили эти слова. Но наконец, припомнив свой разговор с Аннушкой, он ухватился за слова Петрикова насчет его здоровья и тут же положил — в первое воскресенье отправиться к старику с поклоном.

Воскресенье наступило. Верный своему слову, хоть и не без страха — каков будет прием, Жемчужин отправился к Петриковым. Старик принял его приветливо, поблагодарил за сделанную честь предложением, посадил подле себя, и так как в купеческих домах в праздничные

дни чай всегда пьют после обедни, то нечего говорить, что Ивану вынесли чашку чаю.

Разговор сначала шел о погоде, о празднике, о том — кто был в церкви и о других не менее важных предметах. Наконец Петриков сказал:

— Вглядываюсь я в тебя, Иван Петрович, и вижу, что ты матушкин сынок. Те же глаза, тот же нос, да и в голосе есть что-то такое, что поневоле напоминает дорогую твою родительницу.

— А вы разве знали моих родителей, батюшка Яков Степаныч?

— Вот на! Не только знал, да и хлеб-соль с ними вживал. Христианские были души, упокой их, Господи!

— Да как же я вас ни разу не видел у моих воспитателей?

— С теми я не был знаком; хоть они были тоже люди хорошие, да как-то не привелось познакомиться. Ну, а что, молодец, как дела твои? Благословил ли Господь усердие?

— Оно нельзя сказать, батюшка Яков Степаныч, чтобы я жаловался за мою участь. Хлеб есть, хозяин жалует, добрые люди слово-речь ведут. Да все же далеко до того, чего душа желает.

— Чего же тебе хотелось бы?

— Да хотелось бы на первый раз свой дом иметь, а там, коли богу угодно, завести и свою лавочку.

— Доброе дело, Иван Петрович, доброе дело, — сказал старик с лукавой улыбкой. — Ведь коли вздумаешь жениться, так надо жену в дом принять: да время и самому приняться за хозяйство. Ну а подумывал ли ты — как бы приступить к этому?

— Думать-то, почитай, каждый час думаю, да на беду ничего не могу придумать.

— А это почему так? — спросил Петриков.

— Да бог весть, Яков Степаныч. Станешь думать об одном, а тут — то то, то другое со всех сторон лезет в голову.

— Вот оно что! Значит, ум еще молоденок. Ну, этому горю пособить можно. У меня есть одна вещица, которая полечит твою голову. Надо только принять ее с верой да выполнить кой-какие обычаи. Коли хочешь, я дам тебе эту вещицу.

— Вечно буду за тебя бога молить, батюшка Яков

Степаныч, — сказал Жемчужин, привстав со стула и низко кланяясь.

— Ну, ладно, Иван Петрович. Вот погоди немножко, я сейчас тебе ее вынесу.

Старик ушел в другую комнату, а Жемчужин стал думать — что бы это за вещь такая? Знать, что-нибудь непременно этакое. Между тем Петриков воротился с узелком в руках.

— Вот и вещьца, — сказал он, развязывая узелок. — На вид-то она уж куда простенька, да за то в ней весь ум сидит.

Старик развязал платок и вынул простой вязаный колпак.

Жемчужин с изумлением смотрел то на колпак, то на Петрикова и не знал — шутит, что ли, али смеется старик.

— Вот видишь ли, — продолжал Петриков, как бы не обращая внимания на изумление Ивана, — коли хочешь о чем подумать, стоит только надеть этот колпак на голову и просидеть в нем час-другой, не думая более ни о чем, кроме своей думы. И скажу тебе — откуда мысли возьмутся! Не веришь? Ну, так сегодня же сделай пробу. Ведь ты говорил, что хотелось бы свой дом иметь! Вот и думай об этом крепко час-другой, не отвлекаясь ничем прочим. Сам увидишь, что старик не лжет. А теперь пока до свидания. Мне надо кой-куда сходить. Прощай же, Иван Петрович, да сделай только все, как я тебе говорил.

Жемчужин взял узелок и простился с Петриковым.

— Да постой-ка на минутку, — сказал Петриков ему вслед. — Надо сказать тебе, что иной раз голова горяча, а на такой голове вещьца не так хорошо действует. Постарайся прохладить свою голову, вот хоть, например, сосчитав сколько петель по окраине. А не то подожди до утра, когда спокойный сон освежит голову. Теперь пооди с Богом.

Жемчужин вышел и целую дорогу думал о чудесном колпаке. Уверительный тон, которым говорил ему Петриков, изгнал сомнение на счет действительности чудесной силы колпака. И хоть порой молодой ум на этот счет делал какую-нибудь выходку, но Иван всякий раз говорил насмешнику: цыц! Молчи до поры до времени! Дай сперва попробую!

Вы видите, что колпак и в кармане начинал уже обнаруживать свое действие.

По приходе домой Жемчужин спрятал подальше подарок старика, оставив пробу его до вечера, а сам пошел к хозяину обедать.

Но вот настал и вечер. Жемчужин заперся в своей комнате и вытащил колпак. Повертев его несколько времени в руках, он наконец — не без страха, однако ж, — решился надеть его на себя, и принялся думать — чем бы поправить свое состояние?

Сначала мысли его были довольно смутны; колпак беспрестанно напоминал ему о себе, вероятно, по новости своего положения. Но чем более Жемчужин, по совету старика, углублялся в свой предмет, мысли все делались яснее и обильнее, так что, наконец, он совсем забыл о новом своем украшении и совершенно увлекся своим предметом.

Результатом мыслей Жемчужина был следующий монолог, сказанный им, вероятно, в угождение доброму старому времени.

«Да, я до сих пор был дурак дураком. Промотал отцовское наследство, потерял доброе имя, хотел даже топить. Бог спас меня от гибели, я еще живу на белом свете. Да сделал ли я еще что-нибудь путное, кроме того, что питаю глупую утробу да грею грешное тело? А ведь вон, например, есть же люди, которые начали ни с чего, а теперь считают тысячи. Уж само собой, что они не сидели, как я, сложа ручки, довольствуясь насущным хлебом. Отчего бы и мне не попробовать своего счастья? Денег у меня, правда, нет, да ведь в свете не без добрых людей. Попытаюсь занять там грош, там копейку, — смотришь, алтын будет. А тут попрошу хоть вон Якова Степаныча али и своего хозяина — научить меня уму-разуму — как бы лучше этот алтын в рост пустить. Удастся, ну, и слава тебе, Господи; не удастся, попытаем удачи на другом пути. Ведь Бог труды любит, говаривал покойный мой второй отец, а деньга деньгу в гости зовет. Я же теперь не один. Анюша хоть пока и не моя, да все уж родная мне. Завтра же переговорю с Яковом Степанычем и с хозяином; может, они научат меня — где денег взять. Благослови же, Господи Иисусе Христе, меня грешного на доброе дело!»

Сказав это, Иван снял колпак и стал класть земные

поклоны перед образом своего ангела, единственным наследством, оставшимся у него от всего родительского имения.

И Бог благословил его!

В ту же ночь, разумеется, пока во сне, Жемчужин увидел себя обладателем огромного богатства: денег была у него куча, хозяин был главным прикащиком, а хорошенькая Аннушка сидела подле него с работой и смотрела на него так сладко, что сердце его прыгало от удовольствия.

На другой день в свободную минуту Жемчужин отправился к старику Петрикову с благодарностью за его подарок и за добрым советом.

Старик по-прежнему принял его ласково; но когда узнал причину его прихода, то, не пускаясь в дальний разговор, сказал только: к чему тут мои советы, когда у тебя теперь свой советчик под рукой. Надевай с Богом колпак и подумай снова. Вот когда решишься на что-нибудь, так приходи ко мне, я послушаю; может, тогда и мне придет что-нибудь в старую голову.

Вечером Жемчужин опять сидел, запершись в своей комнате, в колпаке и думал думу — где бы лучше зашибить копейку? Мысли сегодня приходили еще легче. Много планов завертелось под колпаком, выбирай только. Но главных было три. Первое, сбиться как-нибудь, завести на первый раз хоть фурман и начать торговать какой-нибудь мелочью. Но это средство разбогатеть было слишком медленно. Второе, наняться в обозные прикащики к какому-нибудь купцу, имевшему дела в Кяхте, купить там чаю и сбить его с барышом в городе. Но и в этом плане — богатство было слишком отдаленной наградой. Наконец, третье, ехать в Обдорский край, наменять лисиц и соболей и другого прочего и везти их на ирбитскую ярмарку. Правда, тут было много хлопот и лишений, но зато из-под шкурки черно-бурой лисицы или соболя с проседью капитал выглядывал гораздо приветливее. Решено испытать последнее.

— Теперь надо подумать, откуда денег взять, — сказал Жемчужин, поправляя своего советника. Но, прикоснувшись к голове, он заметил, что она у него довольно горяча, и потому решил отложить думу до утра, на свежую голову.

Утром, помолившись Богу, Жемчужин опять сидел

под колпаком с думой—где бы вернее взять денег?

Стал перебирать он всех известных ему людей с достатком, начиная от хозяина до последнего мещанина в городе. Много насчиталось людей с капиталом, да колпак не указал ни на одного из них. Один был скуп, другой—глуп, третий—с пороком. Перевернув раза три своего советника, для большего его ободрения, и все еще не получая от него ответа, Жемчужин приплюснул его с досадой. Бедный советник съезжился и должен был для спасения души своей, сказать всю подноготную. «Да ведь где-то в Москве есть у тебя крестный отец, богатый купец»,—шепнул он невольно Жемчужину. Иван готов был расцеловать советника. «И точно,—сказал он сам себе,—вот дурак-то я! Ищу под небом, а дело под носом. Дай-ка пошлю грамотку к крестному, расскажу все без утайки и попрошу деньжонок на разживу».

Сказано—сделано. В ту же минуту Иван взял листок бумаги и написал следующее письмо:

«Милостивый государь, крестный батюшка Егор Дмитрич.

Много виноват пред тобой, мой крестный государь батюшка, что до сих пор не послал тебе грамотки и не просил родительского твоего благословения, навеки нерушимого. А вся причина тому глупый мой разум и беспамятство. И скажу тебе, мой крестный государь батюшка, о себе всю правду-истину, без утайки и по совести. Жил я до сих пор дурак дураком, не было кому побить меня и попестовать. Батюшка и матушка в сырой земле, а ты в каменной Москве. А нынче, благодаря Господа и святых его угодников, я за ум взялся. Хочу в прежних грехах покаяться да зажить по христианскому обычаю. Да только у меня не на что дело начать. Жалование у меня убогое, а от имения родительского остался один крестный крест. Взмилуйся надо мной, мой крестный государь батюшка, да пришли мне на разживу, сколько тебе Господь в твой ум вложит. А я, вот те Христос, нынче совсем поправился: вина не пью, а о сикере вовсе не думаю. Вот хоть спроси у моего хозяина Поликарпа Ермолаича Троелисткина. А за это тебе, мой крестный государь батюшка, я покон веку слуга, со всем моим будущим родом и племенем».

Так как тот день был почтовый, то Жемчужин снес

тотчас же свое письмо на почту и стал молиться Богу в ожидании будущих благ. Иногда он прибегал к своему советнику, но тот упорно стоял на одном: «Подожди ответа».

Через месяц или около того хозяин Жемчужина позвал его к себе на половину. Серьезный вид его говорил, что разговор будет серьезный. Иван поклонился хозяину и стал смиренно у дверей.

— Садись, садись, Иван Петрович, — сказал хозяин ласково. — Мне надо кое о чем потолковать с тобой.

Иван сел.

— А что, Иван Петрович, я, кажись, до сих пор не слышал, что у тебя жив еще твой крестный отец.

— Да к слову не пришлось, Поликарп Ермолаич, — отвечал Жемчужин, а сердце его так и ёкало.

— А кто бишь твой крестный батюшка?

— Московский купец 1-й гильдии Егор Дмитрич Залетаев.

— Так и ко мне писано. Вот тебе от него грамотка.

Иван дрожащей рукой взял от хозяина письмо, и прочел: «Спасибо, крестничек, что вспомнил о своем крестном отце. Больно жалел, что молодость твоя неразумная; а исправлению твоему сердечно порадовался. По просьбе твоей, я посылаю тебе тысячу рублей денег на имя твоего почтенного хозяина. Дай Бог, чтоб ты разжился с моей легкой руки, и на это тебе мое благословение».

У Ивана готовы были брызнуть слезы от радости. Тысяча рублей! Да это такая благодать, о которой моему Ивану и во сне не грезилось.

— Ну, что ж ты, как думаешь, Иван Петрович? — сказал хозяин. — Теперь ли деньги возьмешь, али ужó по расчете? Ты ведь, наверное, теперь сам собою торговать захочешь.

— Не погневайтесь, батюшка Поликарп Ермолаич. Хотелось бы попробовать удачи своим умом-разумом.

— В добрый час. Вот на этой неделе мы покончим с тобой дела по лавке, а там начинай себе жить с богом по своему разумению.

Иван, простившись с хозяином, с письмом крестного отца в кармане, со всех ног пустился к Петрикову.

Добрый старик душевно порадовался неожиданному,

счастью Жемчужина и спросил, что он намерен теперь делать.

Иван объяснил ему свой план ехать в Обдорск за соболями да за лисицами.

— Что ж, доброе дело, — сказал старик. — Я знал многих, которые в этой торговле клад нашли. Только одно, Иван Петрович, при торговых делах своих не забывай почаще надевать мой колпак, — прибавил он с какой-то странной улыбкой.

Иван уже начинал понимать, в чем дело, и тоже улыбнулся.

Теперь он принялся приводить в порядок счетные книги хозяина. Так как он вел дело исправно, то счета были скоро кончены. Он получил причитавшееся ему жалование и простился с добрым хозяином.

Надо было подумать о квартире. Колпак указал ему на прежнего его знакомого бедняка, у которого он нашел первый приют. Дело было слажено, и теперь Иван, разумеется, тоже по совету колпака, вошел в знакомство с прикащиками тех купцов, которые вели торговлю пушным товаром. Они научили его, как и что и где делать надобно. Сметливый ум Ивана, или, скорее, колпак дедушки Петрикова, пособил ему отличить шелуху от зерна и решил его — не тратить времени по-пустому. Не прошло и месяца по получении от крестного денег, как Иван шел уже проститься с Петриковым.

То ли старик был в добром расположении, то ли желал утешить его на предстоящую долгую разлуку, только на этот раз Аннушка не подглядывала уже в дверную скважину, а сидела с дедушкой и гостем в одной комнате.

— Ну, Иван Петрович, — сказал старик между прочим, — начинай пробовать свое счастье. Ты знаешь меня, я никогда не отпирался от своего слова. Собыешь капиталец — невеста налицо. А до тех пор, извини, мы только знакомые.

Жемчужин взглянул на Аннушку, которая от стыда не знала, куда деваться, и сказал Петрикову:

— За такой клад я рад душу свою положить, Яков Степаныч. Не забывай только порой порадовать меня об ней весточкой.

— Ладно, коли случится оказия, не премину. Так ты завтра и в путь-дорогу?

— Да, батюшка Яков Степаныч. Схожу на могилу,

своих родителей, да отслужу напутственный, да и отправлюсь в дальний путь, с благословением твоим и крестного.

— Дело, Иван Петрович, дело. А чтоб благословение мое было не на одних словах, погоди, вот я вынесу тебе образ Николая Угодника.

Старик вышел.

Мысль, что он в последний, может, раз сидит с своей Аннушкой, придала Жемчужину решимость. Он подошел к девушке и сел подле нее.

— А вы, Анна Васильевна, каким словом напутствуете меня на дорогу?

— Я буду молиться за вас, — отвечала Аннушка, не поднимая глаз от шитья.

— И вашу молитву, верно, Господь услышит. Каждый раз, как мне будет горько, я припомню себе, что вы за меня молитесь, и горе как рукой снимет.

— Только вы уж, пожалуйста, Иван Петрович, — решилась промолвить Аннушка, взглянув на Жемчужина, — не слишком вдавайтесь в опасности. Там, говорят, медведи днем ходят по улицам.

— Так что ж, Анна Васильевна. Умереть так умереть. Кто о сироте пожалеет?

— Бог с вами, Иван Петрович. А вы и забыли об нас, — сказала Аннушка с упреком. Слеза невольно навернулась на ее живых глазках.

— Простите меня, пожалуйста, Анна Васильевна. Это, ей-Богу, не знаю, как вырвалось. Не гневайтесь на прощание. Может быть, мы долго не увидимся.

— Я не гневаюсь, Иван Петрович. А только больно обидно было... ну, да уж Бог вас простит. Вперед только не говорите мне этого.

Послышались шаги старика; Жемчужин пересел на прежнее место.

После трогательного благословения образом Николая Чудотворца Петриков обнял Жемчужина и пожелал ему счастливого пути. Едва удерживая слезы, Иван посмотрел на Аннушку, хотел что-то сказать, но вдруг заплакал и вышел из комнаты, взяв только благословенную икону. Аннушка убежала в свою комнату, всхлипывая.

На другой день Жемчужин отправился на дальний север с целым возом разных разностей, необходимых при мене с инородцами. Разумеется, что коляк занимал у

него первое место в шкатулке. Он так привык к своему советнику, что без него, казалось, голова его не родила бы ни одной порядочной мысли.

Я не поведу вас по дороге за Жемчужиным. Скажу только, что путь его был не розовый. И теперь еще в зимнее время из Березова в Обдорск ездят по указанию светил небесных, а тогда эта астрономическая беспутица начиналась гораздо ближе. Полюньи в аршин, суметы в сажень, недостаток корма, холод за 40, убийственные бураны, незнание языка инородцев, приятные встречи с волками и медведями, собачья езда и другие разные разности составляли не слишком веселую обстановку дороги. Зато перспектива была приятная. Край, куда ехал Жемчужин, в то время был еще мало початый рудник. Соболей, как говорят, бабы коромыслами ловили на улицах. За полштофа водки глупый остяк отдавал голубого песка или лисицу. А мелочи — белок и горностаев — за один стакан кидали десятками. Надо было только уметь пользоваться случаем. И Жемчужин, как увидим, не давал промаху.

Теперь посмотрим, что делают Петриковы. Проводив Жемчужина, они принялись за свои обыкновенные работы; старик за продажу и покупку, Аннушка за хозяйство и вышивание. Случалось, что в иную минуту дедушка заводил разговор о Жемчужине, но все в таких общих выражениях, как бы дело шло о постороннем человеке. А девушка не смела или стыдилась заговорить посердечнее. Вот прошло полгода — вестей не было. Минуло еще три месяца — никакого слуха! Сам старик стал заботиться, хотя и не подавал вида своей внучке. Под рукой разведывал он от всех, имевших дела в Обдорске, — не слышали ли чего о Жемчужине; но ответы были мало удовлетворительны. Сказывали только, что Жемчужин был в Березове и отправился в Обдорск; но тем сведения и оканчивались. Бедная Аннушка совсем изменилась в характере, сделалась грустна, сидела большей частью молча. Куда девались ее звонкие песни, ее веселые проказы, которые, бывало, так тешили дедушку? Петриков не на шутку задумался.

Ровно в год по отъезде Жемчужина, раз, когда дедушка с внучкой сидели вечерком за чаем и напрасно пытались завести какой-нибудь веселый разговор, вдруг застучала калитка и кто-то вошел во двор.



— Кто бы это такой? — сказал старик, прислушиваясь. Чашка у Аннушки осталась недопитой. Сердце ее, по какому-то тайному предчувствию, билось без милосердия. Она остановила глаза свои на двери и, кажется, сама бы в нее выпрыгнула.

Она угадала. Скоро вошел в комнату Иван Жемчужин.

— Дорогой гость! Да как снег на голову, — вскричал Петриков с невольной радостью. Аннушка не могла встать с места, и только слезы тихо катились по ее щекам.

Помолившись иконам, Жемчужин бух в ноги Петрикову.

— Что ты? Что с тобой, Иван Петрович? — сказал тронутый старик, стараясь поднять Ивана. — Надо Господу Богу, а не мне кланяться.

— С радости, батюшка, Яков Степаныч, с радости, — сказал Жемчужин со слезами на глазах. — Ведь подумаешь, целый год не видал вас, мой благодетель.

Тут Жемчужин обратился к Аннушке, хотел тоже сказать что-нибудь, но язык прилип к гортани. Он только низко поклонился.

— Садись-ка, садись, дорогой гость, — начал Петриков, — да расскажи, что ты это запропал. Хоть бы одну весточку послал с дороги! Ну, рассказывай же, что, как дела твои? Благословил ли Господь твои труды? А коли язык примерз, так вот тебе Анюша чайком его отогреет.

И Жемчужин начал историю своих походов — где и как и что было, и кого видел, и что перенес, и, наконец, что Бог послал за труды. Итог вымененных им пушных товаров был так значителен, что старик, перекрестившись, сказал: — Велики щедроты твои, Господи! Ну, а что ты намерен теперь делать со своей рухлядью? — спросил он, обращаясь к предмету разговора.

— А вот сегодня вечером падену твой колпак да подумаю, — сказал Жемчужин с усмешкой.

Старик тоже рассмеялся.

— Но уж, наверное, не шубу шить, — сказал он весело.

— Э, куда нам, батюшка Яков Степаныч, такие шубы носить! Есть у нас и тулуп для этого. Вот если бы дело шло об Анне Васильевне, так бы не жаль черно-бурю.

— Ну, для этого еще придет очередь, — сказал старик. — А прежде надобно овчинки свои обменять на светлые копеечки. Кстати, и Ирбит близко.

— Я так и думаю, Яков Степаныч. Вот подыщу попутчиков да и пушусь на святую Русь, за твоим благословением.

Так как разговор затянулся допоздна, то Петриков оставил Жемчужина отужинать. Ужин был небогат, да зато все гости веселы. И наговорились и нагляделись досыта.

Через неделю Жемчужин был снова в дороге. Бог, видимо, благословляя его труды. Путь был благополучный; покупщики тароваты. Продав свой товар гораздо выгоднее, чем рассчитывал, и закупив кой-каких вещей на всякий случай (сережек, да перстеньков, да подобного вздору), Жемчужин вернулся в свой город с очень порядочными деньгами. Он был уже не тот бобыль, что прежде, и похаживал в лисьей шубе и в бобровой шапочке. Снова прежние приятели стали с ним разговаривать, но он оплачивал им такими же сладкими словами, и тем дело кончалось. Один только остался у него приятель, помните, у которого он нашел приют и квартиру. Жемчужин уговорил его идти к нему в пособники и стал приучать его к торговому делу.

Между тем время шло. Посоветовавшись с своим колаком, Жемчужин решил, что хорошего начала покидать не следует, и стал снова собираться на север, и хотя Аннушка, услыша об этом от своего деда, надула было свои розовые губки, но и она вскоре успокоилась. Может быть, думала она, это будет последняя поездка и воротится он раньше прежнего, а там... там... Тут, верно, мысли ее приняли веселый оборот, потому что глазки ее засверкали, будто звездочки, а на лице так румянец и поигрывал.

Незадолго до второй поездки Ивана старик Петриков праздновал день своего рождения. В числе гостей был, разумеется, и Жемчужин. За закуской хозяин развеселился и велел подать бутылку заветного.

Рюмки поднесены гостям, кроме одного Жемчужина.

— А поди-ка сюда, Анна Васильевна, — сказал старик, посмеиваясь. — Вишь, обнесли беднягу Ивана Петровича. Поправь-ка ошибку, да подай ему вот эту рюмочку из своих белых ручек.

Аннушка, не зная, к чему идет дело, взяла поднос и подошла с рюмкой к Жемчужину.

— Ну, Иван Петрович, авось из рук невесты вино слаще будет.

Поднос затрясся в руках Аннушки. Жемчужин не верил своим ушам.

— Ха! ха! ха! вишь, как их отуманило! Небось дело неожиданное. Ну, что же ты, молодец, церемонишься? Али вино худо, али невеста не глянется?

Жемчужин взял рюмку и выпил, сам не зная, что делает.

— Вот это так! А вы, господа честные, — продолжал старик, обращаясь к гостям, — поздравьте-ка жениха и невесту.

Начались поздравления. Новые излияния последовали за первыми, и развеселившийся старик заставил Жемчужина, по русскому обычаю, при всех гостях поцеловать свою невесту.

Подали ужин, Жемчужина посадили подле Аннушки, вероятно, для того, чтобы дать им случай наговориться досыта. Но не тут-то было.

Весь ужин они молчали и только порой друг на друга умильно взглядывали.

— Ну, что, Иван Петрович, верно, теперь не станешь мне сулить дурака с кулака? А? — спросил старик во время ужина, захохотав.

— Полноте, батюшка, Яков Степаныч, — сказал Жемчужин. — Ведь знаете русскую нашу пословицу: кто старое помянет. А только все-таки скажу вам, что, верно, сам Господь надоумил вас посмеяться тогда над моей глупостью. Кто знает, кабы вы стали жалеть меня да упрашивать, так, может, я и совершил бы свой злой умысел, хоть вот бы, например, для того, чтоб вы хорошенько обо мне поплакали.

Рассказ мой приходит к концу. Жемчужин снова съездил в Обдорск и в Ирбит и опять получил знатную выручку. Через несколько времени сыграли свадьбу. Петриков выкупил родовой дом Жемчужина и подарил его молодым. В этот год Жемчужин не ездил сам в Обдорск, а посылал своего пособника, который тоже был малый со смыслом и исполнил свое дело как нельзя лучше. К довершению всего вышесказанного, крестный отец Жемчужина, узнав от верных людей о поведении своего крест-

ника, прислал ему несколько тысяч рублей на первое, как он писал, обзаведение по хозяйству. Жемчужин попал теперь в число почетных купцов, и хотя прежний его хозяин не пошел к нему в прикашики, однако ж при свидании с ним частенько первый снимал свою шапку.

— А дедушкин колпак? — спросите вы. Колпак всегда хранился в шкатулке Жемчужина, и не один раз, беседуя с Петриковым, Иван Петрович говорил, что этот колпак научил его уму-разуму и был после Петрикова и Аннушки первой виной его счастья.

Академик замолчал.

— Исполать твоему колпаку! — сказал Таз-баши. — Теперь придется дать этому словечку более завидное значение. И будь уверен, что при новом издании академического словаря я непременно сделаю это. Одно только мне не по сердцу. В колпаке твоём, несмотря на весь его ум, довольно лишних петель, которые, если бы и спустить, колпак бы не разъехался.

И — Ну, уж каков связан, таков и носи, любезнейший. Иглы мои любят широкую вязку, — отвечал с улыбкой Академик.

— Эти привязки к колпаку — недаром, — сказал Безруковский. — Не почувствовала ли голова Таз-баши, что ей не худо бы в иную пору примерить этот колпак на себе?

— Нет уж, ваше высокоблагородие, прошу меня уволить от этого. Я небольшой охотник ни до чего академического.

Взаимные шутки продолжались еще несколько времени. Наконец, Безруковский взглянул на часы и сказал: как незаметно идет время! Скоро двенадцать.

— Другими словами, что г. полковнику спать хочется, — сказал Таз-баши, взглянув искоса на Академика. — Значит, теперь моя очередь. Ваш слуга, г. полковник! Господа! Места и внимания!

РАССКАЗ О ТОМ, КАКИМ ОБРАЗОМ ДЕДУШКА МОЙ, БЫВШИЙ У ЦАРЯ КУЧУМА ПЕРВЫМ МУФТИЕМ, ПОЖАЛОВАН В ТАКОЙ ЗНАТНЫЙ ЧИН

— Впрочем, прежде чем приступлю к своему рассказу, почитаю нужным предупредить вас, что это будет не повесть, а только предисловие к тем повестям, которые

я намерен предложить вашему вниманию. Пожалуй, назовите его эпиграфом, или арачкином, или чепухой, я не стану отвечать на подобные вздоры и начинаю.

Дедушка мой Сафар Маметев происходил от знатного рода. Отец его Мамет был главным кухмейстером при дворе Кучума и знал дело свое так отлично, что на всем пространстве — от Иртыша до Енисея, — не нашлось ни одного человека, который бы осмелился поспорить с ним в этом благородном искусстве. Особенно же он был неподражаем в пилаве с бараниной и в пельменях из конины. По сказанию современников, это было — сладость неизреченная! И что за страсть к своему искусству была у моего прадедушки! Чуть только слышит он, бывало, звон кастрюль и сковород, как в ту же минуту, где бы он ни был, летит варить и жарить все на свете!

Но и прабабушка моя занимала не менее важную должность во дворце Кучума. Обязанность ее состояла в том, чтобы шить и штопать на его ханское величество, что и исполняла она с неподражаемым искусством. Один татарский летописец говорит даже в своей хронике, что царь Кучум нарочно рвал свое белье, лишь бы только иметь удовольствие видеть работу моей прабабушки.

Но, как известно, что гении сходятся, поэтому нет ничего мудреного, что прадедушка мой влюбился в прабабушку, а прабабушка в прадедушку. Разумеется, что они по тогдашним летам своим были еще очень далеки от этих почтенных имен; но для ясности рассказа я должен состарить их преждевременно. Тот же летописец придворных дел царя Кучума рассказывает, что прабабушка моя была красавица, и что прадедушка был молодец хоть куда! Я охотно верю этому, исходя от них по прямой линии. Пожалуй, русский вкус скажет, что это должно быть самое темное место летописи, требующее пояснения; но уж известно, какой славой пользуется русский вкус в деле эстетики. Притом же вы знаете, что узкие глаза не то, что широкие, — и потому не подлежит ни малейшему сомнению, что прадедушка и прабабушка мои были — Аполлон и Венера в своем роде. Итак, это дело решенное. Я не стану распространяться о том, каким образом Амур — этот татарский божок с колчаном и луком — поддел на свою стрелу нежные сердца прадедушки и прабабушки. Скажу только, что в каждый праздник лучший кусок с кухни царя Кучума, неизвестно каким

образом, являлся на столе у моей прабабушки; а в каждый байрам прадедушка щеголял в новой куртке из царского гардероба. Эти взаимные одолжения дошли наконец до того, что в один прекрасный день главный мулла с великим удовольствием прочитал брачную молитву над головами прадедушки и прабабушки, а еще с большим удовольствием сел за свадебный стол, на котором надеялся пайти пилав и пельмени. Плодом этого брака был мой дедушка. Долг историка заставляет меня сказать, что дедушка мой родился таким маленьким и худеньким, что прабабушка моя, увидав его, невольно покачала головой, а прадедушка не мог удержаться, чтобы не сказать: «Должно быть, дрянь будет». Таким образом, первый привет моему дедушке был не очень лестен для его самолюбия. Но, кроме этого неважного обстоятельства, все остальное обстояло благополучно. День был из числа счастливых; планеты стояли в самых благоприятных соединениях, и даже, как говорит летопись, в самую минуту рождения дедушки главный мулла громозвучно чихнул в своей комнате, как бы почуяв необыкновенное событие.

Я не буду много говорить о детстве дедушки. Этот возраст так бесцветен, что в нем самый зоркий глаз не отличит дюжинного ума от гения. Правда, и в детстве своем дедушка, по примеру маленьких великих людей, обнаруживал свою гениальность многими проблесками остроумия и проницательности; но как, в то же время, другие его подвиги сильно отзывались всей бестолковостью ребенка, то сам главный мулла в предвещании о будущем назначении дедушки возложил все упование свое на Аллаха.

Так продолжалось до десяти лет, когда г. Маметь, посоветовавшись с главным муллой, решил отдать молодца в учение татарской грамоте. При этом неожиданном известии, дедушка мой отчаянно замотал головой и заткнул себе пальцами оба уха. Сколько г-жа Маметь не утешала его, сколько г. Маметь ему ни грозил, дедушка мой не хотел и слышать о таком неслыханном мучении. Наконец, г-же Маметь пришло в голову — между прочими представлениями пользы грамоты — сказать следующее: «Учись, Сафарчик! Выучишься грамоте — муфтием будешь!»

В этих словах, как они просты ни были, слышался го-

лос судьбы, и потому они не могли не произвести впечатления на ребенка. Правда, дедушка мой не понимал еще всей важности слова муфтий, но, припоминая себе, с каким благовением отец и мать, и их знакомые произносили его имя, как низко кланялись, встречая его на улицах, он возымел огромную идею о могуществе муфтиев. Держать всех в руках, кушать когда захочется, спать когда вздумается — все это мгновенно победило его упрямство, и он тут же, к величайшему удовольствию отца и матери, сказал решительно: «Учите грамоте, хочу быть муфтием!»

Это честолюбивое желание было главное зерно всех приятностей и неприятностей его будущей жизни.

Известно, что татарская грамота не то, что русская, поэтому бедный дедушка с самого первого дня получил уже печальную идею о трудностях к достижению муфтиевской должности. Когда же к этому впоследствии присоединились страдания ушей, рук, ног и прочего, то хотя он и не отказался от желания быть муфтием, однако ж всегда, при встрече с своим предместником, он печально оглядывал его со всех сторон, как бы опасаясь найти в нем еще новые признаки, необходимые на пути к муфтиству. Одни только волосы его не были учены грамоте, да и то потому, что рука брадобрея подсекала их под самый корень.

Но время шло. Дедушка привык и к буквам и к наказаниям и смотрел уже на них спокойным оком философа. Не один раз, потирая за спиной руки, он говорил сам себе с настойчивостью, достойной времен Муция: «А все-таки муфтием буду!»

Эта настойчивость характера была вторым зерном всех приятностей и неприятностей будущей его жизни.

Таким образом, к 15-летнему возрасту, в который сыны Ислама особенной процессией посвящаются в возраст мужей, характер дедушки уже образовался окончательно. Оставалось только случаям и обстоятельствам развить его и упрочить. Разумеется, что судьба, всегда благоприятствующая своим избранникам, не замедлила доставить ему те и другие в изобилии.

И, во-первых, честолюбие дедушки было отчасти удовлетворено назначением его к царю Кучуму на посылки. Здесь он имел случай изучить характер Кучума и роли, которые придворные, волей или неволей, играли

во дворце. Здесь же он узнал то неоцененное искусство: видя не видеть и слыша не понимать, которое глазам и ушам придворных дает особенную организацию, совершенно противоположную физическому их назначению. Но, изучив это искусство, дедушка мой пошел далее. Благодаря своему гению, он приобрел еще другую способность: видеть не смотря и слышать не слушая. И эту, собственно ему принадлежавшую способность, беспрестанными упреждениями он довел до того, что довольно было для него одного слова или жеста, чтобы угадать, в чем дело, и действовать, сообразно обстоятельствам.

Что ж касается до настойчивости характера, то она ограничивалась пока постоянным желанием его при первой okazji занять место муфтия.

Через несколько лет после посвящения моего дедушки в мужи, а потом и в мужья одной молоденькой татарочки, обещавшей со временем сделаться садом для глаз и малиной для рта, отец его Маметь Ниясов совершил последний важный подвиг на этом свете, то есть взял да и умер. Прабабушка, поставив огромный сруб над его прахом, несколько времени не могла утешиться. Потом вздумала было искать развлечения в новом муже; но так как отцветшая красота ее составляла очень небольшую приманку для ветреных сынов Ислама, то г-жа Маметь, совершенно справедливо заключив, что эта жизнь гроша не стоит, решила последовать примеру незабвенного своего супруга.

Теперь, ознакомив вас с родителями дедушки, и сего характером, я приступаю к тому достопамятному случаю, который осуществил любимую его идею и дал ему муфтиевскую куртию.

Летопись говорит об этом следующее.

В тысячу... таком-то году (извините, хронология моя часто спотыкается), Аминь, первый муфтий его ханского величества царя Кучума, после долгого и блистательного отправления должности своей, был, хотя и без всякой со своей стороны просьбы, неожиданно приглашен Азраелем пожаловать к нетерпеливо ожидающим его гуриям магометова рая. Место первого муфтия очистилось и, как водится, зашевелило не одно честолюбие в кругу придворных царя Кучума. Но, вероятно, Кучум не решался вдруг сделать такой важный выбор, а может, ждал указания судьбы, только несколько недель стул муфтия си-

ротел в одиночестве. Кажется, нечего говорить, что искательство не дремало. Один припоминал свою долготную службу, другой — военные подвиги, третий — административную свою способность, четвертый — ласковый взгляд, брошенный на него когда-то царем, пятый — родство с одной из жен Кучума, шестой — свойство содной из его любимых, седьмой надеялся на глупое счастье, восьмой — на ошибку судьбы, и пр., и пр. Но, как ни различны были причины претензий на звание муфтия, однако ж всякий был внутренне убежден, что он один только и способен заменить умершего муфтия. Я нарочно умолчал о своем дедушке, чтобы рельефнее выставить право его на звание муфтия. Но пусть он сам говорит за себя медоточивым своим языком.

— Дурачье! — говорил мой дедушка, лежа на нарах в своей комнате и подняв туфли под прямым углом. — Выставляют свои достоинства, свои дела, а разобрать, так, право, все заслуги их не стоят засаленного аракина. Я, говорит, одержал победу над остяками и вогулами... Да, большой труд поколотить трусов, имея при том у себя десять на одного! Я, говорит, управлял делами всего государства. Глупец! А взгляни-ка на свое управление чужими глазами, так и увидишь, что тут вздор, здесь чепуха, а там еще хуже чепухи! Хороши будут муфтии! Да и давно ли они осмелились подумать о муфтийстве? Могла ли в три какие-нибудь недели созреть в них мысль о назначении муфтия? Другое дело я, — продолжал мой дедушка, выводя туфлем по стене какой-то вензель. — Я признан муфтием еще в то время, когда другие не имеют отличить муфтия от конюха. С самой первой буквы азбуки судьба готовила меня на это место. И теперь еще, как вспомню о моем учении, муфтийство так и ходит по всему телу, начиная от ушей до подошвы включительно. В течение 30 лет я так сроднился с этой мыслью, что я и муфтий, муфтий и я — составляем одно неделимое. И оторвать эту мысль у меня значило бы оторвать сердцевину от дерева. И я буду муфтием! Непременно буду! — вскричал мой дедушка с каким-то вдохновением, вскочив с нар, — хотя бы для этого мне должно было снова пройти всю муфтиевскую азбуку с дополнениями.

Сказав эти слова, дедушка мой, сам не постигая своей решимости, поспешно оделся в лучшее свое платье и,

руководимый судьбою, пошел в царский дворец.

— Дитя не плачет, мать не понимает, — говорил он сам себе, переступая порог приемной залы царя Кучума. — Может быть, царь сам досадует на свою нерешительность в назначении муфтия. Я успокою его душу, показав ему лицо, назначенное судьбой для этого чина.

Рассуждая таким образом, дедушка мой, вероятно в увлечении, забыл придворный этикет и без доклада очутился в царской опочивальне, лицом к лицу с его ханским величеством. На беду или, может быть, к счастью дедушки, царь Кучум был не один. На коленях у него сидела любимая его жена — черноглазая Сузге. При нечаянном появлении дедушки, прервавшем нежный поцелуй на половине, Сузге вскрикнула и порхнула в другую комнату, а Кучум в бешенстве, с сверкающими глазами кинулся к неожиданному гостю.

— Дерзкий раб! — вскричал он таким голосом, что у будущего муфтия не один раз кольнуло под ложкой. — Как смел ты без доклада войти в мою опочивальню? Или голове твоей надоело сидеть на плечах?

Чувствуя, что это решительная минута его будущности, дедушка мой призвал на помощь все свое мужество и упал к ногам гневного хана.

— Отвечай, я тебя спрашиваю, — вскричал снова царь, ударив ногой в пол.

— Гнев царя — туча громовая, — начал дедушка нараспев, поднявшись на колени и опустив голову. — Гром вылетает из уст его, молния сверкает в его взорах. Бедный червяк прячется от дуновения бури и ждет, пока свет солнечный оденет небо чела повелителя.

Известно, что царь Кучум был поэт. Блестящие метафоры дедушки, как светлые искры, отразились во мраке его гневной души.

— Встань и говори, что тебя привело ко мне, — спросил он немного спокойнее.

Дедушка мой, не переменив своего положения, продолжал в том же тоне:

— Пред кротким веянием ветерка цветок поднимает свою головку, наклоненную бурей. Из чашечки его льется аромат благодарности, лепет листков — гимн милосердию.

— Встань, говорю я, — повторил царь Кучум еще снисходительнее прежнего.

Дедушка решился встать на ноги, со сложенными на груди руками и с поникшей головой.

— Теперь объясни свою дерзость, которая заставила тебя нарушить закон дворца.

— Хан ханов! Царь и повелитель Сибири! Участие в твоей печали заставило презренного раба преступить закон священных палат твоих.

Кучум посмотрел на него с удивлением.

— Говори яснее, — сказал он дедушке.

— Первый муфтий твой (да ниспошлет ему Алла все удовольствия рая!) оставил своего повелителя. Стул его сиротеет без наместника.

— Знаю, что ж из этого следует?

— Слабый ум твоего раба дерзнул проникнуть тайную мысль повелителя. Медленность твоя в назначении такого важного сановника сказала ему о твоей мудрости.

— Другими словами, мудрость раба превзошла мудрость его повелителя и нашла человека, достойного быть первым муфтием. Кто же этот избранник, по твоему мнению? — спросил царь Кучум с невольной усмешкой.

— Раб твой готов принять на себя всякую должность от руки властителя, — отвечал мой дедушка таким тоном, в котором под нищенским плащом смирения самоуверенность выглядывала во все его прорехи.

Царь Кучум разразился неудержимым смехом.

«Значит, дело идет на лад», — подумал дедушка и даже осмелился поднять глаза на Кучума.

После нескольких порывов веселости царь Кучум сказал дедушке:

— Для такого муфтия, как ты, надо придумать и новый церемониал избрания. Да сверх того, так как расстояние от настоящей твоей должности — состоящего на посылках — до должности первого муфтия очень велико, то ты должен предварительно пройти все степени чиновначалия.

И, повернув при этих словах моего дедушку, царь Кучум стал угощать его ударами ноги в приличное место, приговаривая при каждом разе: «Вот тебе казначей! Вот тебе кравчий! Вот тебе постельничий!»

Разумеется, что при таком необыкновенном производстве каждый новый чин невольно приближал дедушку к дверям с необыкновенной быстротой, так что чин постельничего достался ему уже в прихожей. Здесь царь

оставил новопожалованного и воротился в свою комнату.

Другой, не столь честолюбивый, как мой дедушка, и не одаренный такой проницательностью, довольствовался бы и этим. Но дедушка мой думал иначе. Приподнявшись с пола вследствие последнего производства, он, с обыкновенной своей настойчивостью в достижении цели, привел свое платье в надлежащее положение и снова вошел в опочивальню Кучума.

Изумленный такой неслыханной дерзостью, царь Кучум несколько минут не мог выговорить ни одного слова. Этим молчанием дедушка мой воспользовался, как нельзя лучше.

— Раб твой не найдет слов для выражения благодарности. Но, хан ханов! Доверши свои милости и произведи уж меня в чин муфтия.

Сказав эти слова, дедушка мой принял положение, самое удобное для производства в такой знатный чин, и стоял в ожидании.

Царь Кучум недолго медлил своим решением. Но, судя по тому, что чин муфтия был верхом почестей, можно было предвидеть, что и производство в него должно было сопровождаться особенной торжественностью. Прежние чины — казначея, кравчего и постельничего — побледнели при блеске муфтиевского, и что там происходило по степеням приближения к дверям прихожей, то здесь совершилось одним разом, и притом с таким великолепием, что дедушка мой долго не мог привстать под бременем нового чина.

Царь ушел в свою опочивальню, а дедушка мой, отдохнув от избытка счастья, медленно отправился домой.

На другой день, ко всеобщему изумлению двора, дедушка мой сидел на стуле первого муфтия, хотя на первый раз и не очень спокойно, по некоторым обстоятельствам.

История моя кончена. Хотя летопись в этом месте наполняет несколько страниц о причинах, которые решили царя Кучума выбрать дедушку первым муфтием, но как они состоят из одних догадок и предположений, то я, из уважения к исторической критике, оставляю их без внимания. Разве приведу только последние слова летописца, которые гласят так: «Воля хана — воля повелителя, Ум его — солнце, которого луч проникает в самые

тайные убежища, и там, где простой глаз видит зерно ничтожества, око властителя созерцает росток величия».

— Ну, г. Таз-баши, — сказал Безруковский, когда тот кончил свой рассказ, — твоя история заставит многих, говоря по-вашему, положить в рот палец удивления. Слышали и мы на своем веку о подобных производствах, но вряд ли кому придет в голову выбрать их сюжетом для своих повестей.

— Отдавая всю справедливость замечанию вашего высокоблагородия, — отвечал Таз-баши, — я все-таки позволю себе спросить с должным почтением: по какому пункту вашей эстетики сюжет мой осуждается на отсечение руки? Если по своей необыкновенности, то летопись защитит меня, а если только по особенной организации вашего русского вкуса, который часто видит черное в белом, то я, право не виноват, что судьба очернила мое лицо татарской физиономией и разлила эту черноту по всей крови моей. Сами согласитесь, что мне легко бы пожаловать моего дедушку в чин муфтия с подобающей важностью, но мог ли я, не кривя душой, говорить против достоверных сказаний летописи. Я друг эстетики, но еще более друг истины.

— Высказывая свое мнение, полковник, вероятно, имел в виду одну особу, называемую грацией, — сказал Академик с улыбкой.

— Так что ж из этого? — отвечал Таз-баши, умышленно давая другой смысл словам Академика. — Вольно же было сухопарому греку создать такую щепетильную особу! У нас татар — своя грация. И, право, как взглянешь на нее, толстушку-смугляночку, когда она идет свободной поступью, посмеиваясь весело и побрякивая серебряными своими запястьями, так невольно глаза подернутся нектарной влагой, а на сердце падет манна амброзии.

— Самый татарский оборот, от которого, впрочем, не отказался бы любой иезуит, — сказал Немец с обычной насмешливостью. — Однако ж из него все-таки видно, что Таз-баши внутренне согласен с замечанием Академика, только по татарской привычке не хочет сделать это гласно.

— Ну и оставайтесь на здоровье с этим предположением, если оно вам нравится, — возразил Таз-баши. — Ну я, ни вы ничего не проиграем от этого.

Через два дня после описанного вечера наши приятели снова собрались у Безруковского. Разменявшись вопросами о здоровье, о новостях, потолковав о литературе и политике, они, по приглашению хозяина, по-прежнему, составили кружок около чайного стола...

Таз-баши воспользовался минутой молчания и обратился к Немцу:

— Теперь очередь вашей германской премудрости. Усладите наш слух какой-нибудь гисторией, только без цитат, пожалуйста.

— Не беспокойся. История моя такого рода, что цитат не потребует, — отвечал Немец.

— Тем лучше, — сказал Таз-баши. — Иначе Академику нечего будет делать после твоего рассказа. А позволь узнать, что это будет такое: факт действительности или акт вымысла?

— Просто сказка, — отвечал Немец.

— Сказка? — спросил Таз-баши, стараясь выказать удивление.

— Да, русская народная сказка, ничего больше.

— Скажите пожалуйста. У этих обрусевших немцев один напев. Вот и в Питере есть один немец, который до того привязался к православному народу, что кажется готов за одну русскую побасенку отдать всех своих нибелунгов. Ну, да и мастер, злодей, писать по русскому. Поговорки, присловья, пословицы — вот так и сыплет бисером. А порой ввернет такое словечко, что ни в старом, ни в новом словаре со свечой не сыщешь.

— Ну, нет, любезный Таз-баши. В этом отношении я не стану состязаться с питерским твоим приятелем. У меня красное словцо будет по золотникам развешено. Иначе пересластишь, пожалуй. А форму сказки я выбираю для того, чтобы не задеть кого-нибудь ненароком.

— Об ком же твоя сказка: об Иване-дураке али об Иване-царевиче? — спросил Безруковский.

— Нет, моя сказка — об Иване-трапезнике и о том, кто третью булку съел.

— Это должно быть прекурьзная история, — сказал Таз-баши. — Начинайте же. Я уж наперед вешу оба свои уха на твой рот, говоря по-нашему.

ОБ ИВАНЕ-ТРАПЕЗНИКЕ И О ТОМ, КТО ТРЕТЬЮ БУЛКУ СЪЕЛ

Мне бы следовало начать обыкновенным присловьем сказок: в некотором царстве, в некотором государстве, но как г. Академик угостил уже нас подобным вступлением, то я начну попросту.

В старое время, когда на Руси верили еще в Перуна и Волоса, с их причтом, жил-был при капище Даждь-бога один старый служитель Иван, трапезник по-нынешнему. Обязанность его состояла в том, чтобы подметать крошки от трапезы жрецов, которые каждую ночь, благодаря усердию поклонников, пировали в запертом храме, кушая на здоровье принесенных Даждь-богу телят и баранов и запивая вкусным цареградским винцом. Иван служил при капище целые 30 лет в надежде что-нибудь вымолить, если не у Даждь-бога, так, по крайней мере, у жрецов. Но, видя, что ему от них остаются только огрызенные кости да пустые кувшины, а от Даждь-бога ровно ничего, он, наконец, в один день пришел в такую досаду, что бросил дверные ключи в голову кумиру и сказал: «Пусть же тебе служит кто другой, а не я. Лучше просить милостыню у людей, чем ждать милости от тебя — глухого». Сказав эти слова, он взял свой костыль и отправился куда глаза глядят.

Вот он идет путем-дорогой, раздумывая о том, как бы где на клад набрести.

Вдруг на распутье двух дорог навстречу ему вышел старец-прохожий, с костылем в руке, с сумой за плечами и с завязанной головой. Иван, смекнув по виду встречного, что он должен быть не простого рода, снял свою шапку и низко ему поклонился. Прохожий отвечал на поклон и спросил:

— Куда путь-дорога, старичок?

— А еще и сам не знаю, — отвечал Иван. — Иду помыкать по белому свету, да поискать счастья, чтобы на старости лет иметь теплый угол.

— Так нам по дороге, — сказал прохожий. — Я тоже иду попытать удачи. Пойдем вместе, и чур, горе и радость — все пополам.

Иван был рад этой встрече, хотя бы вот для того, что было с кем перемолвить слово. И пошли они вместе, разговаривая о своем житье-бытье. Слово за слово, они

коротко познакомились. Иван узнал, что прохожий точно не простого рода, хотя тоже не талантлив, как и он.

— А можно спросить у твоей чести, отчего у тебя голова подвязана? — спросил Иван прохожего.

— Да так, старичок. Повстречался я с одним задорным нищим, который просил у меня милостыни; а как у меня на ту пору ничего не было, так он хватил меня бато-гом по голове и чуть не проломил голову.

— Вишь, озорник какой, — сказал Иван. — А ты бы его под себя да тем же бато-гом перешу-пал у него все ребра.

— И, старик! Коли за всякий вздор щупать ребра, так, право, не нашлось бы никого на белом свете, у кого бы под старость бока не болели. Притом же, может быть, он попал в меня ненароком али в припадке досады. А сам знаешь, что у гнева глаза завязаны.

«Должно быть, добрый человек, этот прохожий, — подумал Иван. — Его бьют, а он еще озорника опра-вля-ет».

Между тем они все шли потихоньку и под вечер пришли к одной реке. Не видя нигде переправы, они реши-лись провести ночь на берегу. Выбрали себе уютное ме-стечко под двумя березами и сели рядком на травке.

— Теперь и перекусить не мешает с устатку, — ска-зал прохожий, вынимая из своей сумы три небольшие булки. — Вот эта тебе, старик, — продолжал он, подав одну булку Ивану, — эта мне, а третья сгодится на завт-рак к утру.

Так как у Ивана запаса не было, то он очень охотно взял булку и съел ее так проворно, что у прохожего еще оставалась половина, когда у него уж и крошки были по-добраны. Окончив свой скромный ужин, путники напи-лись воды из реки и расположились уснуть. Прохожий скоро заснул, а Иван долго еще ворочался, хоть лег и раньше прохожего. Может быть, ему спать не хотелось, а может, неугомонный желудок требовал еще подачи. В последнем, кажется, было больше правды, потому что Иван, лишь только приметил, что прохожий спит креп-ким сном, потихоньку привстал и как добрый вор выта-щил из сумы прохожего оставшуюся булку и съел ее за три приема. После такого подвига он растянулся себе на траве и вскоре захрапел на всю реку.

Утром, едва только заря стала брезжиться на востоке, прохожий проснулся и стал будить Ивана.

— Вставай, старик, время в путь-дорогу.

Иван поднялся, зевая и потягиваясь.

— Заморим червяка немножко, — продолжал прохожий, — а там и в путь. Может, к полдням добредем до какого-нибудь села, где добрые люди нас накормят.

Говоря это, прохожий взял свою суму и удивился, не найдя в ней булки. Он взглянул на Ивана, а тот себе смотрел так усердно на реку, как будто на дне клад видел.

— Да где же булка? — спросил прохожий. — Разве ты съел ее?

— Вот на? — отвечал Иван спокойно. — С чего я стану брать чужую вещь! Слава Богу, я не вор какой.

— Так куда же она могла деваться? Кажется, я при тебе положил булку в суму, ложась спать.

— А ты разве не видел, что я лег прежде тебя, да и теперь бы еще спал, если бы ты не разбудил меня.

— Так ты взаправду не брал булки? — снова спросил прохожий, смотря пристально в глаза Ивану.

— Да ты не веришь, что ли? — отвечал Иван с досадой.

— А побожись.

— Вот пусть я провалюсь скрозь землю, коли взял твою булку, — сказал Иван и хоть бы заикнулся.

— Ну, так и пропадай она, — сказал прохожий. — Когда-нибудь узнаем вора. А теперь пойдем дальше.

Они пошли берегом реки, высматривая лодки. Наконец увидели они под ивой привязанную лодку с веслом и, по обычаю старины, не расспрашивая, кто были ее хозяева, отвязали ее от дерева и поплыли. Сначала все шло хорошо. Но подплывая к середине реки, они заметили, что вода стала просачиваться в лодку. Прохожий взялся грести, а Иван принялся выливать воду своей шапкой. Но сколько он ни бился, вода все больше прибывала, так что наконец стала заливать лодку.

— За что такая немилость Божья, — сказал прохожий. — Кажется, мы с тобой ничего худого не сделали.

— Вот ты поди, — отвечал Иван почти со слезами. — Добрые люди тонут, а воры и мошенники живут на свете.

В это время лодка пошла ко дну. Прохожий был мастер плавать, и потому, бросив весло, принялся работать

руками и ногами. Жутко приходилось Ивану, который не знал даже, как и поднять руку на воде. Видя явную гибель, взмолился он прохожему:

— Батюшка, отец родной! Не погуби души человеческой! Помоги мне скорее! Тону, совсем тону!

Прохожий оглянулся.

— А послушай, старик. Я помогу тебе, только скажи мне правду: ты съел булку?

— Экой какой! Да ведь я тебе сказал, что не ел булки. Вот хоть сейчас же захлебнуться.

Прохожий, верно, подумал, что не станет же человек лгать, находясь на волоске от смерти, только он без дальних расспросов подплыл к Ивану и сказал: держись за платье.

Иван ухватился за прохожего обеими руками и доплыл с ним до другого берега.

Тут, раздевшись донага, они выжали свое платье и развесили по деревьям на ветер и солнышко, а сами нарвали травы и обложились ею по самую шею. Иван скоро заснул, а прохожий смотрел за платьем, мурлыча про себя какую-то песенку.

Когда платье высохло, прохожий разбудил Ивана и вместе с ним пошел по тропинке, которая вдолги ли вкоротки вывела их на проезжую дорогу.

К полдням они дошли до большого города, в котором княжил молодой князь. Случай или судьба привела их к дому золотых дел мастера; хозяин принял их ласково, угостил обедом и отвел особую комнату на покой.

В это время в городе были большие хлопоты. Молодой князь нашел себе невесту и готовил свадебный пир и подарки. Все мастера завалены были княжеской работой; трудились с раннего утра до поздней ночи, рук не покладывая. В числе прочих и хозяин путников работал для княжны дорогие серьги и запястья. Уложив своих гостей, он отправился в свою мастерскую и принялся стучать молотком. Так как мастерская его отделялась от комнаты путников только перегородкой, то стук молотка не давал покою Ивану. От нечего делать, а может, из любопытства, он подошел к стене заглянуть в щель — что это стучит хозяин. Разгорелись глаза у Ивана, когда он увидел золото и дорогие камни, лежавшие на столе. Невольно подумал он, что и десятой части этих сокровищ довольно бы, чтоб обеспечить его старость. Злая

мысль закралась ему в голову; как бы стащить одно запястье. Хотя совесть и говорила ему, что это будет плохая благодарность за гостеприимство, но Иван успокоил ее обещанием, что это в первый и последний раз и что потом он заживет честным человеком.

Заметив заранее место, где лежало запястье, Иван в ту же ночь отправился на промысел. Хозяин и прохожий спали крепким сном. Ивану некого было бояться, разве только своей совести, но я уж сказал, что ум, этот податливый молодец, готовый на «да» и на «нет», смотря по обстоятельствам, успокоил уже сердечного судью. Иван на цыпочках вошел за перегородку и ощупью отправился к замеченному месту. Вероятно, Меркурий светил ему, потому что рука Ивана прямо попала на ящик с драгоценностью. Осторожно вынув запястье и спрятав его за пазуху, Иван также тихо вышел из мастерской и лег себе спать, как ни в чем не бывало.

Рано утром Иван разбудил прохожего и сказал, что время в путь-дорогу. Прохожий сначала удивился этому предложению, потому что накануне не было и в помине о дальнейшем пути.

— Да что тебе так скоро надоел город? — спросил он Ивана.

— А что в нем путного, — отвечал Иван. — Милостыни подают мало, работы по силам нет. Да надо и стыд знать: ведь хозяин не обязан кормить нас даром.

Такие честные речи заставили прохожего мысленно похвалить Ивана, и он стал собираться в дорогу.

Между тем проснулся хозяин. Узнав, что гости его уходят, он приказал подать сытный завтрак, накормил их вдоволь и на прощание дал каждому по монете.

Прохожий взял деньги, пожелав хозяину, чтоб Бог возвратил ему сторицею. Но Иван не решался принять денег, говоря, что он не заслужил их.

— Возьми, старик, — говорил прохожий. — Может быть, эти деньги принесут тебе клад со временем.

Но как Иван, по честности своей, все отговаривался взять незаслуженные деньги, то хозяин насильно положил их к нему в запазуху, нисколько не подозревая, что кладет их в соседство со своим запястьем. Потом проводил их до ворот и, пожелав счастливого пути, воротился.

Нечего говорить, что Иван спешил так, как будто бы кто его гнал по пятам. А как прохожему торопиться бы-

ло нечего, то у них произошла размолвка, которая скоро перешла в ссору. Иван хотел уже идти один, но на беду его крупный разговор привлек праздную толпу, которая от нечего делать обступила двух спорщиков и по русскому обычаю подстрекала их кончить спор тычком и зубочисткой.

Но между тем как толпа шумела, мешая Ивану продолжать путь, золотых дел мастер открыл похищение. Случай или судьба, не знаю, навели затмение на Ивана во время кражи, и он оставил ящичек, где лежало запястье, незакрытым. Хозяин в ту же минуту бросился из дома. Добежав до толпы и рассказав, в чем дело, от тотчас же кинулся на прохожего и стал его обыскивать. Разумеется, что, кроме монеты и еще двух-трех пузырьков с какими-то снадобьями, у него ничего не оказалось. Иван было вздумал защищать свою честность кулаками; но толпа тотчас же схватила его за руки и за ноги и в одну минуту раздела его донага. Запястья не было. Хозяин кинулся к ногам путников и просил не взыскать за обиду.

— Вещь дорогая и притом княжеская, — говорил он, плача. — Кроме вас у меня никого не было, так поневоле подозрение пало на вас. Простите ради Бога за неумышленную обиду.

Прохожий сказал только, чтоб он на будущий раз был осторожнее и не клеветал среди белого дня на безвинных. Но Иван расходился на чем свет стоит.

— Нет, приятель, заплати за бесчестие, — кричал он, одеваясь. — Это тебе даром не пройдет. Вишь, что у него много денег, так и давай обижать всякого. Пойдем-ка к тиуну на расправу.

Напрасно прохожий уговаривал его бросить иск, хотя бы в благодарность за угощение. Иван не хотел и слышать.

— К тиуну! К тиуну! — кричал он во все горло. — Да вот вместе и этих приятелей, которые осрамили меня на всю улицу. — Толпа бросилась со всех ног врассыпную. Один только молодец оплошал и попался в руки Ивана. Началась борьба. Дело дошло до рукопашного. Получив хорошую затрепину от Ивана, молодец схватил его за большую бороду и рванул сколько было силы. Борода уцелела, да только в руке молодца осталось запястье, которое было подвязано под бородой.

Разумеется, дело тотчас приняло другой оборот. Ивана схватили. Разбежавшаяся толпа, услышав такую весть, снова собралась, и несчастного вора потащили к тиуну, угощая его и руками и ногами и побранками. Прохожий пошел вслед за Иваном более, кажется, из любопытства, чем из участия.

Тиун еще спал. Надобно было ждать, пока ему угодно будет проснуться. Этот час ожидания был для Ивана настоящей пыткой. Побои, ругательства, насмешки сыпались со всех сторон. И на беду он так растерялся, что не имел даже единственного утешения отплатить хоть десятью за сто.

Наконец тиун встал и потребовал к себе истца и ответчика. Выслушав хозяина и свидетелей, он потер себе лоб и наконец дал следующее решение.

— Вору отрубить правую руку по локоть: с золотых дел мастера взять на казну по проценту с цены украденной вещи; а с народа за шум в раннее утро взыскать по деньге в пользу благочиния.

Так как в то время апелляций не было, то по всем вероятностям приговор был бы исполнен немедленно. Но, к счастью Ивана, в ту самую минуту, как готовились отрубить ему руку, новый шум еще больше прежнего раздался на улице. Гонцы скакали по всем улицам с криком: «Скорее, скорее во дворец искусного лекаря!» Причиной этой тревоги была внезапная болезнь невесты княжеской. Разумеется, что в таком важном деле было не до Ивана. Приказав держать его под стражей, тиун кинулся со всех ног во дворец. И вслед за ним все, кто только знал, как ставят хреновик к затылку, пустились лечить княгиню. В доме тиуна остался только Иван с прохожим да два человека стражи.

Выждав удобную минуту, прохожий подошел к Ивану и сказал:

— Теперь тебе запирается, кажется, нечего. Улика налицо. Но если хочешь сберечь свою руку, признайся: ты съел мою булку?

— Я сказал тебе, что не я. И знать не знаю, и ведать не ведаю, — отвечал Иван решительно.

Прохожий покачал головой. Но, не делая больше расспросов, он вышел из дома и пошел во дворец.

Там от вопля нянюшек и мамушек можно было оглохнуть. Несчастный жених рвал на себе волосы и обе-

щал грудю золота, если кто спасет его возлюбленную. Прохожий, назвав себя лекарем, пробрался до той комнаты, где лежала девица. Если бы даже князь не обещал богатой награды за излечение, то один вид умирающей красавицы заставил бы лететь спасти несчастную. Бледна как полотно, с полужакрытыми глазами, с руками, опущенными на парчовое одеяло, княжеская невеста лежала без движения, словно мраморная статуя. И только по высоко вздымающейся по временам груди и слабому стону, вырывавшемуся из бледных губ, можно было заметить, что она еще жива.

Прохожий посмотрел на нее пристально и сказал:

— Помочь можно, дайте полчаса времени.

Князь кинулся обнимать его.

— Помоги, помоги только, вся казна моя тебе в награду.

— Спасибо, князь. Я сейчас пойду приготовлю лекарство и ручаюсь головой за жизнь ее.

Прохожий вышел в сопровождении придворных и отправился в дом тиуна.

Между тем тиун, очень справедливо заключив, что болезнь княжны не должна же препятствовать исполнению правосудия, отдавал уже приказ — отрубить воровскую руку. С Ивана сбросили кафтан и засучили рукав рубашки у правой руки. Еще минута — и бедняк, верно, недосчитался бы одной руки, но в это время вошел прохожий.

— Погодите, — вскричал он, удержав руку палача, — мне надобно с ним поговорить немного.

Тиун, увидев придворных, дал приказ остановить казнь. Прохожий подошел к Ивану и сказал ему шепотом:

— Еще раз спрашиваю: ты съел булку?

Вероятно, он надеялся, что желание сохранить руку заставит Ивана сказать всю правду.

— Ей-богу, не я, вот хоть сейчас рубите обе руки, — отвечал Иван, бледный как рубашка.

— Ну, коли не ты, так и дело кончено, — сказал прохожий. И потом, оборотясь к одному из придворных, он прибавил: — Скажи князю, что я спасу его невесту, если он простит этого бедняка, моего товарища.

Придворный кинулся со всех ног во дворец.

Нечего, кажется, и говорить, что князь в эти минуты готов был простить даже закоренелого своего злодея, лишь бы спасти свою возлюбленную.

Ивана освободили, и он вместе с прохожим пошел во дворец.

Там уж стали терять последнюю надежду. Больная едва дышала, и холод смерти начинал покрывать прекрасное тело. Прохожий поспешно вынул из сумы пузырек с какой-то жидкостью и влил несколько капель в рот умирающей. Едва только чудесная влага была проглочена, вдруг легкий румянец заиграл на бледных щеках, опущенные руки зашевелились, дыхание сделалось свободней, и через несколько минут открылись прекрасные глаза.

— Ах, как я тяжело спала и какой страшный сон видела, — сказала девица, проводя рукой по лбу.

Нельзя было описать восторга князя. Он кинулся целовать руки и ноги своей невесты, обнимал прохожего, нянюшек, мамушек, Ивана — всех, кто только подвертывался ему под руки.

— Теперь проси у меня всего, чего только желает твоя душа, — сказал он прохожему.

— Я, князь, получил уже награду, — отвечал прохожий. — Другой мне не надобно.

— Это своим порядком, — сказал князь. — А я обещал богато наградить спасителя и сдержу свое слово.

— Спасибо, князь. Но куда мне деваться с твоим золотом. Торговать я не привычен, а хоронить его — одни хлопоты.

«Экой старый дурак», — подумал Иван и не удержался, чтоб не толкнуть локтем прохожего. — Хоть на мою-то долю возьми, — шепнул он ему на ухо.

К счастью Ивана, князь не хотел слышать никаких возражений, и тотчас же велел отсыпать лекарю полную шапку золотых монет. Кроме того, дал приказ — отвести прохожим лучшую комнату во дворце и угощать их со своего княжеского стола. Прохожий стал было отговариваться и от этого, но когда княжеская невеста сказала ему: «Хоть для меня, прохоженький, останься на день; дай посмотреть на моего спасителя», — прохожий не имел сил противиться этому приглашению от такой прекрасной девицы. Он остался.

Между тем слух о необыкновенном излечении княжеской невесты распространился за пределы княжества и дошел до другого князя, у которого единственный сын целый уж год был болен. Сколько лекаря и ворожеи ни

употребляли усилий поднять больного, ему все делалось хуже и хуже, а в это время он находился уже в безнадежном положении. Немного надобно догадки, чтобы смекнуть, что скоро явился посол к чудесному лекарю.

— Наши князь и княгиня, — говорил посол, — стоят того, чтобы не поставить за труд к ним приехать. Они князя только по имени, а по душе — отцы наши. Последний раб готов отдать за них свою душу.

Прохожий, неизвестно почему, колебался решением. Но Иван, по доброте своей, стал посредником.

— Пойдем, прохожий, — говорил он своему спутнику. — Для доброго дела и сто верст не околица. А сколько бы радости ты принес для родителей, а для себя какую бы великую стяжал награду.

— Идти, пожалуй, можно, да почему я знаю, что помогу ему?

— О, я в этом так уверен, что голову отдаю на отсечение, если ты ему не поможешь, — отвечал Иван с уверенностью. — Только пойдем.

Тут приступили к нему князь-жених с невестой и говорили, что как ни приятно им удержать его при себе подольше, но они охотно отпустят его для такого доброго дела.

— Нечего делать, — сказал прохожий. — Когда мир говорит: иди — надо идти, хотя бы и ног не было.

Тотчас же подали княжескую колесницу, и прохожий с Иваном и послом отправился к новому князю.

Там уж все глаза просмотрели в ожидании лекаря. И только что колесница остановилась у крыльца, князь и княгиня не утерпели, чтобы самим не выбежать навстречу. Они взяли прохожего один за одну, другая за другую руку и повели во дворец.

— Если ты, добрый человек, вылечишь нашего сына, — говорил князь, — то проси любой посад из моего города: отдам обеими руками.

— На что мне, князь, твой посад, — отвечал прохожий. — Принять его — взять на себя лишнюю обузу. Скажешь спасибо, для меня и довольно. Покажи-ка лучше своего больного.

Князь и княгиня повели прохожего в комнату, где лежал их бедный малютка. Иван пошел за ними.

Грустно было взглянуть на страдальца. На исхудалом лице его едва приметен был след жизни. От ручек

остались одни только косточки, обтянутые бледной кожей. А между тем при входе лекаря малютка протянул к нему обе ручки; на глазках задрожала слезинка; он пролепетал:

— Дедушка, милый дедушка! Вот уж год, как я не встаю с постельки. Не играю, не бегаю. А хотелось бы, дедушка, побегать по травке.

У прохожего навернулась слеза. Иван чуть не всхлипывал.

— Добрый человек, — сказала княгиня, плача. — Он у нас один, один!

— С ним кончится род наш, — мрачно промолвил князь, кусая нижнюю губу.

Прохожий молчал.

— Дедушка, — начал опять малютка. — Али я что сделал такое, что уж и прощенья не будет. Пожалей обо мне бедненьком, добрый дедушка. Вот тут все так и сосет у меня, — говорил он, показывая под грудкой.

Прохожий быстро повернулся и ушел в другую комнату. Князь с княгиней и Иван вышли за ним.

— Разве нет надежды? — спросил князь голосом отчаяния.

— Повремени, князь, вот я немножко подумаю.

— Ради Бога, добрый человек, — сказала княгиня. — Все, что у меня есть драгоценного, все отдам тебе, только возврати мне сына.

Она вышла с князем.

— Ну, что же ты, товарищ? — начал Иван. — Али у тебя каменное сердце, али уж настала смерть для ребенка.

— Смерть не смерть, — отвечал прохожий. — Только болезнь его такого рода, что надо взять крутые меры. А, право, глядя на бедняжку, рука не поднимется.

— Скажи мне, что делать, я все сделаю, хотя бы для этого снова пришлось отрубить мне руку по локоть.

— Рубить тебе руку незачем. Но мне-то надо быть спокойным, чтоб не дать промаху. А с тех пор как потерялась у меня булка, я только и думаю — кто бы это мог ее украсть.

— Опять за старое! Да ведь я тебе уж сказал, что знать не знаю.

— Чудное дело! Впрочем, задумаю: коли булку взял не ты, так лечение будет удачно, а коли ты, так ребенок умрет. Согласен?

— У этих лекарей вечно какие-нибудь глупости, — сказал Иван. — К чему тут заметки, коли дело идет о спасении души. Ребенок может умереть и без лечения, коли Бог судил быть этому. Да я-то за что прослыву воров без причины.

— А запястье? — спросил прохожий.

— Ну, запястье — другое дело. Хотя я его взял и тихонько, но все хотел возвратить по времени, когда разбогатею немного. Притом же известно, что все мастера не чисты на руку. В пяти золотниках уж, верно, на три меди положат. Так небольшое воровство стянуть у вора. Вот ты другое дело; кроме суммы, кажется, тогда у тебя за душой ничего не было. Да и булка-то не бог знает клад какой, чтоб на нее позариться.

Прохожий, вероятно, признал справедливость рассуждений Ивана, потому что, подумав немного, сказал:

— Ну, так заметки в сторону. Но уж как хочешь, сам я не берусь лечить ребенка.

— Да ведь я тебе уж сказал, что научи только. Рука у меня не дрогнет.

— Коли так, пожалуй. Вишь, у ребенка жилы перепутались. Надо вспороть ему живот и распутать жилы. Ну, что, согласен?

Иван, услышав о таком лечении, сперва было замаялся. Но тут пришли ему на мысль исцеление княжеской невесты и богатая награда, и он решился.

— Пойдем. Я так уверен в твоём лечении, что готов не только вспороть ребенку живот, но и отрубить ему, руки и ноги, а, пожалуй, и голову, коли это будет нужно.

Прохожий с Иваном вошли к больному. В глазах отца и матери можно было прочесть нетерпеливый вопрос ожидания.

— Оставьте нас одних, — сказал прохожий. — Попробуем. Авось бог поможет.

Князь и княгиня вышли из комнаты, мысленно творя молитву об успехе лечения.

Оставшись один с Иваном, прохожий вынул из сумы пузырек и дал понюхать малютке. Через минуту им овладел такой глубокий сон, или, лучше, оцепенение, что даже дыхание едва слышалось. Ребенка раздели и положили на кровать на спинку. Прохожий подал Ивану острый ножик и сказал: «Начинай же».

Иван, в уверенности на знание прохожего, а может

быть, отуманенный наградой, взял ножик и воткнул его в живот малютке. Невольное трепетение тела заставило Ивана вздрогнуть. Он оставил нож в животике и опустил руки.

— Ну, что же ты, храбрый человек? — сказал прохожий с усмешкой. — Еще ничего не сделал, а уж дрожишь, как вор, пойманный в краже. Распарывай.

— А если он умрет? — спросил Иван бледнея.

— Об этом надо было прежде подумать, — отвечал прохожий. — А теперь уж дело сделано.

В новом тумане страха Иван разрезал живот, но при виде крови, полившейся ручьем, он задрожал и кинулся от кровати.

Малютка перестал дышать.

— Что же ты? — спросил прохожий, также спокойно, как бы дело шло о баране.

— Соблазнил меня дьявол, — завопил Иван. — Погубил я невинную душу.

— Выходит, что так. Ну, что ж? Ведь больше одной головы с тебя не снимут; да может быть, пожарят немножко в пытке, и все тут.

— Батюшка мой, отец родной! — вскричал Иван со слезами. — Не погуби меня ради моего безумства.

— Хм, пожалуй! Да все-таки я спою старую песню. Скажи: ты съел булку?

— Ей-Богу, не я! Вот хоть сейчас пропасть, не я! Может быть, как мы спали, проходил зверь и съел булку.

Прохожий покачал головой.

— Должно быть, зверь был мудреный, что умел развязать и завязать суму, вытаскивая булку. Ну, да что толковать об этом, скорее к делу.

Сказав эти слова, он подошел к больному, сделал еще поперечный разрез в животе и всунул внутрь руку, вероятно, для того, чтоб распутать жилы. Потом зашил кожу и помазал рубцы какой-то мазью.

Малютка оставался без движения.

— Теперь вымой кровь и перемени белье на кровати, — сказал прохожий Ивану; и между тем как Иван со всех ног кинулся исполнять приказ, прохожий вынул другой пузырек и влил несколько капель в рот ребенка.

— Все идет как нельзя лучше, — сказал он, внима-

тельно смотря на ребенка. — Даст Бог, через полчаса совсем очнется.

И точно, через полчаса малютка открыл глаза и несколько времени смотрел то на прохожего, то на Ивана. Наконец, всплеснул ручонками и сказал:

— Ах, это ты, дедушка? А как же мне легко теперь. Вот так бы, кажется, вспрыгнул с кровати и побежал. А где же батюшка и матушка? — спросил малютка, поглядывая кругом.

— Вот и они, — отвечал прохожий, отворив дверь и пригласив знаком князя и княгиню.

Зачем описывать последовавшую сцену? Ребенка чуть не задушили поцелуями, и только замечание прохожего, что надо малютке дать отдых, заставило обрадованных родителей прийти в себя.

— Благодетель наш, — сказал князь, обняв прохожего. — Выбирай любой посад в награду.

— Я сказал уж, что мне твоего посада не надобно. Князю прилично владеть людьми, а простому страннику, как я, и не совладеть с ними.

— Так я тебя осыплю золотом, — сказал князь и, не дожидаясь ответа, ушел в свою комнату вместе с княгиней.

Через несколько времени двое придворных вынесли золото и драгоценности и положили перед лекарем. Он было отговариваться; но Иван, не говоря ни слова, загреб подарки в суму прохожего, может быть, рассчитывая, что и он имеет на них право, как первый начавший лечение.

Угощенные донельзя и напутствуемые благодарностью и благословениями, наши странники снова пустились в путь-дорогу. Ивану, правда, не слишком любо было променять княжеские яства на сухой хлеб путника; но сума прохожего имела такое сильное притяжение, что он пошел бы за ней хоть на край света.

Долго еще ходили они из города в город, то прося милостыни, то леча больных. Сума прохожего прибывала с каждым днем, но он и не думал воротиться. Иван не раз заговаривал, что довольно уже помыкали по свету, пора и восвоеси; но прохожий на все представления его отвечал: погоди, вот сыщу того зверя, что съел мою булку, да и домой. Делать было нечего. Приходилось снова шататься по свету, исполняя прихоть упрямого спутника.

Раз пришли они в один большой город, столицу княжества, и остановились на подворье. А в те поры были большие смуты в городе. Старый князь помер; надо было выбрать из четырех сыновей его наследника. Это бы ничего, да дело в том, что в этом княжестве был обычай, по которому из сыновей должен был княжить тот, кто предъявит княжеский перстень. И хоть перстень был отдан покойным князем младшему сыну, но тот, по неосторожности, уронил его в море во время купанья. Теперь старшие братья стали претендовать на княжеский престол, а народ, не зная, как поступить ему в этом случае, по совету жрецов, решил кончить жеребьем. День, назначенный для этого выбора, был уже близко, а младший князь при всех усилиях не мог сыскать перстня. Все лучшие водолазы, не только из его подданных, но и из соседних княжеств, кидались в море, но или платили жизнью за свою отвагу, или выходили с пустыми руками. Нечего говорить, что награда за отыскание перстня была несметная, и потому, несмотря на гибель, много являлось охотников поискать счастья. Однако все попустому.

Когда наши странники узнали об этом, добрый Иван решил подстрекнуть своего спутника — попробовать удачи.

— Ты ведь плаваешь, как рыба, — сказал он ему. — Отчего бы не сделать доброго дела для князя.

— Плавать-то я плаваю, — отвечал прохожий, — да нырять-то небольшой мастер. Коли хочешь, пробуй сам.

Иван почесал за ухом.

— Оно бы нешто попробовать, да надо прежде плаванье-то в толк взять. Вот, выучи меня, товарищ, так авось и на мою долю выпадет копеечка.

Прохожий рассмеялся.

— Ладно, но прежде дай поворожу — найдется ли перстень. А то ты по пустому будешь трудиться, а я не получу ни пула за ученье.

Сказав это, прохожий начертил углем на столе круг с разными перегородками и взял ячменное зерно. Пошептав над ним какие-то тарабарские слова, он закрыл глаза и бросил зерно на круг. Потом внимательно посмотрел на место, куда оно упало, и сказал:

— Перстень точно найдется. Его, видишь, проглотила меч-рыба. Стоит только поймать разбойницу.

— А ты, верно, знаешь и место, где найти эту рыбу? — спросил Иван, дрожа в нетерпении, как в лихорадке.

— Ну, этого пока сказать не могу наверное. Хотя у рыбы ног и нет, да все же она не сидит на одном месте. Вот еще брошу зерно и посмотрю, что оно скажет.

Прохожий начертил новый круг и снова бросил зерно, закрыв глаза.

— Завтра, об эту пору, рыба будет отдыхать в одной версте от города, — сказал он, внимательно осмотрев круг.

— Так чего же мы ждем, — сказал Иван, вставая. — Пойдем на взморье.

— Оно бы почему ж не пойти, — отвечал прохожий, — да только эта рыба без завету не дается.

— А что завету? — спросил Иван с нетерпением.

— Видишь, надо кинуть уду чистой рукой, которая никогда не маралась кражей или, по крайней мере, омыта была искренним признанием.

— Так что же? Разве ты крал когда-нибудь, что боишься попробовать.

— Кажись, что не крал, да Бог весть, не касалась ли эта рука руки тайного вора, — отвечал прохожий, пристально смотря на Ивана.

Иван мысленно проклинал прохожего, смекая — в чей огород камешки бросают.

— Да ведь на всякой зарок есть крючок, — сказал он, помолчав немного. — Можно отвод сделать.

— Почему ж не можно, — отвечал прохожий, посмеиваясь. — Надо только найти воришку, который бы без улики, сам по себе признался в своем воровстве, и бить его батогами во все время, как уда будет лежать в воде. Ну, а сам подумай, кому же охота назвать себя вором при всем народе, да еще подставить спину под батоги?

— Вишь ты, какая мудреная эта рыба. А если воришку будут бить, а она не клонет, тут что?

— Уж я тебе сказал, что это быть не может.

— Так спросить в городе. Город большой, как-петь воришек не водится.

— Попробуй поискать, может быть, и найдешь на счастье.

Прохожий лет отдохнуть, а Иван под предлогом най-

ти воришку, вышел с подворья и прямо отправился к молодому князю.

На вопрос князя: «Что ему надо?» — Иван отвечал:

— Я странник. Слышал, что ты потерял перстень, и пришел научить тебя, как воротить твою потерю.

— Я тебя осыплю золотом по самую бороду, — сказал обрадованный князь, — если только найду мой перстень. Но что же надо делать, говори скорее.

— Дела тут немного. Со мной вместе идет прохожий — лекарь и ворожей. Приструнь его порядком, и он тебе все скажет. Только уж не выдавай меня. Старик больно сердит, того и гляди, поколотит.

— Ладно, — отвечал князь и, дав пройти несколько времени по уходе Ивана, послал за двумя прохожими и приказал привести их непременно.

Странников привели к князю.

— Послушай, добрый человек, — сказал князь, обращаясь к прохожему. — Я узнал, что ты мастер ворожить. Погадай-ка мне — где я могу найти мою потерю.

Прохожий поглядел на Ивана, а тот также посмотрел на него, как будто спрашивал: откуда это князь узнал об этом.

— Да, князь, — сказал наконец прохожий. — Я знаю, где найти твой перстень. Но надо завет исполнить. Вишь, перстень заветный.

— Все сделаю, что можно, — отвечал князь, — скажи только, в чем дело.

Прохожий объяснил о завете. Князь задумался.

— Народ мой торговый и промышленный, — сказал он, — так как-петь рука не замарана. А пытать всех мало времени. Видно, пришлось проститься с княжеством.

— Да есть отвод, князь, — сказал Иван, не могши удержаться.

— Какой отвод? — спросил князь.

Иван рассказал все дело.

— Вот это повернее, — вскричал князь и тотчас же послал сыскать человека, который бы для пользы князя решился признаться в тайном воровстве и вытерпеть удары батогами.

Но, или граждане были честны донельзя, или спины их не жаловали палочных угощений, только в целом городе не нашлось ни одного воришки без улики.

Князь не на шутку рассердился.

— Этакie негодяи, — вскричал он с досадой. — Ни одного вора в целом городе! Да нельзя ли без этого сыскать перстень? — спросил он прохожего.

— Нет, князь, — отвечал тот решительно.

Князь потерял уже надежду, но тут Иван стал на выручку.

— Нечего делать, берите меня, — сказал он. — Служа при капище я частенько таскал принос богомольцев. Винуюсь в этом.

— А батоги? — спросил прохожий.

— Ну, так что ж? Батоги так батоги! Для такого князя можно пожарить спину немножко.

Князь в восторге тотчас же велел идти на морской берег. Толпа народа провожала их. Прохожий вынул уду и передал ее князю, вероятно, в убеждении, что княжеские руки должны быть чисты. Ивана же привязали к столбу и стали угощать батогами.

Несколько времени продолжался отвод завета. А рыба и не думала клонуть червячка, несмотря на отчаянный призыв Ивана.

Тут прохожий подошел к Ивану и сказал ему вполголоса:

— Уда не действует. Верно, ты утаил какую-нибудь кражу.

— Ей-Богу, все сказал, — отвечал тот, едва переводя дух. — Разве признаться о запястье, да это уж дело известное.

— Ну а булку не ты съел?

— Провались ты со своей проклятой булкой, — отвечал Иван. — Сто раз тебе говорил, что не я, все не веришь.

Прохожий отошел в сторону, и батоги снова начали гулять по спине Ивана. Исполнители отвода так усердно работали, что скоро уж не стало слышно Иванова голоса.

Наконец судьба сжалилась над ним. Поплавок запрыгал, и князь вытащил окаянную рыбу. Сейчас же распластали ее, и перстень нашелся.

— Ура! — заревела толпа. — Да здравствует наш князь!

Князь, надев перстень, посадил с собой прохожего в колесницу и поехал во дворец. Полуживого Ивана тоже отвязали и понесли туда же.

Как только слух о находке разошелся по городу, старшие братья стремглав прибежали к князю, наполовину



веря, наполовину не веря. Но когда они увидели перстень на его руке, то первые поклонились ему до земли и признали своим властителем. Князь в благодарность странникам наградил их так щедро, что от золота едва не прорвалась дорожная сума прохожего. Иван, благодаря лечению своего товарища, на другой же день как бы ни в чем не бывал. Но, то ли он утомился странствованием, то ли последнее угощение не больно пришлось ему по сердцу, только он стал умолять прохожего воротиться. Прохожий, наконец, согласился, и они, простившись с князем, пошли в обратный путь.

Шли, шли и наконец дошли до того самого берега, где потерялась булка. Тут прохожий сел на траву и сказал:

— Теперь мы дома. Разделим золото и пойдем каждый в свой угол.

— Ладно, — отвечал Иван в радости, что утомительный путь кончился и он воротится не с пустыми руками.

Развязали суму, высыпали золото, и прохожий начал дележ. Но, к удивлению Ивана, он вместо двух кучек делил на три.

Иван не утерпел.

— Да ведь нас только двое, — сказал он. — Кому же третья кучка?

Прохожий не отвечал ни слова и продолжал раскладывать кучки. Наконец, положив последнюю монету, он сказал:

— Вот эта кучка мне, эта кучка тебе, а это кучка тому, кто третью булку съел.

Иван почесал голову, поглядел направо и налево и сказал:

— Доехал-таки, доехал! Ну, уж чего греха таить. Винюсь — я съел третью булку.

Прохожий поглядел несколько времени на Ивана, а потом смешал все кучки в одну.

— Давно бы так, — сказал он, усмехаясь. — Вот все кучки твои. Живи себе счастливо, да не бросай больше ключей в мою голову.

Едва только прохожий сказал эти слова, как вдруг из старика превратился в прекрасного юношу, и Иван узнал в нем Дажь-бога. Но прежде чем он пришел в себя от изумления, Дажь-бог исчез. Одна только груда золота свидетельствовала, что это не сон.

Немец замолчал.

— Знатная сказка, — сказал Академик. — Тут достается на калачи не одному Ивану-трапезнику. Да только вот что, г. Немец, откуда в Древнюю Русь забрело столько князей, сколько у тебя их в сказке?

— Цитата № 1-й, — сказал Таз-баши, обращаясь к Безруковскому.

— Вероятно, из Греции или Германии, — отвечал серьезно рассказчик. — Ведь вы знаете по Гомеру и Нибелунгам, что в этих странах с давнего времени, что город — то царь, что деревня — то конунг.

— Или на основании правдоподобия, требуемого от сказки, — прибавил Лесняк, улыбнувшись. — Ведь сказка такой мешок, в который клади что хочешь, лишь бы только швы не разъехались.

— Резонно, — сказал Академик. — Только для меня чудно еще одно обстоятельство. Как честному Ивану во время дороги не пришло искушение стянуть золото у прохожего.

— № 2-й, — снова промолвил Таз-баши.

— Должно быть, прохожий, со времени покражи булки, стал осторожнее и клал суму себе под голову, — отвечал Немец с прежней серьезностью.

— Значит, дело приведено в совершенную ясность, — сказал Безруковский. — А уж о том, что трапезник при капище носит крещеное имя, кажется, и говорить не стоит. Мало ли имен напрокат берутся! Во всяком случае, за практическую мысль сказки я готов простить 1001 нечеловечность, не требуя доказательства.

— Ну, теперь Немцу есть за что быть благодарным, — примолвил весело Таз-баши. — Кланяйся, дружок, г. полковнику.

Так как было еще не поздно, то хозяин предложил начать новый круг рассказов.

— По-настоящему, очередь теперь за мною, — сказал Безруковский. — Но на грех я вспомнил одну историю, порядочно длинную. Поэтому позвольте мне занять вас в следующий вечер. А теперь не угодно ли любезному Академику потешить нас какой-нибудь былиной старого времени.

— Да только, пожалуйста, не лазаревым напевом, — прибавил Таз-баши.

— Постараюсь выполнить то и другое желание, — от-

вечал Академик. — Впрочем, былина моя не очень стара: так, лет десятка полтора будет.

— Такая определительность времени говорит уже, что эта былина действительная, — заметил Безруковский.

— Да и не только действительная, но даже одно из действующих лиц этой были теперь налицо перед вами.

— Интересно послушать твоих походов, — сказал Таз-баши. — Тут должно быть все такое чинное, серьезное, длинное и... и... как бишь, это?..

— Скучное, хотел ты сказать, — отвечал Академик. — И то быть может. Да тебе, кажется, нечего бояться этого. Напротив, ты можешь еще из этого незавидного качества извлечь большую для себя пользу.

— Это каким образом?

— Очень просто, любезный Таз-баши. Чем скучнее будет мой рассказ, тем приятнее будет слушать похождения твоего дедушки. Ведь после меня твоя очередь.

— Ну, я не хотел бы, чтобы дедушка мой выезжал на твоих плечах; у него, я думаю, и свои ноги притки, — сказал Таз-баши, покручивая свой ус с важностью.

— К делу, господа, — заметил хозяин с улыбкою.

— Слушаю, ваше высокоблагородие, — отвечал Таз-баши, привстав со стула и поднося руку ко лбу, по-военному.

— Повесть мою я готов рассказывать, — начал Академик, — только, право, затрудняюсь, какое ей имя дать?

— Вот в чем затруднение! — возразил хозяин. — Назови просто: повесть и только.

— А я, — прибавил Таз-баши, — готов быть восприемником твоего детища и, следовательно, имею право дать ему имя после — по достоинству.

— А до того времени, чтоб дитя мое не было без рода и без имени я назову его хоть —

ПАНИН БУГОР*

— Это чудесно! — вскричал Таз-баши. — Повесть твоя не только современная, но и местная. Но берегись, приятель, ты взял на себя двойной труд; посмотрим, как-

* Панин бугор есть возвышение, окружающее город Т. с восточной стороны. На севере находится другое возвышение, известное под именем береговой горы, на которой расположена другая часть города. (Примеч. автора.)

то его выполнишь. Я наперед говорю, что не позволю ни одной ошибки, ни в нравах, ни в местности.

— Ну уж как сумею, любезный Таз-баши. Прошу не прогневаться.

Лет 15 тому назад, когда, натурально, я был немножко моложе, а следовательно, и покрепче и подеятельнее, я задал себе задачу — в свободное от службы время исследовать все окрестности нашего города. Поэтому каждое утро и каждый вечер, лишь только служба давала мне право снять мундир, я отправлялся в свои путешествия. Обыкновенный мой маршрут был — поднявшись на Панин бугор, спуститься по казачьему взвозу, обогнув архиерейскую рошу и загородный дом, или через Жуково вернуться нашей Швейцарией, которая, к сожалению, носит такое антипоэтическое название — *тырковки*, или вернее *торковки*. Я говорю верней, потому что в часы филологического вдохновения, думая о корне этого слова, я должен был наконец остановиться на свойстве самой местности, именно — на *торканье* колес о миллионы кочек, кочующих с незапамятных времен по нашей Швейцарии. Но это между прочим. Дело в том, что береговая гора и Панин бугор были две главные площади, которые я с утра до вечера измерял с похвальным усердием. Когда-нибудь я блесну описанием замеченных мною ландшафтов в надежде прибавить несколько страниц к описательной поэзии, а теперь обращаюсь к моей повести.

Не один раз, проходя Паниным бугром, я замечал на яру молодого человека, который постоянно сидел на одном месте. То ли он был любитель живописи и любовался панорамой города, опоясанного светлою лентой Иртыша, за которым стлались поля и пестрели деревеньки на синеющем грунте отдаленного бора; то ли он разрешал философическую задачу жизни, для чего, как вы знаете, требуется известная высота и спокойное положение; или, наконец, углублялся он во мрак времен, спрашивая у воздушных атомов ответа на исторические вопросы Сибири. Не споря и о том, что, может быть, он сидел тут с тою же целью, с какою сидят десятки тысяч людей на всех высотах и положениях, т. е. за тем, что надобно же было где-нибудь да сидеть. Как бы то ни было, но постоянные встречи его на одном и том же ме-

сте не могли не подстрекнуть моего любопытства. К тому же в это время, исследовав природу моего маршрута вдоль и поперек, я хотел пополнить мои знания исследованием встречного человека. Само собою разумеется, что виденный мною незнакомец сделался первою жертвою моей страсти к любознанию. Я хотел узнать не только, кто он и что он, но зачем тут он. Вы, может быть, заметите, что для этого не нужно было ломать голову, а просто подойти к нему и начать с ним речь — вот хотя о местоположении. А если в продолжении разговора удастся попотчевать его сигарой, так и дело кончено. Но согласитесь сами, что такой пошлый способ узнавать людей был не достоин претендента на философа. Что за важность называть вещь по имени, когда вы осмотрели ее со всех сторон. Нет, угадать вещь на расстоянии, едва доступном глазу, объяснить ее свойства и отношение к другим вещам, еще менее видным, при помощи только умственных соображений — вот где достоинство философии. В этой мысли, выбрав одно местечко на Панином бугре, откуда я мог видеть всего незнакомца, а для его наблюдений предоставить только один мой нос, которого, увы, я не мог бы скрыть при всем моем старании, я стал производить свои исследования. Первое, что мог я заметить, было то, что молодой человек имел характер: потому что по получасу и более он сидел на одном месте, не переменяя положения. Второе, что он не был чужд философической важности, потому что в иное время он тихо вставал с места, обращал взор свой к небу и медленными пифагорейскими шагами спускался с бугра. Наконец, третье мое замечание, правда, сбивавшее меня с толку при сравнении со вторым, состояло в том, что у молодого человека не было недостатка и в поэтической живости движений, потому что не один раз случалось мне видеть, как он вдруг вспрыгивал с места и уходил так поспешно, то недоставало только атома скорости, чтобы шаги его назвать побегом. Так прошли недели две: он в известные часы сидел на прежнем месте, а я в своей философской обсерватории.

Но как жажда познаний, так хорошо олицетворенная греками в лице Тантала, не удовлетворялась сделанными мною наблюдениями, то я решился наконец потеснить философию для простого любопытства. Другими словами, я решился поближе посмотреть, что этот NN тут делает. Выбрав минуту, когда мой сюжет сделал одну из тех

быстрых побегов, о которых я уже имел честь вам докладывать, я с решительностью стойка подошел к тому месту, где обыкновенно сидел мой незнакомец, и стал смотреть направо и налево. Ну, ровно ничего особенного. Ряды домов, линии улиц, прогуливающиеся коровы, босячие мальчишки в ссоре с гусем, старуха с повойником на голове, кляча извозчика — все это такие прозаические предметы, от которых нельзя было ни прыгнуть, ни возвести очей на небо. Посмотрим, что далее. Столбы дыма и пыли, маленький офицерик в грозной позиции перед длинным солдатом, трое приказных, потчевающих друг друга табаком, полицейский солдат навеселе, — ну, и это все вещи не большой важности. Постой же, подумал я, вид вещи часто зависит от точки зрения. Дай сяду так, как сидел незнакомец, и кто знает, может быть, чудеса увижу. Сказано — сделано. Приняв то самое положение, в каком я чаще всего видал незнакомца, т. е. положив локоть правой руки на траву и подперев голову, я закрыл на минуту глаза, чтобы вдруг открыть их на первый предмет, который и должен быть разгадкою всего дела. Тьфу пропасть! Какой-то грязный мальчишка, в костюме золотого века, полощется в луже, спиной ко мне. Стоило закрывать глаза, чтобы потом увидеть подобную картину! Тут пришло мне в голову: не в том ли вся сила, что надо прыгнуть или встать с достоинством, обратив глаза к вечному эфиру. Попробуем и эти фокусы. Сначала встанем философически, прыгнуть можно и после — хоть с досады. Полежав несколько минут, я стал подниматься с такой величавостью, что, право, готов был сам себя принять за Юпитера. Но, к сожалению, первый предмет, который встретился глазам моим на пути в Олимп, был не молниеносный орел, а простая дурацкая сорока, с глупейшим своим щекотанием. Оставалось прыгнуть Юпитеру, но тут тучегонитель оплошал, и так неловко, что едва было не отказался от всех наблюдений. В горячке исследований, не сообразив самого простого обстоятельства, что я стою в двух вершках от края бугра, я прыгнул — прямо вниз. К счастью моему, бугор на этом месте имел небольшой выступ, и потрясение мое ограничилось только прыжком в 6 футов. Но довольно было и этого, чтобы встряхнуть в голове моей все великие вопросы и заставить меня вскарабкаться наверх самым прозаическим образом.

Но тут судьба, как бы в награду моих трудов, услужила мне сверх ожидания. Я случайно увидел сафьянный бумажник и тотчас же заключил, что он непременно должен принадлежать моему незнакомцу. Вы можете себе представить мою радость. Без всяких расспросов, всегда щекотливых, я могу теперь узнать историю молодого человека. Потому что в бумажнике у него, вероятно, как у всякого порядочного человека, должна заключаться куча бумаг, относящихся к делу. Поднявшись на бугор, я развернул свою находку и начал исследования. В одной стороне лежало несколько ассигнаций разного достоинства (правда, не очень высокого), а в другой было несколько лоскутов бумаги с самыми иероглифическими надписями. Я говорю иероглифическими только по смыслу, потому что надписи были сделаны на общем языке православных. Очень помню, что на одном клочке было написано: *в пятом часу на кладбище*; на другом: *не сомневайся*; на третьем: *ей-Богу, я осержусь*. Четвертый клочок содержал две надписи разными руками — вверху: *дядюшка не позволит*, а внизу — *старый черт!* Верхняя надпись была, очевидно, сделана женской рукой, как и на первых клочках, а нижняя отличалась энергическим почерком мужчины. Еще было несколько клочков бумаги с подобными же иероглифами да два или три со стихами, похожими на эпитафии: не припомню их за давностью. Больше всего ломал я голову над одним иероглифом, который выражал одно только слово: *насмешка*, но не потому, что принимал это на свой счет по случаю моей находки, с какой стати, я лицо тут вовсе постороннее; а просто потому, что хотел угадать — что это была за насмешка.

Вы, верно, подумаете: нехорошо, что я так хозяйничал в чужом бумажнике. Винюсь в этом. В 20 лет любопытства сильнее гения скромности. Но в оправдание свое скажу, что едва только пришло мне в голову, как дурно я делаю, распоряжаясь чужим добром без позволения хозяина, я тотчас же закрыл бумажник. К большей похвале моей правдивости, я должен сказать и то, что мысль укора пришла мне в голову, когда уж бумажник перерыл был сверху донизу. Но согласитесь сами, ведь надобно же было мне узнать хозяина моей находки. Может быть, бумажник принадлежал вовсе не моему незнакомцу. Но как бы то ни было, а дело сделано. Узнав

все, что только можно было узнать из иероглифов, т. е. почти ничего, я еще несколько времени посидел на месте в надежде, не воротится ли молодой человек, отыскивая свою потерю. А между тем, ревнуя славе Шампольонов и Гульяковых, я стал вытягивать смысл из иероглифов и складывать их в связную речь.

Здесь затруднение состояло в том, какому порядку следовать в разборе иероглифов. *Старый черт* хоть и написан внизу, но может быть, он должен занимать первое место. Но могло статься, как и следовало подобному господину, место его в заключении: ведь известно, что эти черти всегда являются при развязке. Но здесь ли, там ли, только уж, наверное, не в середине. Потому что тут ввернуть черта значило бы испортить все дело. Вдруг новая мысль пришла мне в голову. Чем трудиться угадывать порядок в таком безалаберном деле, как иероглифы, не лучше ли просто поискать смысла, в каком бы порядке не пришлись надписи. Станем разгадывать. Почерк мужеский и женский — значит, есть любвишка. Кладбище — это, верно, свидание. Ведь целый свет знает, что покойники большие потворщики живым. *Старый черт* — это препятствие. Не сомневайся — тут недостаток или неуверенность в взаимности. Ей-богу, осержусь — это, может быть в том же роде или ответ на слишком пылкое требование другой стороны. Все это очень ясно. Но вот эта проклятая насмешка, как спица в глазе. Прах его знает, к кому отнести ее из трех действующих лиц. Коли к нему — худо, к ней — еще хуже. Так пусть же старый черт дядюшка за нее отвечает. И стар, и насмешлив — решительно дядюшка всех веков и народов! Но в то время, как я восхищался моею проницательностью, вдруг звучный незнакомый мне голос прозвенел над моими ушами:

— Позвольте, милостивый государь, беспокоить вас моим вопросом. Сегодня утром я обронил здесь мой бумажник — из красного сафьяна с золотыми вышитыми буквами. Не заметили ли вы его где-нибудь?

Я оглянулся. За мной стоял мой незнакомец, высокий молодой человек с открытой физиономией, которая для меня лучше всякой приятности, хотя и в этом отношении он не имел недостатков.

— Вы угадали, — отвечал я, вставая. — Я точно нашел здесь такой бумажник, какой вы описали, и давно

уж здесь сижу в надежде встретить хозяина. Не этот ли? — прибавил я, подавая ему мою находку.

— Он самый, — вскричал весело молодой человек, взяв бумажник. — Благодарю вас. Очень рад, что вы, а не другой кто нашел его, а еще более рад, что он не совсем потерялся.

— Очень благодарен за доброе обо мне мнение. Но, признаюсь, вряд ли бы вы стали благодарить меня, если б знали мою нескромность.

Молодой человек немного смешался.

— То есть вы полюбопытствовались узнать его содержание. Ну, что ж? У меня нет таких тайн, за которые бы я стыдился. Притом всякий бы на вашем месте сделал то же, чтоб узнать — кому принадлежит бумажник.

— Но я и в этом не был счастлив. И если бы вы сами не пришли сюда, едва ли бы я по одному вензелю А. и С. мог бы скоро отыскать вас.

— Ваш слуга Александр Сталин, — сказал он мне, приподнимая шляпу.

— Николай Алексеев Соловьев, к вашим услугам, — отвечал я, подавая ему руку.

Пожатие рук заключило наше знакомство. Так как нам идти было по пути, то мы и отправились вместе, меняясь самым обыкновенным разговором. Между прочим я узнал, что мой новый знакомец служит столоначальником в одном присутственном месте, не имеет никого родных, зато бездну знакомых, любит в свободное время заглядывать в книги, которыми снабжает его библиотекарь гимназии, и, наконец, что он хорошо принят у некоторых значительных лиц города. Проводив его до квартиры, которая лежала по дороге к моей, я взял с него слово бывать у меня и сам обещал порою к нему завертывать.

— А чтоб слова были самым делом, — сказал я, — так не угодно ли вам будет, Александр... Александр...

— Петрович, — отвечал он с улыбкой.

— Александр Петрович, завтра же пожаловать ко мне откусать хлеба-соли. Вот адрес моей квартиры, — продолжал я, подавая ему карточку, — а обедаю я обыкновенно в час.

— С большим удовольствием. Тем более, что завтрашний день у меня немного занятий и я скоро могу отделаться.

И мы расстались.

Назавтра Сталин пришел ко мне ровно в назначенный час. Желая поближе узнать молодого человека, а еще больше — проникнуть в бугорную его тайну, я решился предложить ему разные роды искушений, и между прочим шипучую влагу, развязывающую язык. Но к удивлению моему, смешанному впрочем с удовольствием, от живой воды он отказался, а от разного рода других водичек отведал по полурюмке. Надобно было прибегнуть к мерам более утонченным. С этою целью я взял на себя роль простачка и пустился рассказывать о себе всякую всячину. По крайней мере, вежливость, думал я, заставит его отплатить мне подобною же откровенностью. Но и этот способ поймать его на удочку имел небольшой успех. Он тоже рассказал свою историю, но такую обыкновенную, что даже моя собственная была перед нею настоящим романом. А о Панином бугре, злодей, хоть бы полслова. Нет, подумал я, птичка хоть и молодая, но верно себе на уме. Станем ждать всего от времени. Авось он опять потеряет свой бумажник, и я найду новые иероглифы, более прозрачные. Но как ни обмануто было мое ожидание на откровенность Сталина, я все-таки душевно полюбил его. В его характере и образе мыслей было столько самостоятельности, что не будь он 22 лет и только столоначальником, можно было бы принять его за человека, который жил недаром на свете. Порою только в разговоре проскакивали у него резкие выражения, отзывавшиеся насмешливостью, но, очевидно, против воли, потому что он в ту же минуту или старался смягчить свою фразу, или переменял разговор, как бы опасаясь поддаться увлечению.

Нечего говорить, что свидания наши были довольно часты. У меня была порядочная библиотека на русском и французском языках, а у него было много охоты читать. Заметив из слов его, что он жалеет о незнании им иностранных языков, я предложил ему учиться по-французски. Он благодарил меня с такой живостью, что я заранее ожидал найти в нем усердного ученика. И в самом деле, успехи его были удивительны. В короткое время он мог уже читать французские книги. И я, право, не постигал, как он, между службой и занятиями, находил еще время для своих прогулок. Не проходило дня, чтобы он в известное время не сидел на бугре, и иногда довольно подолгу. На шутки мои об его любимой прогулке он от-

вечал тоже шутками, и когда, бывало, я ловил его на месте, у него как раз являлась в руках какая-нибудь книжка или картинка с заречным видом.

Но знакомство с Сталиным не мешало мне от времени навещать и других моих знакомых. Особенно я любил бывать у старика Горина, отставного чиновника, благородного, умного, но упрямого в высшей степени. Стоило ему что-нибудь однажды взять в голову, и никакие человеческие силы не могли извлечь его из предубеждения. Оттого все жители нашего города у него были разделены на три разряда: одних он любил и готов был пожертвовать для них всем на свете; других ненавидел, хотя — к чести старика — ненависть его не доходила до желания зла; о третьих же он молчал, как не заслуживших ни любви его, ни ненависти. Я познакомился с ним по случаю письма, которое он привез мне от одного моего знакомого из России. Надобно сказать, что Горин не более двух лет приехал в Т., желая принять в опеку сироту, дочь любимой им сестры. Разные обстоятельства по долгам и наследству удерживали его в Сибири, хотя он никак не прочил себя в Т. Племянницу свою он любил, как отец. И точно, нельзя было не любить этой милой девушки. С чрезвычайно приятной наружностью, Оленька соединяла столько милого в характере, что, грешный человек, мне не один раз приходило на мысль связать судьбу ее с моей. Но верный своему правилу — все делать с обоюдного согласия, — я ждал времени, когда Оленька будет ко мне равнодушна. Но или сердце ее еще не созрело для чувства любви, или идеал ее был совсем в другом роде, не подходивший к моей особе, только долгое время я не мог получить от нее ничего кроме особенной, почти даже родственной ласковости. Она обращалась со мною, как с братом, и не скрывала от меня ничего. Да, кажется, и скрывать было нечего, особенно от такого проникательного человека, каким я считал себя в то время.

Раз вечером, соскучившись моим одиночеством, я вздумал навестить Горина — поспорить с ним и поболтать с Оленькой. Старика не было дома. Оленька приняла меня с обыкновенной своею ласковостию.

— Вы нынче совсем забыли нас, Николай Алексеевич, — сказала она, усаживаясь подле меня на диване. — Дядюшка начинает даже хмуриться.

— А вы, Ольга Николаевна, верно, были так добры, что постарались разгладить его морщинки.

— Кажется, нечего сомневаться в этом. Только все-таки лучше, что вы пришли. А то, право, я была бы в большом затруднении — чем наконец оправдать вас. А скажите, пожалуйста, где вы были? Неужели все время сидели дома?

— Где был я? Спросите лучше — где я не был? Есть ли хоть вершок земли в окрестностях, который бы не осмотрел тысячу раз.

— Ну а какое же место имело удовольствие видеть вас чаще прочих? Мне хотелось бы сделать комплимент вашему вкусу.

— А вот, например, Панин бугор. Что вы на это скажете?

Оленька живо повернулась.

— Панин бугор? Фи, какое прозаическое место! Пустырь, на котором нет даже порядочной зелени; а чтоб дойти до лесу, надобно запастись другими башмаками.

— Зато сколько там картин совершенно идиллических.

— Да, это правда, — вскричала Оленька, засмеявшись. — Каждое утро и вечер ваш любимый бугор стонет от мычания идиллических животных.

— А что вы скажете о картине города и реки, которую можно видеть с бугра?

— Согласна, что картина не дурна; но ею можно пользоваться и с береговой горы.

— У вас, верно, есть какое-нибудь предубеждение к бугру. Хорошо, что не все разделяют его с вами.

— А разве нашелся еще какой-нибудь любитель вашей идиллической высоты?

— Да, и очень интересный любитель — молодой и любезный, которого я почти каждый день встречаю на бугре и, что удивительно, всегда на одном месте... Но что это вы обронули, Ольга Николаевна? — спросил я, увидев, что Оленька ищет чего-то на ковре у стола.

— Так, пустяки... мне показалось, что светила иглока, — отвечала Оленька с живым румянцем, вероятно от наклона.

— Так извольте видеть, — начал я, возвращаясь к предмету разговора, — вкус мой не так дурен, как вы думаете.

— Не буду спорить с вами хоть потому, что о вкусах не спорят, — отвечала Оленька.

— Но все-таки вы позволите мне сразиться теперь с вашим дядюшкой. Он тоже почему-то не жалуется Панина бугра. Но что мне до этого. С таким союзником, как Сталин, я надеюсь одержать блистательную победу.

Сказав это, я посмотрел на Оленьку, желая узнать — одобрит ли она мое намерение. Потому что милая девушка не совсем жаловала наши вечные споры. Представьте же себе мое удивление, когда я увидел, что лицо Оленьки, за минуту горевшее таким ярким румянцем, теперь покрыто было смертной бледностью. Но только что я хотел спросить о причине такой перемены, в передней послышался голос Горина. Оленька спрыгнула с дивана и шепнув мне почти испуганным голосом: «Ради Бога, не поминайте о бугре перед дядюшкой», — побежала встречать старика.

Я посмотрел на нее с удивлением. Между тем как Горин вешал свою шинель и снимал калоши, вдруг мысль об одном иероглифе блеснула в голове моей. Те-те-те! уж не это ли старый черт дядюшка! ай да Оленька! тьфу, пропасть, какая у меня проницательность!

Приход Горина прервал мои догадки. Побранившись вместо здорованья, мы сели за шахматы, до которых старик был большой охотник, а Оленька стала готовить чай.

— Да что это с вами, Николай Алексеич, — вскричал Горин, когда я, в раздумье от всего слышанного и виденного, сделал один глупейший ход. — Вы как будто в первый раз взяли в руки шахматы. Ходите слоном по конинному.

— Извините, Иван Васильевич, — отвечал я, приходя в себя. — Я немножко расстроен сегодня.

— Ну, так давно бы и сказать об этом, чем заводить пустую игру, — сказал старик, мешая шахматы. — А можно узнать, что за причина вашего расстройства?

Не зная, что отвечать на вопрос Горина, я решил соврать немножко.

— Да так... дела... по службе... — отвечал я, ставя мысленно между каждым словом несколько точек.

— Эх, боже мой. Не люблю я этих полуобъяснений. Надо или все говорить, или молчать.

«Вот тебе и Панин бугор!» — подумал я, стараясь

приискать что-нибудь похожее на правду хоть столько же, сколько иной перевод на подлинник.

— Да, видите ли, почтеннейший Иван Васильевич. До меня дошел слух, что мне назначается дальняя командировка, а мне, право, не хотелось бы оставлять свой теплый угол.

Старик посмотрел на меня как будто с удивлением. Ну, теперь его очередь кручиниться, подумал я. Ведь когда я уеду, кто же с ним будет играть в шахматы.

— Стыдись, молодой человек, — сказал, наконец, Горин серьезно. — У нас, кто поступает на службу, тот принимает присягу, а, принявши присягу, грешно и стыдно отнекиваться.

Вот тебе и пожалел! что мне было делать? оставалось только молча проглотить пилюлю и в утешение разве взглянуть на проклятый бугор.

Старик еще несколько времени мылил мне голову, и только благодаря заступничеству Оленьки, которая вовремя вернула старику стакан чаю, мне удалось несколько посушиться после неожиданной бани. Нечего говорить, что я не замешкался. Старик и прежде не имел обычая кого-либо удерживать, а теперь и подавно. Не задолго перед уходом, когда Горин зачем-то вышел в другую комнату, я успел обменяться с Оленькой несколькими словами.

— Признаюсь, Ольга Николаевна, сегодняшний случай сильно поколебал во мне убеждение о прелестях Панина бугра.

— Но, ради Бога, скажите откровенно, Николай Алексеевич! Вам все известно? — прошептала Оленька, сильно сконфузившись.

— Ровно ничего, Ольга Николаевна, или разве только одно то, что г. Сталин выходит преопасный человек.

Оленька сконфузилась еще сильнее прежнего.

— Вы его знаете? — спросила она после некоторого молчания, не смея поднять глаз.

— Не только знаю, но на беду свою люблю его как родного брата.

— На беду?

— Да, Ольга Николаевна. Но об этом после. Завтра, если вам угодно, я явлюсь к услугам вашим.

Тут вышел старик.

Простившись с Гориним, я отправился домой, вы ду-

маете, или к окаянному Сталину? ничего не бывало, а на проклятый бугор, прямо к известному месту. Мне хотелось сделать топографическую проверку, чтобы подтвердить свои догадки. И точно. С того самого места, где сидел Сталин, можно было провести прямейшую линию к окошкам дома Горина, который стоял у бугра. Как я ни любил делать открытия, но при подобной находке страсть моя к любознанию сделала удивительно-кислую гримасу. Хорошо еще, что Оленька была ко мне только ласкова; а то я готов был с Панина бугра прыгнуть прямо в Захарьевскую улицу, в квартиру Сталина, и решить с ним дело огнем и мечом. Но и теперь я не останусь неотомщенным. Завтра же поймаю молодца на месте преступления и заставляю его не один раз провалиться сквозь бугор в преисподнюю. Ай да смиренники! да они этак, пожалуй, поцелуются у нас под носом, а мы со старым чертом дядюшкой и не заметим этого. Одним словом, я тогда был так сердит, что еще немного — и я бы скомкал весь Панин бугор и бросил его в голову Сталину.

На другой день, в урочное время, я сидел уже в засаде, выжидая моего любезника. Не хочу говорить, сколько в ожидании его я пролил крови, душа комаров, которые, как бы проникнув в злые мои намерения, налетели на меня с целой округи. Но эта борьба спасла Сталина. Потому что, когда он явился на свое место, я был уже так утомлен, что не имел сил даже дать ему сзади толчка по направлению вниз горы. Наконец сообразив, что крутые меры редко удаются, я решился напасть на него другим образом. Незаметно подошел к нему сзади и положил руку к нему на плечо. Кажется, в руке моей не было ни капли электричества, но тут она сделала чудо. Сталин так вздрогнул, что я невольно сделал шаг назад.

— Ах, это вы, Николай Алексич, — сказал он, стараясь скрыть свое замешательство, а может быть, и досаду. — Признаюсь, вы порядочно испугали меня.

Эге, приятель, подумал я, коли одно простое рукоположение так тебя испугало, посмотрим, что с тобою будет, когда я стану колотить тебя прямо в сердце.

— Но скажите, пожалуйста, Александр Петрович, — сказал я, принимая вид самого простодушного человека в свете, — что за удовольствие находите вы сидеть каждый день на одном и том же месте.

— Так... прихоть, если хотите, ничего больше, — отвечал он еще простодушнее.

— Что же вы видите отсюда особенного, — продолжал я тем же тоном. — Ведь не с закрытыми же глазами вы сидите.

— Что вижу? взгляните сами, и вы верно не станете повторять вашего вопроса.

— Но положим, что я близорук, а очень желал бы знать, что там находится.

— Ну, я сказал бы вам: вот тут город, там река, а там заречье.

— Хм! видно, у вас страсть к подобным ландшафтам. А если бы я был на вашем месте, я лучше бы смотрел вот на этот хорошенький домик, что прямо под нами.

Сталин взглянул на меня с удивлением, смешанным, как мне казалось, с другим более тревожным чувством.

— Этот? с зелеными ставнями? — спросил он, показывая совсем на другое строение.

— О, нет, а вон тот, что так весело глядит на нас двумя боковыми своими окнами.

— Что ж вы находите в нем особенного? — спросил Сталин, смотря на меня с заметным беспокойством. — Дом как дом, есть тысячи гораздо лучше.

— По форме так, — продолжал я лукаво, — а уж, верно, не по содержанию.

— Жаль, что содержание его мне неизвестно, — отвечал Сталин, все не сводя с меня глаз.

— И я жалею об этом, потому что вы тогда имели бы предмет для созерцания гораздо интереснее, чем город, лес и заречье.

— Вы, верно, знакомы с жильцами этого дома? — спросил Сталин после некоторого промежутка молчания.

— И очень. Если угодно, я отсюда познакомлю вас с ним, а коли хотите, так, пожалуй, и оттуда, — отвечал я, показывая вниз.

— Благодарю вас. У меня и старых знакомств так много, что я едва успеваю поддерживать их... А впрочем, не мешает знать — чей это дом?

— Дом этот, изволите видеть, одного почтенного старика Ивана Васильевича Горина, или лучше одной прехорошенькой девицы Ольги Николаевны Тиховой, которая приходится Горину ни более ни менее как родная

племянница. Неужели вам никогда не случилось встречать ее? Кажется, вы любитель всего прекрасного.

— Может быть, и встречал, но, право, не помню, — отвечал Сталин, жестоко муча свою шляпу.

— Ну, так я вам скажу, что девушка ни дать ни взять — прелесть. Правда, мне не годилось бы слишком хвалить ее, — продолжал я, повертывая в сердце у него воткнутое шило, — потому что г-жа Тихова скоро должна будет переменить свою фамилию на Соловьеву; но в качестве жениха, кажется, похвалить немножко позволено.

Можете себе представить, какое действие произвела моя ложь. Вся кровь кинулась ему в лицо, а потом отхлынула к сердцу. Бледный как полотно, Сталин посмотрел на меня сверкающими глазами, и так страшно, что я за него испугался.

— Так вы... жених... этой... девушки? — спросил он, едва выговаривая.

Я решил ослабить впечатление.

— То есть кандидат в женихи, если вам угодно, — отвечал я с улыбкою. — Формального предложения еще не было.

— А скоро... можно будет... вас поздравить? — снова спросил Сталин так же невнятно.

— И этого не могу вам сказать, — отвечал я. — Дело в том, что при всем моем старании я до сих пор не мог еще снискать полного расположения. А без взаимности, согласитесь сами, что за женитьба.

Легкий румянец заиграл на лице Сталина.

— Ваша правда, — сказал он более ясным голосом. — Брак без любви — одно бремя. И тот варвар, по моему мнению, кто, не получив взаимности, ведет девушку к алтарю.

Последние слова сказаны были с особенной энергией.

Сам ты варвар, подумал я. А любить без позволения дядюшки, хотя бы и старого черта, разве не варварство?

— Да, вы правы, — отвечал я ему. — Жениться без любви и искать в девице без согласия родных — для меня две вещи равно неблагоприятные.

Сталин снова смешался.

Что, дядя, гриб съел, снова подумал я, в удовольствии от искусной парировки. Нет, голубчик, я ведь не кто

другой. Со мной держи прямо, а не то разом на кочку наедешь.

Надобно вам сказать, что в продолжении разговора я частенько поглядывал на известные окна. Какое-то предчувствие говорило мне, что они недаром смотрят на бугор, хотя и закрылись занавесками. Предчувствие не обмануло меня. К концу нашего разговора одна занавеска откинулась, и что-то вроде Оленьки показалось у окна. Этот призрак Оленьки поставил на окно горшки с цветами в каком-то рассчитанном порядке и скрылся. Я взглянул на Сталина. Он уже был в нескольких шагах от меня по дороге домой. Видел ли он эти горшки, я не знаю; знаю только, что он шел ахиллесовым шагом. Я пустился догонять его.

— Погодите, Александр Петрович, — кричал я ему вслед. — Ведь нам по пути.

Вместо ответа Сталин обернулся и что-то вроде: черт возьми, прошипело в воздухе. Разумеется, что я не обратил внимания на подобные пустяки и стал толковать Сталину о какой-то, не помню, французской книге. И мне было просторно истощать свое красноречие, потому что кроме «да» и «нет» он не сказал ни слова во всю дорогу.

Проводив его до квартиры, я пошел домой переодеться, чтобы идти к Горину — пошпиковать скромную Оленьку. Меня удержали обедать. Старик имел похвальный обычай после обеда вздремнуть часика два, и я воспользовался этим случаем, чтобы узнать всю подноготную.

Не стану описывать своего разговора с нею. Скажу только, что с самым милым замешательством она призналась мне во всем. Я расскажу вам, в чем было дело, дополняя признание Оленьки исповедью Сталина, которую я услышал после.

Родители Оленьки были из России. Отец ее Николай Иванович Тихов сначала служил на своей родине, но потом переехал в Сибирь, чтобы воспользоваться чином 8-го класса, дававшим в то время право потомственного дворянства. Верно, Сибирь ему понравилась, что он и по окончании срока сибирской службы решил остаться в Т. Семейство его состояло из него, жены и Оленьки. С порядочным жалованием, при строгой экономии Тихов жил не только безбедно, но мог еще каждый год откладывать малую толику на приданое единственной своей до-

чери. Все шло как нельзя лучше. Даже был в виду и жених Оленьке — один молодой человек, служивший у отца ее помощником столоначальника. Вы, верно, догадываетесь, что этот жених был ни кто другой, как Сталин. Он часто бывал у Тихова и по делам службы и по расположению к нему начальника. К этому вскоре присоединилось еще и влечение более нежного свойства. Тиховы не без удовольствия видели искательство молодого человека, который, несмотря на свои годы, пользовался самой завидною репутацией — и как хороший чиновник и как скромный молодой человек. Но пока не подавали еще ему никакого ободрения, может быть, более потому, что Оленьке было еще только 15 лет. Между тем молодые люди делали удивительные успехи в одном приятном занятии, называемом любовью. Не проходило дня, чтоб Сталин где-нибудь не раскланялся с Оленькой, а Оленька не послала к нему обворожительной улыбки. Молоденькая кокеточка (за Оленькой, как за всякой хорошенькой девушкой, водился этот грешок) находила тысячу случаев затронуть сердце молодого человека. Сегодня удивительно любезная, с постоянной улыбкою, завтра с опущенными глазками, или с сердитой гримасой, или наконец с маленьким капризом, смотря по ходу дел и по погоде, — она всеми манерами умела обворожать Сталина. Так что наконец бедняжке стало невмочь, и он решился приступить к делу на законном основании. Признавшись Оленьке в своем намерении (чувства его были ей давно известны) — он просил у нее позволения искать ее руки. Нечего сомневаться, что Оленька не противоречила. Выбран был день, признанный обеими сторонами за самый счастливейший для подобных начинаний, именно день рождения Оленьки. Но человек предполагает, а Бог располагает. Дня за два до назначенного срока матерью Оленьки, женщиной полнокровной, сделался удар. Сколько медики не истощали усилий возратить ее к жизни, провидению не угодно было наградить их стараний. Тихова умерла. Отец Оленьки, горячо любивший свою жену, был совершенно убит своей потерей. Не слушая никаких убеждений, он каждый день ходил на могилу жены и проводил там по несколько часов сряду. Один раз застигла его непогода. Занятый единственно милым прахом, он не взял предосторожности и простудился. С ним случилась горячка, и в девятый день он лежал уже

на столе, едва успев написать письмо к брату своей жены, чтобы он поспешил взять сироту его под свою защиту. Можете представить себе убийственное положение бедной Оленьки. Она едва сама не последовала за своими родителями, и только любовь к Сталину удержала ее в живых. Начальник отца ее принял участие в бедной сироте. Он уговорил одну благородную вдову перейти в дом к Оленьке до приезда ее дяди и выхлопотал сироте пенсию. Несчастья переменили характер Оленьки. Из резвой, почти ветреной девушки она сделалась скромной девицею. Она по-прежнему любила Сталина, но обращение с ним приняло больше серьезности. О свадьбе не было и в помине. Они виделись только в церкви или на кладбище, и то в присутствии вдовы, и весь разговор их ограничивался вопросами о здоровье и погоде. А иногда дело кончалось одним молчаливым поклоном. В половине траурного срока приехал наконец давно ожидаемый дядя. Оленька ожила. Но опять повторю: человек предполагает, а бог располагает. Приезд дяди, или, лучше неосторожность Сталина перевернула все дело. Надобно было случиться, что в самый день приезда Горина Сталин гулял у Подчувашской пристани. В это время причалил паром. Между телегами Сталин заметил простую рогожную кибитку и подле нее старика не очень завидной наружности, в нанковом халате, подпоясанном платком. Старик был чем-то осержен и громко бранил одного перевозчика. Негодяй отвечал грубостями. Сталин от нечего делать подошел посмотреть на эту фламандскую сцену.

— Бездельники! — кричал старик. — Нисколько не имеют уважения...

— Было бы к чему, — отвечал грубиян перевозчик.

— Эх, братец, да вот хоть к новому халату, — сказал Сталин, не могши без смеха смотреть на карикатурное положение старика и приняв его за мелочного торговца.

Перевозчики захохотали во все горло.

Старик взглянул на Сталина, и глаза его засверкали. Но вскоре он принял спокойный вид и только сказал:

— Глупо было бы сердиться на мужика, когда и лучше его люди поступают по-мужицки.

Вместо ответа Сталин только засмеялся.

Бедняжка и не думал, что этот смех скоро вызовет горькие слезы, потому что смешной старик в нанковом халате был никто другой, как дядя Оленьки.

Не зная ничего о происходившем на берегу, Оленька через несколько дней известила Сталина о приезде дяди. Надежда на счастье заговорила в сердце молодого человека, и в первый воскресный день он явился к Горину с визитом. Представьте же себе его удивление и вместе беспокойство, когда в Горине он узнал того самого старика в халате, над которым он так некстати посмеялся. Старик тоже узнал Сталина; но он имел довольно над собой власти, чтобы скрыть свое негодование.

— Позвольте узнать, государь мой, — сказал он Сталину, — чем могу служить вам?

Сталин пробормотал что-то вместо рекомендации.

— Помнится мне, что мы уже отрекомендовались друг другу на перевозе, — отвечал Горин. — Кажется, с нас, особенно с меня, очень довольно подобной рекомендации. Не трудитесь, пожалуйста, — продолжал старик, заметив, что Сталин хочет извиниться. — Объяснения хороши там, где они нужны. А как мы, вероятно, больше с вами не встретимся, то и объясняться, я думаю, незачем.

Старик холодно поклонился Сталину и ушел в свою комнату.

Так кончился первый визит и знакомство Сталина с дядей Оленьки.

Нечего говорить, как встревожилась Оленька, узнав о происшествии на перевозе. Хотя характер дяди ей был еще не известен, однако ж она была столько опытна, что могла понять — как опасно затронуть самолюбие человека, а еще больше — незаслуженной насмешкой. Она и сердилась на Сталина и жалела об нем. Единственная надежда ее теперь была на будущее. Несколько времени Оленька убегала всех случаев встретиться со Сталиным, но когда во время одной прогулки на кладбище она увидела его бледное, похуделое лицо и грустную физиономию, сердце ее сильно заговорило в его пользу. Она позволила ему писать к ней и сама отвечала теми иероглифами, над которыми я столько ломал голову. Вы, может быть, спросите — кто же был посредником в этой переписке. О, это был посредник самый безмолвный в мире — надгробный памятник ее матери. Утром он получал вопрос, а вечером ответ, а иногда вопрос и ответ встречались в одно время. И кому бы пришло в голову, что холодная доска скрывает такие жаркие объяснения! Но

между тем надобно же было знать той и другой стороне — когда послать вопрос и когда прийти за ответом. Этому помогли горшки с цветами, которые в известные часы то ставились, то снимались с окна, выходившего на Панин бугор. Как не сказать, что любовь — чудотворица. Она не только оживила могилы умерших, но и дала смысл таким глупым вещам, каковы, например, горшки. Когда-нибудь я напишу об этом диссертацию с подобающими цитатами от троянской Елены до т-ой г-жи NN включительно, а теперь стану продолжать свою повесть.

— Вот вам, добрый Николай Алексеевич, откровенная моя исповедь, — сказала Оленька, кончив свой рассказ. — Вполне предаю себя вашему суду, не прося ни извинения, ни защиты.

Помолчав несколько времени, как прилично человеку, у которого просят совета в важном деле, я наконец бросил крылатое слово.

— Не берусь ни извинять вас, ни оправдывать. Тут такое столкновение обстоятельств, что надобно юридическую голову, чтобы решить — кто прав, кто виноват. А как военный человек, думаю, что на вашем месте я поступил бы не лучше вашего. Но позвольте спросить, что вы намерены предпринять далее?

— Я сказала уже вам, что я поручила себя в волю Божию. Если суждено мне счастье, я день и ночь буду благодарить Господа, а если нет, я постараюсь малодушный ропот подавить молитвою.

— Это делает честь христианскому вашему чувству. Но я желал бы знать, на что решитесь вы, если бы вам дали на выбор принять ту или другую сторону.

— В таком случае я молила бы Бога, чтоб он взял меня к себе, — отвечала Оленька с влажными глазами.

Этот ответ милой девушки решил меня.

— Исповедь за исповедь, Ольга Николаевна. Не зная, что ваше сердце уже занято, я надеялся по времени обратить его на свою сторону. Но теперь, узнав все дело, я не только отказываюсь от всякой дальнейшей попытки на вашу взаимность, но употребляю все усилия переломить упрямство вашего дядюшки. Надеюсь, любовь сестры будет наградой за мое старание.

Оленька вместо ответа обняла меня обеими руками и крепко поцеловала.

Не беду говорить, что происходило тогда в моем серд-

це. Я должен был вытерпеть порядочную борьбу обманутой надежды с обязанностями долга. Но Бог помог мне. Этот самый поцелуй, который в прежнее время обхватил бы молнией все мое существо, теперь канул целебною росой на мое сердце. Я полюбил Оленьку больше прежнего, но любовь моя была уже совсем другого рода.

Так как до обыкновенного пробуждения Горина оставалось еще довольно времени, а мне надобно было обдумать план действий, то я решился идти домой, не дождавшись выхода старика.

— Может быть, я сегодня же увижусь с Александром Петровичем, — сказал я, прощаясь с Оленькой, — так не угодно ли вам, милая Ольга Николаевна, уполномочить меня на полную откровенность вашего жениха.

Оленька немножко подумала.

— Погодите, Николай Алексеевич, я сейчас принесу вам полномочие.

Она ушла в свою комнату и через минуту воротилась с небольшим пакетцом.

— Отдайте это Александру Петровичу. Я уверена, что он не будет скрываться пред вами.

Я взял пакетец и простился с Оленькой.

В тот же день вечером я пошел к Сталину. И, не смотря на отзыв слуги, что барин нездоров и вряд ли может принять меня, я сказал, что пришел его вылечить, и без церемоний вошел в кабинет Сталина.

Бедняжка сидел у стола с поникнутою головой. По выражению лица его можно было заключить, что мысли его были не радостными.

— Что это с вами, Александр Петрович, — сказал я, располагаясь спокойно на стуле. — Вы, кажется, утром были совершенно здоровы?

Сталин старался подавить чувство досады, которую возбудил неожиданный мой приход.

— Не знаю, Николай Алексеич, так что-то дурно себя чувствую, — отвечал он довольно холодно.

— Дайте-ка ваш пульс, — продолжал я улыбаясь. — Я немножко маракую в медицине и, может быть, могу вам дать добрый совет.

Сталин с видимой неохотою протянул мне руку.

— Ого! да у вас рука как огонь, а пульс бьет тревогу. Велите поскорее поставить самовар да выпейте-ка зал-

пом стаканчика два-три китайской травы. Я, пожалуй, помогу вам.

— С удовольствием, — отвечал Сталин, хотя выражение лица его говорило противное, и велел подать самовар.

— А в ожидании чаю займемся-ка чем-нибудь поинтереснее, — сказал я, подвигая свой стул к Сталину. — Знаете ли, что мне привелось сегодня исправлять две должности — духовника и лекаря. Сейчас только я исповедал одну хорошенькую девицу.

Сталин посмотрел на меня с таким видом, который ясно говорил, что я или лишнее выпил, или помешался.

— Да, Александр Петрович, — продолжал я, полусуто, полусерьезно. — И хоть исповедь была не совсем мне по сердцу, однако ж я нашел утешение в том, что могу сделать одно доброе дело. Вы, верно, не забыли утреннего нашего разговора. Простившись с вами, я пошел к знакомому своему, Горину, с твердым намерением узнать расположение Ольги Николаевны.

— Что ж вы узнали? — спросил Сталин нетвердым голосом, видя, что я остановился.

— Очень плохую весть, любезный Александр Петрович. Медленность погубила меня. Я опоздал.

— Объяснитесь лучше.

— Ольга Николаевна отдала уже свое сердце одному молодому человеку.

— И вы знаете его имя? — спросил Сталин после минутного молчания с видимым замешательством.

— Да. Его зовут Александр — Петрович — Сталин, — отвечал я, произнося каждое слово отдельно.

Сталин вспыхнул.

— Николай Алексеевич, — сказал он, дрожа от волнения. — Если это шутка с вашей стороны, то согласитесь, что она оскорбительна.

— Какая шутка! Боже мой! Посмотрите на меня пристально. Кажется, так не шутят.

— С каким же намерением вы говорите мне об этом?

— А с таким, чтоб вы были со мной откровеннее.

— Позвольте вам сказать, что я все-таки не могу понять, чего вы от меня хотите.

— Странная вещь! чего хочу я? Откровенности, говорят вам, полной, подробной, без утайки. Или вы предполагаете, что отнять у меня мою задушевную мысль так же

легко, как отделать какого-нибудь халатника на перевозе?

— Боже мой! так вам все известно?

— Или вы думаете, — продолжал я с жаром, — что могильный камень не заговорит когда-нибудь о неосторожности молодых людей, которые святость могилы оскорбляют житейскими мыслями, как бы издеваясь над близорукостью родных, впрочем, почтенных и благородных людей? Что ежедневные прогулки на одно известное место и перестановка цветов на окнах не обратят наконец внимания посторонних людей и не сделают имени благородной девицы предметом двусмысленных разговоров?

Сталин был уничтожен. Он закрыл лицо рукою, и слезы готовы были брызнуть из его глаз.

— Извольте же оправдаться, молодой человек, — сказал я более дружественным тоном. — А чтоб вы не подумали, что я допрашиваю вас, не имея на то права, так вот вам мое полномочие.

Сказав это, я подал Сталину пакет, который мне дала Оленька. Сталин поспешно развернул его и вынул записку. В ней написано было только три слова: «Верьте ему совершенно».

— Ну, что ж, Александр Петрович. Еще ли намерены со мной скрываться?

Сталин крепко сжал мою руку.

— Простите меня, Николай Алексеевич, — сказал он с чувством. — Я хотя с первого свидания стал уважать вас, но есть вещи, которые опасаясь вверить даже родному брату. Теперь же, когда вам все известно и когда сама Ольга Николаевна разрешила меня на откровенность с вами, я не утаю от вас ни одной йоты. А чтоб вы более поверили моей искренности, так вот вам полная исповедь всей моей жизни.

Сказав эти слова, Сталин открыл ящик письменного стола и подал мне свой дневник. И между тем, как он ходил по комнате, я принялся читать рукопись.

Признаюсь, что чтение этой рукописи возвысило на несколько процентов уважение мое к Сталину. Не потому, чтобы дневник его состоял только из одних похвальных действий, нет! тут были и темные страницы, но потому, что я никак не ожидал найти в Сталине такого пылкою чувства, такой жажды к образованию, такого светлого взгляда на жизнь. Кроме того, самое изложение

носило печать таланта. Много страниц написано было с увлекательным красноречием сердца, блестящими красками воображения. Но что важнее, весь дневник был проникнут такою искренностью откровенности, которая не оставляла ни малейшего сомнения, что перо было полным выражением души. Не могу забыть и религиозных чувств, очень часто проявлявшихся на страницах рукописи, особенно в мрачные дни испытаний.

Окончив чтение дневника, я положил его на стол. Сталин посмотрел на меня вопросительно. Вместо ответа я встал и подошел к нему.

— Вы достойны Оленьки, — сказал я Сталину, обняв его несколько раз. — Теперь располагайте мною, как человеком, который готов для вас сделать все на свете.

Сталин крепко сжал мне руку.

— Подумаем вместе, что нам предпринять на первый раз, — продолжал я, садясь на стул. — Ведь главное — помириться со старичком. Что вы об этом думаете?

— С моей стороны, Николай Алексеевич, я готов бог знает какие принести извинения, лишь бы он забыл неуместную мою шутку.

— Так как вам видется с ним вряд ли есть возможность, то попробовать разве обратиться к нему с письмом.

— Готов и на это, хотя и не льщу себя надеждой на успех.

— А между тем, как вы обдумаете ваше письмо, я сделаю на Горина нападение — и со своей стороны, и со стороны общих наших знакомых. Нет сомнения, что и наша Оленька не откажется участвовать в этом деле.

— О, я в этом не сомневаюсь. Боюсь одного только, чтобы откровенность ее не рассердила дяди и не разрушила их отношений.

— Ну, так оставим Оленьку в резерве. Если дело пойдет на лад, мы выпустим ее из засады и окончательно срежем упряма; а если нет, так, по крайней мере, она безопасно может сделать отступление.

Условившись таким образом о плане действий и подкрепив себя чаем и надеждою на будущее, мы расстались. Я пошел домой сделать роспись тем лицам, которых хотел напустить на старика и которые стояли у него в первом разряде, а Сталин, вероятно, целую ночь продумал о письме к Горину.

На другой и следующие дни я обошел всех общих наших знакомых и с возможною осторожностью объяснил все дело. Не было ни одного из них, который бы не изъявил согласия действовать в пользу Сталина, одни, зная его лично, другие, утверждаясь в моей рекомендации.

Но увы! успехи наши были менее чем сомнительны. Несмотря на всевозможные похвалы, прямо и косвенно расточаемые Сталину, старик или молчал или старался переменить разговор. Кажется, что упрямство его возросло по мере наших усилий. Я бесновался внутренне и наружно, и были даже часы, когда я готов был употребить со стариком последний аргумент убеждения, называемый ученым образом *argumentum baculinum**.

Наконец решились отправить письмо, писанное и переписанное десять раз. Я цензуровал это послание с такой пунктуальностью, что, право, мог бы получить место главноуправляющего цензурой, по крайней мере, в делах подобного рода. Не было ни одной фразы, не слишком ясной, которой бы я не перевернул тысячу раз из опасения затронуть щекотливость старого упряма. Но все-таки дело кончилось тем, что письмо отправлено так, как оно первоначально было написано Сталиным. Жаль, что я не снял копии с этого письма. Оно могло бы занимать не последнее место в красноречии убедительном. Главная мысль письма — извинения в шутке, сказанной вовсе без намерения оскорбить. Далее следовали объяснения отношений Сталина к родителям Оленьки, его надежды на их согласие, намек на взаимность Оленьки и настоящее положение безнадежности. В заключение красовались цветы благодарности к Горину, в случае забвения неумышленной обиды, и радуга семейного счастья, утвержденного на взаимности.

Выбрав удобную минуту, когда старик был в веселом расположении, мы вручили ему письмо Сталина, разумеется, через посланца. Я нарочно был в это время у Горина, чтобы видеть — какое действие произведет письмо на старика. Но, верно, судьба подрядилась преследовать голубков, поставив между ними такого упрямого коршуна. Старик прочитал письмо и сделал только какую-то

* Буквально — палочный аргумент, переносно — осязаемое доказательство. (Р е д.)

странную гримасу. Хорошо, что Оленьки тут не было. Бедняжке несдобровать бы от этой гримасы.

— Скажи своему барину, — сказал Горин посланцу, — что я не замедлю ответом.

Эти слова были сказаны таким ледяным тоном, от которого можно бы среди лета получить насморк. Уж лучше бы упрямец рассердился!

И точно, ответ не замедлил. Но какой ответ? бедный Сталин совершенно растерялся.

Старик писал, что он нисколько не сердится на Сталина, что безрассудно было бы сердиться на каждого встречного; далее, что он не сомневается насчет хороших отношений Сталина к Тиховым и даже насчет расположения к нему Оленьки и что предоставляет племяннице своей свободный выбор между дядей и женихом. Наконец, что об одном только можно сказать утвердительно, именно: что по различию характеров он не может жить вместе со Сталиным.

После подобного ответа оставалось только сказать: «Пиши пропало!» — и скакнуть в реку. Но так как ни та ни другая сторона не решилась на подобный скачок, то мне предстояла новая довольно трудная обязанность — быть утешителем обеих сторон. Затруднение увеличивалось еще тем, что Горин знал уже о знакомстве моем со Сталиным и о любви к нему Оленьки. Но упрямец выбрал проклятую методу показывать вид, что он нисколько не занимается подобными пустяками. Этим самым он лишал меня единственного утешения — с ним побраниться. Впрочем, все шло по-прежнему, исключая только двух обстоятельств: на Панином бугре я гулял один, а горшки на окнах возвратились к первоначальному своему назначению — бестолковости.

Теперь приступаю к катастрофе, послужившей развязкою любви молодых людей.

Прошло полгода после получения ответа от Горина. Игра судьбы была расположена следующим образом. Старик занимал место короля, окружив себя башнями упрямства. Оленька и Сталин шли по дорожке черных клеток, а ваш покорный слуга, в качестве ферзя, бросался во все стороны, чтобы дать, по крайней мере, шах королю; но вся моя энергия разбивалась у подножия проклятых башен.

Один раз я пришел навестить Горина. И без большой

проницательности можно было заметить, что старик чем-то встревожен, хотя и старался скрыть свое волнение. На вопрос об Оленьке, он отвечал, что она немножко нездорова и вряд ли выйдет ко мне. Я не очень обеспокоился этим известием: Оленька, как и всякое нежное создание, нередко прихварывала, но зато никогда долго не была больна и почти всякой раз обходилась без лекаря. Но когда в продолжении разговора с Гориним вдруг неожиданно появился доктор и, поздоровавшись со стариком, отправился прямо в комнату Оленьки, я встревожился не на шутку. Верно, подумал я, болезнь довольно серьезная, что понадобился эскулап. Но все-таки я не решился передать своих мыслей Горину. К счастью моему доктор скоро вышел к нам. На вопросительный взгляд старика он положил шляпу на стол и потребовал перо и бумаги.

— Надобно будет, — сказал он, — прописать еще рецепт.

— А разве вы нашли Оленьку хуже? — спросил старик с заметным участием.

— Нельзя положительно сказать, что хуже, но у нас правило: коли не лучше — значит, лекарство не действует как надобно.

Это медицинское утешение усилило мое беспокойство.

— А есть надежда, что будет и лучше? — спросил я доктора.

— Не надобно никогда терять надежды, особенно, если пациент молод, — отвечал он довольно двусмысленно.

Доктор стал писать рецепт, а я поспешил проститься с Гориним и пошел тихо по улице в намерении остановить эскулапа и выпытать у него всю правду. Вскоре экипаж доктора поравнялся со мной; я просил остановиться на минуту.

— Ради Бога, Алексей Федорыч, не скрывайте от меня истины. Ольга Николаевна очень больна?

— С вами скрываться нечего, Николай Алексеич. Болезнь ее сама по себе не важна, но быстрота, с которой она действует, может быть губельна для больной, особенно при тревожном состоянии, которое в ней очень заметно. Надеюсь, что слова мои останутся при вас.

— Но позвольте еще одно слово. Если вы сомневаетесь в вашей больной, так не согласитесь ли вы... — Я остановился.

— На консилиум? — договорил доктор с улыбкой. —

Не беспокойтесь, я без претензий. Посмотрю, что скажет завтрашний день, а там и сам предложу Ивану Васильевичу пригласить кого-нибудь из наличных медиков.

— А давно вы пользуете Оленьку?

— Сегодня четвертый мой визит. Но она, должно быть, сделалась больна гораздо раньше. По крайней мере, я застал ее уже в постели и в очень незавидном положении.

Доктор поехал своей дорогой.

Мне сделалось тяжело и грустно. Мрачные мысли до того овладели мною, что я вместо квартиры отправился в поле, чтобы рассеяться. В четырех стенах мне было бы душно. Ну, а если... Боже мой! Придется зараз хоронить двух любимых мною особ. А нет сомнения, что Сталин не переживет этого удара, при мысли, что он сам главной его причиною. Проклятый старик! чтобы ему вместо них протянуть свои ноги!

Назавтра я снова был у Горина и нашел старика еще грустнее прежнего.

— Не лучше, — сказал он, как бы предугадывая мой вопрос. — Через час будет консилиум.

Понимая, что я тут совершенно лишний, я пожал руку старику и пошел домой, грустный как нельзя более.

Часа через два зашел ко мне Сталин. Я постарался принять самый спокойный вид, чтобы его не потревожить, если болезнь Оленьки еще ему неизвестна. К удовольствию моему, впрочем, довольно грустному, я заметил, что он ничего не знает об Оленьке. Но то ли это было предчувствие любящего сердца, или уверенность в непреклонном упрямстве старика, только не один раз вырывались у Сталина слова, что вряд ли он больше увидит Оленьку.

— К чему такое малодушие, — сказал я, стараясь казаться веселым. — А я напротив уверен, что вы скоро увидите.

Я сказал эти слова без особого значения; но вдруг мысль о загробном свидании мелькнула в моей голове и вся кровь прилила к сердцу. Должно быть, я переменялся в лице, потому что Сталин покачал головой и сказал:

— Выражение вашего лица говорит совершенно противное.

Я не отвечал. И что мог бы я сказать, чтобы объяснить мое волнение.

— Знаете ли что, Николай Алексеич, — сказал Сталин после минутного молчания. — Передумав прошлое и обсудив настоящее мое положение, я решил бежать из Т.

— Это зачем? — спросил я, изумленный его словами.

— А затем, что разлука, может быть, успокоит Оленьку. О себе я ровно не забочусь. А то, при всем старании избежать встреч, они случаются против воли и только раздражают наше мучение. На днях я подам отпуск и уеду далеко-далеко отсюда, унося только воспоминание о счастье.

Я воспользовался этим обстоятельством, чтобы отвлечь мысль его об Оленьке. Стали выбирать — куда бы ему лучше ехать. И, хотя имя милой девушки нередко проскакивало в нашей беседе, но все-таки оно поглощалось другою идеей. И вечер прошел без большой тревоги.

На другой день утром я снова был у Горина в надежде услышать добрую весть. Но Горина не было. Он с полчаса как ушел в аптеку. Мне пришла мысль навестить Оленьку, и я послал служанку спросить у нее — может ли она меня принять. Через минуту я был в спальне у Оленьки. Боже мой! это вовсе не Оленька! это какое-то бледное привидение, которое приняло только черты Оленьки. Слеза невольно выкатилась у меня из глаз.

— Добрый Николай Алексеич, — сказала больная, протянув ко мне маленькую бледную ручку. — Не тревожьтесь. Ведь вы знаете, что наружность обманчива. А я, право, с некоторого времени чувствую себя гораздо лучше.

И она силилась улыбнуться.

— Я не тревожусь, милая Ольга Николаевна. Слеза моя только дань чувству при виде такой перемены с вами. Не тревожусь тем более, что медики нашли вас далеко не в опасном положении.

— Вы думаете? — сказала она, грустно улыбнувшись. — Ну, это дело они знают лучше меня. Но что говорить о таком скучном предмете. Скажите лучше, что он, все ли грустит по-прежнему?

— Если бы я сказал, что он спокоен, вы бы сами этому не поверили. Но он не теряет надежды на благость небес. В чувствах же ваших он не смеет сомневаться.

Оленька приметно сделалась веселее.

— А он знает о моей болезни?

— Нет, я не говорил ему об этом. Да и зачем трево-

жить его? Бог даст, вы скоро сами расскажете ему о вашей болезни.

В это время вошел старик и разговор прекратился.

В тот же день я обегал всех докторов, бывших в консилиуме. Но на беду, от всех слышал двусмысленные выражения, с вечной ссылкой на молодость и свежий организм. Потеряв надежду на людей, я прибегнул к Богу. Вечером того же дня я пошел в собор и отслужил молебен Спасителю о здоровье Оленьки. Нечего говорить, что я молился усердно. Какая-то неизъяснимая отрада разлилась в моем сердце, когда во время чтения Св. Евангелия священник произнес слова: придите ко мне все труждающиеся и обремененные и аз успокою вы. Надежда на помощь доброго Пастыря засветилась во мне новым светом. Я пошел домой, облегченный и утешенный.

Но меня ожидало еще новое испытание.

Едва только вошел я в дом, человек мой подал мне записку от Горина. Старик просит немедленно прийти к нему.

Боже мой! ужли Оленька?.. Ноги у меня подкашивались. Я почти без памяти выбежал из дома, взял первого попавшегося мне извозчика и велел скакать к Горину. Вдруг на повороте в кузнечную улицу, где жил старик, я неожиданно встретил знакомого доктора Д., который шел ко мне навстречу. Мне тот час же пришло в голову его искусство и решительность. Вспомнил об отчаянно больных, от которых отказались все другие медики и которых он возвращал к жизни. Правда, решительность его в некоторых случаях, имевших печальный конец, пугала меня, но я тотчас же подумал, что не мог же он остановить жизни, когда ей назначено было оставить земную свою храмину. А может быть, это посланник божий? И, не раздумывая более, я остановил лошадь, попросил доктора сесть ко мне на дрожки и повез его к Горину.

Старик ходил по зале, ломая руки. В несколько дней он постарел десятью годами.

Чтобы предупредить его о приезде доктора Д., я, не снимая шинели, вошел в залу и сказал:

— Я привез к вам доктора, на которого можно положиться. Ведите его скорее к больной.

Горин машинально подал руку доктору.

— Покажите вашу больную, — сказал Д., кладя на стол свою фуражку.

Его провели в спальню Оленьки. Мы пошли за ним.

Вы знаете Д., знаете магнетический взгляд его, который редко кто выдерживает. Немудрено, что Оленька при своей слабости не могла вынести этого огня, который горел в глазах Д. Она закрыла глаза.

Доктор молча взял ее руку.

Мы не смелидохнуть. Вопрос шел о жизни или смерти. Глаза наши были прикованы к Д. Малейшее движение в лице его могло убить нас отчаянием, или оживить сладкою надеждой. Я внутренне взывал к Целителю душ и телес, прося Его всемогущей помощи. Что думал старик, я не знаю; но вид его был не краше приговоренного к пытке.

Пощупав пульс, доктор подошел к столику, на котором стояли лекарства. Он отведал почти из всех стлянок и сделал небольшую гримасу.

— Скажите, пожалуйста, — спросил он, обращаясь ко мне, — как давно она больна?

— Будет около двух недель.

— Ну а не можете ли сказать причины ее болезни.

— Кажется, простуда, — отвечал я, посмотрев на Горина.

Старик утвердительно качнул головой.

— Нет, не то, Николай Алексеич, мне нужно знать, не было ли какой-нибудь психической причины, — продолжал Д., выходя с нами в комнату, соседнюю со спальней. — Мне кажется, что к больной нельзя применить известной пословицы: в здоровом теле — здорова и душа, а разве наоборот: при здоровой душе — здорово и тело? А? как вы думаете?

Вопрос был довольно щекотлив. Я взглянул на Горина. Он сделал какой-то неясный жест рукою и ушел в залу. Я намекнул доктору о несчастной любви.

— Ну, так в этом случае лекарства не помогут. Что это — отец больной? — спросил Д., указав на залу, в которой рассказывал Горин.

— Нет, дядя.

— А! — и с этим звуком Д. вошел в залу.

— Милостивый государь, — сказал он, подходя к Горину. — Извините, что я не знаю ни имени вашего, ни отчества. Ваша больная на волосок от смерти. Одно сред-

ство попытаться спасти ее — это сильное потрясение. Радость, испуг или что-нибудь подобное. Предоставляю на вашу волю выбрать такое, какое заблагорассудите. Ваш покорный слуга.

И Д. вышел из комнаты.

Я взглянул на старика. Он как бы прирос к месту, где оставил его доктор.

Последовало молчание — недолгое, но убийственное. Я боялся нерешимости Горина. Что думал старик, это вы узнаете из его слов, которые он наконец вымолвил.

— Послушайте, Николай Алексеич, поезжайте к Сталину и привезите его сюда.

Не отвечая ни слова, я со всех ног бросился из дома и поскакал к Сталину. Через четверть часа я привел его в дом старика. Бедный молодой человек, которому я дорогой наметнул о болезни Оленьки, не помнил себя от волнения. Он вошел с таким расстроенным видом, что можно было опасаться за его рассудок.

— Молодой человек, спасите Оленьку, и она ваша! — сказал Горин, почти не поднимая глаз на Сталина.

Сталин бросился в комнату Оленьки, но я успел удержать его.

— Подождите здесь. Надобно немного приготовить ее.

И, оставив его у дверей, я вошел к больной.

При моем входе Оленька открыла глаза и силилась улыбнуться.

— Вот видите ли, Ольга Николаевна, — сказал я весело, подходя к ней. — Вчера вы сомневались в моих словах насчет скорого свидания, а Бог сделал это скорее, чем мы ожидали.

Глаза Оленьки раскрылись с особою живостью.

— Ваша болезнь была лекарством любви. Дядюшка ваш наконец готов простить Александра Петровича.

— Не обманывайте меня, Николай Алексеич, — сказала Оленька с сомнением.

— Сохрани Бог, чтоб я осмелился шутить такими вещами. Скажу вам более. Иван Васильич уже помирился с Александром Петровичем, и если хотите, так вы сегодня же можете его видеть.

Оленька не отвечала ни слова. Грудь ее сильно поднималась, и легкий румянец пробежал по ее бледному лицу.

— Что же вы не отвечаете, Ольга Николаевна. Согласны вы видеть Александра Петровича?

— Боже мой! — сказала наконец Оленька, и слеза скатилась по ее щеке. — О, если б я уверилась, что вы говорите правду.

— Так подите же сюда, Александр Петрович, — сказал я, обращаясь к дверям, за которыми стоял Сталин, — и уверьте вашу невесту, что я ее не обманываю.

Слово «невеста» я сказал с особенным ударением.

Сталин быстро вошел в комнату и, рыдая, упал на колени подле кровати Оленьки.

— Господи, спаси ее! — сказал я мысленно, отходя к двери.

Несколько времени продолжалось молчание. Сталин осыпал поцелуями протянутую к нему ручку Оленьки, а Оленька, закрыв другой рукой лицо свое, шептала едва слышно:

— Боже мой! и это не обман! не сон!

— Теперь довольно, — сказал я Сталину, спустя четверть часа после их безмолвного свидания. — Доктор запретил сильное движение. Вот вечером Ольга Николаевна успокоится, и вы можете снова навестить ее.

Не без труда отвлек я Сталина от постели Оленьки и увез к себе домой. Старик не показывался.

Вечером того же дня я заехал за Д., рассказал ему сцену свидания и просил посмотреть — какое действие оно произвело на больную.

Горин ждал доктора с нетерпением.

— Вы, я слышал, были немножко сегодня встревожены, — сказал Д., войдя к больной. — Позвольте-ка ваш пульс... А что, уснула ли ваша племянница? — Продолжал Д., обращаясь к Горину.

— Да, доктор, она спала несколько часов и только незадолго перед вами проснулась.

— Значит, недаром сказано, что сон — целитель недугов. Пульс так хорош, как только можно ожидать после такой слабости. Теперь можете поздравить себя с племянницей.

Горин вместо ответа кинулся обнимать доктора, а я подошел к Оленьке и расцеловал ее ручку.

— Но вы, доктор, верно, посетите еще больную, — сказал Горин.

— Непременно, хотя, правду сказать, в этом нет

большой надобности. Но у нас лекарей есть маленькая слабость — восхищаться своими успехами. Теперь эту батарею в сторону, — продолжал Д., указывая на стаканы. — А дайте ей лучше немного супу из курицы или крепительного бульону. До свидания, сударыня. Советую уснуть хорошенько, чтобы приготовить ножки ваши пройти — вот хоть сначала до этого окна.

Уходя домой, Д. столкнулся со Сталиным, которого нетерпение привело к Горину раньше назначенного срока. Д. взглянул на меня.

— Александр Петрович Сталин, жених вашей пациентки.

Д. окинул Сталина огненным своим взглядом.

— Да, Александр Петрович, — сказал он с улыбкою, — вам можно дать степень доктора медицины и хирургии без экзамена. Один ваш визит больше сделал, чем вся наша латынь.

— Но, доктор, вы не сомневаетесь в излечении Ольги Николаевны? — спросил Сталин в волнении.

— Будьте спокойны. Меньше чем через месяц вы можете пригласить меня на вашу свадьбу.

Сталин крепко сжал руку Д.

Теперь другая сцена ожидала Сталина. Первый предмет, попавшийся ему на глаза при входе в залу был Горин. Сталин поклонился и невольно остановился у дверей.

— Подойдите сюда, молодой человек. Не бойтесь меня. Когда я прощаю, то прощаю от чистого сердца. Но чтобы не было больше недоразумений между нами, я по праву старика и дяди вашей невесты позволяю себе сказать несколько слов о первой нашей встрече. Прошу не прерывать меня. Вы, верно, считали меня жестоким эгоистом, упрямым, а насмешку свою легкой шуткой. Смею возразить вам в обоих случаях. Если каждый человек, сколько-нибудь чувствующий свое достоинство, обязан защищать себя от оскорблений, то это чувство охранения чести становится еще необходимее в мои годы и в моем положении. Для старика путь уже кончен. Не сделав ничего, в чем могла бы упрекнуть его совесть, старик считает свои седины щитом, охраняющим его от оскорблений, а путь, пройденный им в течение многих лет не без успеха, — это диплом его на уважение других. И вдруг этот старик случайно встречается с молодым человеком

и, без всякого повода со своей стороны, делается предметом его насмешки только потому, что у него не коляска, а рогоженная кибитка; что он не в дорогом плаще, а в простом нанковом халате. И что всего прискорбнее, что этот молодой человек становится в ряд грубой черни и тешится одобрительным их хохотом. Согласитесь сами, что есть вещи, которые долго помнятся, и что этот поступок молодого человека принадлежит к числу этих вещей. Но дело кончено. Судьба заступилась за вас. Болезнь Оленьки, или, скорее, чувство, которое вы ей внушили, — были нашими примирителями. Обнимите меня и счастьем Оленьки постарайтесь изгладить малейшее воспоминание о вашем поступке.

— Поверьте, Иван Васильич, — отвечал Сталин с горящим от стыда лицом и со слезами внутреннего укора, — поверьте, что никто, может быть, столько не упрекал меня в необдуманном поступке, как я сам. Бог свидетель, что я никогда не имел намерения оскорбить — не только вас, но и никого на свете. Это был горький урок человеку, которого все называли рассудительным. Страдать одному тяжело, а видеть страдания другого лица, за которого готов бы отдать душу, и чувствовать с тем, что ты сам виною этих страданий, — о это такая мука, которой не дай бог испытать ни одному человеку! А я — я испытал это...

— Ну, Бог вас простит, — сказал Горин, обняв Сталина. — Пойдем к Оленьке.

Оленька только увидела, что дядя держит дружески Сталина за руку, всплеснула ручками и вскричала:

— О, теперь я чувствую, что я не умру.

Что же вам сказать еще? Разве только то, что Оленька была больна в мае, а в феврале следующего года я пил уже у Сталиных за здоровье новорожденного Вани.

Академик замолчал и пошел набить себе трубку.

— Завтра же отправляюсь на бугор — сделать ревизию дому, — сказал Таз-баши, ероша свой чуб.

— Напрасный труд, любезный Таз-баши, — отвечал Академик. — Этот дом теперь так изменился, что вряд ли сами герои моей повести, если б они приехали из России, могли узнать его.

— Так отправлюсь к Д. и спрошу его о пациентке двадцатых годов.

— Это немного повернее. Может быть, доктор помнит еще Оленьку.

— Ну, а вы о чем задумались, г. полковник, — продолжал Таз-баши, приметив, что Безруковский сидит повеся голову.

— Мне хотелось бы узнать, какую мысль можно извлечь из рассказа, — отвечал Безруковский.

— Э, ваше высокоблагородие, чем затрудняться изволите! Да тут мыслей больше, чем у старухи зубов. Хотите, я тотчас брошу уду и выловлю их несколько штук. Например: кстати сделанный прыжок может иногда привести к важному открытию; или — не должно смеяться над человеком в халате, потому что это может быть дядя твоей возлюбленной; или — весь мир наполнен обманами.

— Ну, эти мысли годны только для твоего масштаба, — сказал Безруковский, рассмеявшись.

— А вам хотелось бы отыскать мысль по масштабу полковничьему? Признаюсь, ум мой не созрел еще до подобной высоты, и всего-то он только в капитанском ранге.

— Не знаю, как вам понравится, — сказал Лесняк, — а я бы извлек следующую мысль: не должно никогда отчаиваться. Провидение может употребить самое несчастье средством для нашего счастья.

— Это в религиозном отношении, — сказал Безруковский, — часто малейший случай, на который мы не обращаем внимания, решает всю нашу будущность.

— Ну, а ты что ж, дер-фон? Вытягивай мысль из этого глубокомысленного рассказа, — сказал Таз-баши, обращаясь к Немцу.

— Изволь, если тебе угодно. Например, как тебе понравится следующая? из беседы каждый выносит что-нибудь по своему разумению, — кто светлую мысль, кто доброе чувство, а кто только одну прибаутку.

Таз-баши состроил гримасу; но прежде чем он успел отразить шутку, Безруковский сказал:

— Полно, любезный Таз-баши, хлопать пустые заряды. Подумай-ка лучше о своей очереди. Дедушка твой, чай, давно уже выставил из могилы своей ухо, чтоб послушать рассказ внука об его похождениях.

Таз-баши вместо ответа отпил до половины стакан с чаем, взял новую сигару, разгладил усы и начал:

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАКИМ ОБРАЗОМ МОЙ ДЕДУШКА,
БЫВШИЙ ПРИ ЦАРЕ КУЧУМЕ ПЕРВЫМ МУФТИЕМ,
ВКУСИЛ РОМАНЕИ И КАК ТРИ КУПЦА ХОДИЛИ ПО
ГОРОДУ

(рассказ, исполненный грации)

— Романея и грация! — заметил, как бы про себя, Академик.

— Уж известно — татарская, — отвечал Безруковский с улыбкою.

Это было в тысячу... в тысячу... одним словом, в пятый год правления дедушки. Не подумайте, однако ж, чтобы в первые четыре года дедушка мой не сделал ничего достойного истории. Совсем нет! Вся жизнь дедушки могла бы доставить богатые материалы и для историка и для философа и для романиста. Но я хочу пользоваться правом рассказчика — заставить читателей или слушателей прыгать чрез целые пятилетия. Для меня весело, а для них подобное движение полезно. Впрочем, по окончании наших вечеров, когда мне удастся хоть сажени на две исчерпать глубину походов дедушки, я постараюсь исправить каприз рассказчика и представлю вам хронологический перечень главнейших событий в жизни дедушки. Это долг мой пред отечеством, человечеством, и особенно пред теми лицами, которых судьба возводит на высшие ступени лестницы чиновничества.

Я сказал уже, что это случилось в пятый год правления дедушки. А это это состояло в следующем.

Однажды секретарь дедушки вошел к нему не в урочное время. Дело, должно быть, было очень важное, потому что дедушка не любил, чтобы в свободное время его развлекали делами. Взглянув грозно на своего секретаря и потом на стоявшую в углу бамбуковую трость, дедушка мой сделал какой-то масонский жест рукой. То ли он этим выражал: *говори*, или только простое: *поколочу*, — право, я не могу вам сказать этого. Но, верно, секретарь хорошо знал привычки дедушки, потому что вместо ответа только наклонил голову. Дедушка смягчил свой грозный вид.

— Говори, Нияс, — сказал он наконец, — мы слушаем.

Секретарь поднял голову.

— Из-за рифейского камня от Московитских стран к нам пришли гяуры, — сказал он тихим голосом.

Дедушка встрепенулся.

— Гяуры, ты говоришь? — вскричал он, и глаза его невольно обратились в другой угол, где висела его сабля. — Ну, что ж! Добро пожаловать! Сабли наши еще не приросли к ножнам.

— Гяуры пришли не за нами, а за нашими кисами. Это не воины, а купцы, — продолжал секретарь тем же голосом.

— А! — сказал дедушка, успокаиваясь от вспышки воинственности. — А сколько гяуров?

— Трое, ваше высокоочиние.

— Э! А много у них товаров?

— Кладь порядочная.

— О! Что ж ты сказал им?

— Я говорил им, что без разрешения муфтия они не могут продать ни на одну полушку.

— Ну?

— А чтоб получить разрешение, надобно им внести известную пошлину — в государственную казну.

«Секретарь у меня не дурак», — подумал мой дедушка.

— Что ж гяуры? — спросил он вслух.

— Они сказали, что для вашего высокоочиния у них приготовлены дары, но что они желают вручить их лично.

Как дедушка ни желал поскорее видеть подарки, но долг муфтия обязывал его медлить и показать этим гяурам, что доступ к муфтию великого хана Кучума не так-то легок, как они по простоте своей, может быть, думают.

— Скажи им, что я завален делами, и не раньше как через три дня могу допустить их к себе, а до тех пор товары их припечатать.

Секретарь поклонился.

— Да не мешает намекнуть этим торгашам, что я пустяками рук не мараю.

Секретарь опять поклонился и вышел из кабинета дедушки так же тихо, как и вошел.

«У этих московитян, говорят, жены — что твоя луна, а

дочери краше шиповника, — думал дедушка, поглаживая свою бороду. — Не дурно было бы этак двух-трех гяурок завербовать в свой гарем. А то хан Кучум смеется, что у первого муфтия его всего-то одна жена».

Занявшись такими приятными мечтами, дедушка мой забыл даже, что ему в этот день надобно было отколотить несколько правоверных, которые имели несчастье заслужить его немилость.

Но вот прошли трое суток.

Накануне дня, назначенного для приема, дедушка отдал приказ убрать кабинет свой лучшими коврами, какие только могли найтись в его кладовой, а сам приготовился облечься в праздничное платье, чтобы гяуры по этой роскоши могли иметь высокую идею о великолепии Кучумова двора.

Наконец, яркое солнце возвестило наступление давно ожидаемого дня. Кабинет дедушки превратился в великолепный чертог, а сам дедушка сиял таким блеском наряда и величия, что можно было страшиться за глаза гяуров. К довершению эффекта, у дверей стояли два старые татарина в красных халатах с палками в руках. О, дедушка мой умел показать себя, когда было нужно.

Секретарь ввел русских купцов. Их было трое: Иван Буренин, да Сидор Дуренин, да Кузьма Беремин. У каждого из них под мышкой был порядочный узел, должно быть, с дарами для муфтия. Поклонившись в пояс, купцы остановились у дверей, поглаживая свои бороды.

— Спроси, что им надобно, — сказал дедушка толмачу, развалившись на наре с великим достоинством.

Толмач обратился к купцам с вопросом.

— Мы пришли из-за рифейского камня, из святой Руси, — отвечал старший из купцов, — поклониться его высокомоchie вот этими дарами. Пусть обрадует нас его милость принятием наших товарцев.

Толмач перевел слова купца.

— Хорошо, пусть покажут, — отвечал дедушка с небрежным видом, хотя, правду сказать, глаза его давно уж рылись в узлах у купцов.

Купец Буренин развязал свой узел и вынул цветной кусок чего-то похожего на сукно и положил его к ногам дедушки.

— Это вашему высокомоchie на кафтан, — сказал он с низким поклоном.

Дедушке, отличному знатоку в вещах, очень понравился яркий цвет материи, и он сделал одобрителное кивание.

— Что далее? — сказал он толмачу.

Тут развернул свой узел купец Дуренин.

— Вот это для сожительницы его высокомочия, — сказал он, положив желтую шелковую материю к ногам дедушки.

— Идет, — сказал дедушка. — Только передай торгашу, что хоть теперь у меня одна жена, но что я сосватал уже двух невест разом.

Толмач перевел купцу слова муфтия.

— Доложи его высокомочию, — отвечал Дуренин, — что я не знал этого и потому принес только один кусок, но что вечером постараюсь доставить еще два, не хуже этого.

— Далее, — сказал дедушка.

Выступил Беремин и вынул из узелка своего разные разности, начиная от серег до тесемки включительно.

— Вот это для деток его высокомочия, коли они имеются.

— Хорошо, — сказал дедушка.

— А это что у него за пазухой, — продолжал он, указывая на Буренина, у которого что-то торчало из-под кафтана.

— Это тоже подарок его высокомочию, — отвечал Буренин, вынимая из-за пазухи тщательно закупоренную флягу.

— А какой бес в ней посажен? — спросил дедушка с любопытством.

— Это наша романея, — был ответ Буренина.

— Романея! — вскричал дедушка, удивленный таким неслыханным названием. — Этого слова нет в нашем языке. А что за хитрость — романея?

— Это, видишь, питье, которое веселит сердце человека, чем бы он окручинен ни был.

— Так поэтому, должно быть, знатная вещь — романея. Ладно! Сложить все это в угол и спросить торгашей, что еще им надобно.

— Во всем свете ходит слух, — отвечал Буренин, — о богатстве сибирской земли, особливо за счет пушнины. Так мы желали бы обменять наши товары на мягкую рухлядь.

— Дело возможное, — сказал дедушка, приняв важный вид. — Пусть меняют. Только чтоб они на этот раз не смели никого обманывать...

Тут дедушка подал условный знак; один из стражей передал его в сени, и, только что толмач успел перевести купцам слова министра, в комнату вошел татарин с блюдом, на котором красовалось не более не менее как человеческое ухо.

При виде этого кушанья Буренин спрятался за Дуренина, Дуренин за Беремина, а Беремин обеими руками схватился за свои уши, к явному удовольствию дедушки и его свиты.

Надо вам сказать, что это ухо была одна из дипломатических тонкостей дедушки. Ухо это было отрезано еще в день приезда купцов, кажется, за любопытное желание одного правоверного подслушать секретный разговор муфтия с одной особой, но дедушка, удивительно умевший пользоваться всяким случаем для достижения своих целей, приказал держать его на льду до дня приема.

«Теперь эти гяуры будут держать ухо востро», — подумал дедушка, видя, какое действие произвела на купцов его дипломатика.

— Хорошо, — сказал он вслух, насладившись испугом купцов. — Бросить его собакам, а торгашам сказать, что я даю им позволение производить мену в продолжение целых трех дней. А коли они захотят продлить срок мены, то пусть явятся за новым позволением.

Купцы вышли. Подарки размещены в кладовые по надлежащим отделениям. Только фляга с романеей осталась подле дедушки.

Оставшись один, дедушка взял флягу и стал рассматривать ее с большой своей проницательностью. Несколько времени он вертел ее в руках, подносил к свету, постукивал пальцами. Особенно темно-вишневый цвет романеи обратил его внимание.

— Теперь попробовать, что это за вещь — романея, — сказал дедушка, откупоривая флягу.

Его ожидало новое наслаждение.

Едва только пробка вынута была из своего заключения, вдруг разлился такой аромат, перед которым побледнел запах липы и шиповника. Невольно дедушка закрыл глаза и несколько раз втягивал в нос свой воздух, напитанный благовонием романеи.

— Коли вкус также приятен, как запах, — сказал наконец дедушка, начавший чувствовать наркотическое влияние напитка, — то надо сознаться, что эти гяуры не совсем бестолковые головы.

С этими словами он поднял флягу обеими руками и сделал несколько глотков. Одобрительная усмешка и щелканье языка говорили ясно, что русский напиток пришел по его вкусу.

— Да, недурно! И если правда, что она еще веселит сердце, то это выходит просто — клад! Повеселимся же немного, сначала так — для пробы.

И дедушка стал время от времени прикладываться к фляге. Сколько сделал он глотков, об этом нет ничего в летописях, но должно быть немало, потому что вскоре лицо дедушки засияло удовольствием самого красного цвета, а глаза плавали в неге упоения.

— На первый раз будет, — сказал дедушка, тщательно закупоривая флягу. — Посмотрим — как продолжительно действие романи.

Дедушка встал и запрятал флягу в самое неприступное место. И хорошо, что он это сделал, потому что через минуту вошел к нему посланец от Кучума. Надев платье попроще, дедушка немедленно отправился во дворец в самом приятном расположении духа.

Хан Кучум не мог не заметить особенного удовольствия, сиявшего на лице его первого муфтия. И лишь только тот сделал ему обычный поклон, хан спросил его:

— Поэтому добрые вести, Сафар, что ты так весел?

— Великий хан! Может ли раб не быть в восторге, когда повелитель удостоивает его своим вниманием, — отвечал дедушка с подобающим благоговением.

— Все так, да сегодня у тебя лицо что-то чересчур светло. Или нашел, наконец, другую жену, под пару первой? А?

— На что мне еще жен, повелитель, когда их у меня и без того много.

— Как это? Разве недавно? А то всего-то у тебя была только Зюльма.

— Это последняя моя жена, повелитель. Первая моя жена — безграничная к тебе преданность; вторая жена — забота о твоём обширном царстве; а Зюльма, выходит, жена последняя.

Кучум внутренне был восхищен красноречием дедушки и возымел высокое понятие об уме своего муфтия.

— А кстати, — сказал хан, — я слышал, что к нам приехали московитские купцы. Ты видел их?

— Видел, повелитель.

— Ну, что, зачем они к нам пожаловали?

— Дело известное, повелитель. Чему быть на уме у торгашей — кроме барышей. Они приехали променять свои товары на наших лисиц и соболей.

— Смотри, так ли это, — сказал хан, глядя пристально на дедушку. — У гяуров хитрости больше, чем волос на их головах.

— Успокойся, повелитель. Стоит взглянуть только на этих купцов, чтоб оставить всякое опасение. Лица у них так глупы, что только разве в насмешку можно их называть хитрецами.

Дедушка говорил это от чистого сердца. Ему и в голову не приходило, что через несколько лет он будет жестоко оплакивать свою ошибку. Так ошибаются и великие люди! Но об этом вы узнаете после. Не будем упреждать происшествий.

— Ну их к диву! — сказал хан, сделав презрительный жест рукой. — Я позвал тебя не за тем, чтоб заниматься этим дразгом. Сегодня я худо спал и скучаю немилостию. Ты иногда умел развлекать меня.

Сказать в настоящее время об этом дедушке значило выманить весной соловья на песню. Он, по знаку Кучума, занял место у ног его и раскрыл медоточивые уста свои во всю их широту. О, зачем я не имею таланта моего дедушки, чтоб передать вам цветы его красноречия! Это был бы такой рассказ, после которого всякий книжник, тешащий публику подобными изделиями, с отчаяния сломал бы перо и в целую жизнь не провел бы ни единой черты на бумаге. И чего тут не было — в этом потоке импровизации! Анекдоты сменялись остротами, остроты — алкораном, алкоран — рапсодиями. Попеременно, то поэт, то оратор, дедушка иногда бросал лиру и громы, надевал шутовский колпак и тешил хана Кучума побасенками. Кучум таял от наслаждения. Хлопанье в ладоши или порывы смеха выражали овладевавшие им чувства. В один этот вечер, благодаря романее, дедушка вырос в глазах Кучума на две четверти, что с обыкновенной его мерой давало ему около двух с половиной аршин.

Наконец — не истощение красноречия дедушки, а поздний час и, может быть, потребность для хана других удовольствий прекратили беседу. Кучум отпустил дедушку, но, отпуская, сказал:

— Спасибо, Сафар. Ты доставил мне приятный вечер. Завтра постараюсь наградить тебя по-хански.

Можете угадать, как горделиво вышел дедушка из дворца. Воротясь домой, он еще приложился к чудесной стеклянке, навестил Зюльму и уснул, упоенный настоящим и будущим.

Так прошел первый день с приема купцов и романи. А купцы все время ходили по городу и меняли товары.

На другой день странный шум около дома извлек дедушку из сладкого сна. Желая узнать, что значит этот шум, он набросил на себя халат и вышел в сени. Здесь первый предмет, поразивший дедушку, были царские носилки.

— Что бы это значило, — подумал дедушка, немного встревоженный этим видом.

Тут подошел к нему один из носильщиков.

— Хан прислал подарок вашему высокомоучию, — сказал носильщик с низким поклоном.

— А где же он?

— В вашем гареме.

— А! Это, должно быть, что-нибудь для Зюльмы, — подумал дедушка и тотчас же отправился в гарем обрешивать подарок.

Но каково было его удивление, когда в гареме он кроме Зюльмы увидел другую женщину в богатом наряде, под покрывалом. Не понимая, что это значит, он смотрел вопросительно то на Зюльму, то на незнакомку.

Наконец, незнакомка подняла свое покрывало, и дедушка мой в испуге узнал в ней одну из жен Кучума. Догадка о награде заставила дедушку сделать два шага назад.

— Доволен ли ты, Сафар, подарком хана, — сказала отставная ханша, стараясь улыбкой придать приятности сорокалетнему своему лицу.

Дедушка мысленно желал бы провалиться сквозь землю вместе с подарком; но страх оскорбить Кучума заставил его проглотить свою досаду.

— Повелитель награждает меня выше заслуги, — от-

вечал дедушка, сложив с покорностью руки на груди.

— Отчего же твое смущение, Сафар? — спросила со- рокалетняя красавица.

— Прекрасная ханша! Другого имени не будет тебе. Как мне не смущаться от такой высокой награды! И могу ли я быть столько дерзок, чтобы надеяться, что и тебе не противно это перемещение.

— Я раба хана, и мое удовольствие — исполнять его повеления.

— О, я счастливее теперь пророка, — вскричал дедушка, — и бегу упасть к ногам повелителя.

Дедушка точно пошел к хану, но, верно, больше по обязанности, чем по желанию. Потому что, прежде чем пришел он во дворец, он обошел кругом почти всю столицу.

— Я был уверен, что ты останешься доволен моей наградой, — сказал Кучум, когда дедушка кончил приготовленную им рацею. — Фатъма — добрая жена. Больше 20 лет я был счастлив с нею. Надеюсь, что и тебе немножко достанется счастья.

По возвращении домой дедушка заперся в своем кабинете и, должно быть, с радости хватил двойной прием романей.

Волшебный напиток не замедлил произвести свое действие. С каждой минутой испарялась печаль дедушки, и место ее заняла неизъяснимая отрада. Приняв самое удобное положение на своей постели, дедушка мой совершенно предался влиянию очаровательницы. И она начала свою волшебную игру. Прокатила успокоительный трепет по всем его жилам, зарумянила щеки огнем своего дыхания, весело посмотрела ему в глаза и стала ласкать его сердце чудесной своей ручкой. Растаяло ретивое дедушки под ласками русской красавицы. Застучало о каждую жилку и нервочку. Хотело бы из груди вырваться и понестись туда, куда с солнечным лучом летит жаворонок. Но это было только начало чар волшебницы. Встрепенув сердце, она перенеслась в голову дедушки, подула на его мозг чудным обаянием и стала рисовать на нем пленительные образы. И чего только, подумаешь, тут не было! Вот дом дедушки, но такой убранный, украшенный, раззолоченный, что пред ним дворец Кучума был только лачужка! Вот его Зюльма — да такая милочка, что перед ней были меньше чем ничто самые гурии.

Даже сорокалетняя Фатьма явилась ни более ни менее как владычицей всех глаз и сердец. Дедушка не один раз задумывал посмотреть — так ли хороша она в действительности, но ему было жаль расстаться со своей постелью. Наконец волшебница стала накидывать на глаза дедушки покрывало все темнее и темнее. Глаза его, не видя ничего более, закрылись, одна рука опустилась на нару, а другая закинулась на изголовье. Он заснул в самых приятных грезах.

Так прошел второй день после приема купцов и романей. А купцы все ходят себе по городу да меняют товары.

На третий день, только что дедушка проснулся, за ним явился посланец ханский.

— Что, верно, хан опять хмурится, — спросил дедушка, спеша одеваться.

— Да, ваше высокопочтение. Повелитель больно сердит сегодня.

— Ну, хорошо, постараемся разгладить его морщины, — сказал дедушка весело и пошел за посланцем.

— Поди сюда! — закричал царь Кучум, едва только дедушка переставил ногу за порог дворца. — Или милость моя совсем отуманила дерзкую твою голову, или мой дар мал для такого ничтожного раба, как ты.

Этот прием так озадачил дедушку, что он осатанел (? — В.У.) на месте.

— Говори, я тебя спрашиваю, — снова вскричал Кучум, видя, что дедушка не отвечает.

— Повелитель Сибири, — сказал наконец дедушка, опустив голову. — Ум твоего ничтожного раба так мал, что не может изъяснить твоего ханского гнева.

— А почему ты отвергнул ласки Фатьмы и оставил ее вдовой в первый день твоей женитьбы? А?

Наконец дедушка понял, в чем дело. Сорокалетняя красавица, верно, нажаловалась царю на его холодность. Едва эта мысль мелькнула в голове дедушки, ум его уже нашел увертку.

— Удостой выслушать мое оправдание, повелитель. Не холодность к Фатьме, как ты думаешь, но другое, более достойное чувство удержало мои порывы. В такое короткое время я не мог свыкнуться с мыслью — быть мужем той, которую повелитель так долго удостоивал своей любви.

Кучум, видимо, смягчился.

— Хорошо, — сказал он спокойнее. — Но надеюсь завтра услышать, что Фатьма тебе жена не по одному имени.

Дедушка отправился домой в досаде на хана, на Фатьму, на целый свет. Выходит, подумал он, что эта ромanea имеет тоже свои неприятности.

Вечером того же дня мой дедушка долго ходил по своей комнате, грызя ногти. Главная дума его была Фатьма и сделанный ей визит. Но, верно, эта дума не много заключала в себе удовольствия, потому что лоб дедушки был нахмурен больше обыкновенного. Наконец, то ли наскучив своей прогулкой, то ли желая изгнать тяжелую думу, он сел к тому месту, где хранилась заветная фляга. Медленно он вынул ее из-под спуда, посмотрел к свету на остаток — и осушил ее всю разом.

Но увы! Или волшебница потеряла свою силу, или осердилась на дедушку за дерзкое с ней обращение, только она сыграла с ним жестокую шутку. Вместо того, чтоб по-вчерашнему — разлить в сердце его спокойствие и отраду, она подняла всю желчь ему в голову. Дедушка стиснул зубы и первым движением его был удар кулаком по стене.

— Да что ж наконец, — вскричал он, сверкая глазами. — Я раб хана, но не раб жены своей. Разве не в моей власти запереть ее в темный угол, осудить на хлеб и воду? И покрепче ее я свертывал в бараний рог по своему желанию. А уступить женщине, да еще жене своей, — да после этого мне стыдно будет назваться не только первым муфтием, но даже мужчиной. Нет, — продолжал мой дедушка, повторив свой грозный жест по другой стене. — Я докажу, что после хана я первый повелитель Сибири. Я заставляю ее, как милости, испрашивать одного моего ласкового взгляда... Я доведу ее до того, что она простой привет мой будет почитать великим праздником... я... но что ж я медлю?.. иду к ней... разражусь над ней!.. испепелю ее... уничтожу...

Сказав последние слова с большими расстановками, дедушка мой хотел вскочить с места и бежать в гарем. Но едва только он привстал с места, как вдруг какая-то невидимая сила схватила его за полу кафтана и снова притянула к нарам. Он пробует подняться во второй раз — та же история, в третий — тоже.

Дедушка не мог постигнуть, какой же бес хватает его за кафтан. Он хочет, по крайней мере, излить гнев свой словами, но и язык его кто-то держит на привязи. Вдруг окна, двери, нары, столы, сундуки, начали около него какую-то круговую пляску. Дедушка хватился обеими руками за подушку, чтоб не увлечься общим движением. Но в ту же минуту кто-то набросил ему на голову темный молпак, и он опрокинулся навзничь, поперек постели.

Но это было только началом его мучений. Спустя несколько времени после падения, вдруг дедушка, не зная сам как, очутился в своем гареме. Здесь первый предмет, поразивший его, была какая-то старая, беззубая, безобразная старуха, с одним клоком седых волос на голове, с глазами, утонувшими в глубоких ямах. Она била костлявыми руками его милую Зюльму, бледную, плачущую. Дедушка бросился на старуху, но удар туфлей по лицу заставил его отскочить назад, и в то же время раздался гневный голос Кучума: дерзкий раб! Осмелишься ли ты поднять руку на мою жену? Дедушка кинулся со всех ног из гарема.

Но едва только выбежал он на улицу, вдруг три купца ему навстречу.

— Злодеи! — вскричал дедушка, вне себя от гнева. — Это все ваша работа! Вот я вас, проклятых дивов!

С этими словами он кинулся на купцов.

В одно мгновение купцы сбросили с себя длиннополые кафтаны и превратились в воинов. В руках их сверкнули какие-то неслыханные оружия, из которых вылетали гром и молния. Дедушка бросился в другую улицу, закрыв глаза и заткнув уши.

— Куда, беглец? — раздался громовой голос.

Дедушка открыл глаза. Перед ним Кучум — с саблей в руке. Дедушка пал на колени.

— Ставь свою глупую голову, — кричал Кучум, размахивая саблей.

Но в это время раздался оглушительный крик. Сзади показалось множество людей в коротких кафтанах, с остроконечными шапками; и перед ним осанистый витязь в блестящей кольчуге.

— Горе мне! Горе Сибири! — завопил Кучум, убегая от витязя.

Долго лежал дедушка на земле, не смея поднять головы. Давно уже с гиком пронеслись незнакомые воины.

Наконец, не слыша более шума, дедушка осмелился приподняться. Смотрит — и не верит глазам своим. Кругом степь. Ни одной живой души ни на земле, ни в воздухе. Солнце распалило песок и палит дедушку со всех сторон. Нестерпимая жажда жжет ему язык; голова горит мучительным огнем. Дедушка прощается уже с жизнью. Но вот наступает вечер. Жар стих. По телу дедушки разливается успокоительная прохлада. Грудь его начинает легче дышать. И новый сон, долгий, глубокий, смыкает глаза его.

А между тем, как спит дедушка, три купца все ходят по городу и меняют товары.

Проснувшись, дедушка видит себя в своей комнате, на своей постели, только не в надлежащем положении. Долго он смотрел кругом себя, как бы сомневаясь в истине виденного. Трогал свою бороду, щупал нос — все на своих местах. Он решается, наконец, присесть.

«Что за дьявольщина, — подумал дедушка, припоминая все с ним происходившее. — Я, кажется, как я, а голова точно не моя. Не действие ли это... как бишь ее... проклятой романей?.. а что ты думаешь... Эти московитяне, известно, первые слуги сатаны. Постойте же вы, распроклятые гяуры. Я вам так отплачу за ваш подарок, что вы у меня нос за глаза примете! Гей!» — вскричал дедушка, стуча кулаком по нарам.

На призыв его вошел секретарь, который давно уже дожидался в соседней комнате.

— Привести ко мне этих проклятых торгашей, сейчас, сию минуточку!

— Их уже нет в городе, ваше высокопочтение, — отвечал секретарь с низким поклоном. — Они уехали еще вчера вечером.

— А кто их смел отпустить без моего позволения? — вскричал дедушка, почти задыхаясь от гнева.

— Ваше высокопочтение изволили им дать только три дня для торговли. Вчера срок кончился.

— Сейчас же нарядить лучших всадников... скакать за ними... привести их ко мне живыми или мертвыми!

Секретарь кинулся исполнять приказ первого муфтия.

Дедушка стал ходить по комнате в сильном волнении. Иногда он останавливался и обеими руками хватал за свою голову. Во время одной из этих остановок, он вдруг увидел пустую флягу, и глаза у него засверкали.

— Гей, сюда, — вскричал он в порыве гнева. — Позвать мою стражу.

Два татарина явились у порога.

— Возьмите эту проклятую вещь и разрубите ее на мелкие части.

Татары подняли флягу, поставили ее посредине комнаты и несколькими ударами палок разбили ее вдребезги.

Дедушка как будто немного успокоился.

Через сутки посланные в погоню за купцами воротились назад и донесли, что не открыли и следов их.

Дедушка приказал отколотить их палками по пятам и — снова принялся за дела.

В этом месте рассказа Таз-баши встал с места и поклонился хозяину.

— То есть повесть кончена, — сказал Безруковский. — Да, любезный Таз-баши, я начинаю мириться с татарской грацией. Она выходит очень недурна собой.

Таз-баши снова поклонился.

— Только уж предоставляю самому тебе отыскать мысль в этой красавице.

— С вашего позволения, г. полковник, мысль в ней самая очевидная, самая практическая.

— А например?

— Все хорошо в меру; или — что чудесно в малом, то часто очень гадко в большом; или — что русскому здоровью, то татарину смерть; или...

— Или... или.., — прервал Безруковский. — Не намерен ли ты разыграть роль Санчо Пансы и угостить нас тысячью и одной пословицей?

— Если только угодно вашему высокоблагородию, за мной не будет остановки, — отвечал Таз-баши.

— Нет уж, слуга покорный! Ведь сам же ты сказал, что все хорошо в меру, ну, следуй этому манеру.

— А нам пора и на квартиру, — подхватил с улыбкой Академик, вставая за фуражкой.

— И мы сему последуем примеру, — примолвил Немец, тоже вставая.

— Желаем многих лет отцу и командеру! — крикнул Таз-баши, вытянувшись во фронт перед полковником.

Избранные письма

I

В. А. ТРЕБОРНУ¹

16 октября 1836 г. Тобольск

Тысячу, сто тысяч раз благодарю тебя, мой милый Владимир, за сердечное письмо твое... Не зная, не ведая, а только догадываясь о моем приезде на место, ты пишешь за 3000 верст — Бог знает куда, Бог знает к кому, да еще просишь извинения в своей медленности! Нет, не ты, а я должен просить прощения, за то что смел сомневаться в твоих чувствах. Но это в сторону: ты великодушно наказал меня милым твоим посланием. Итак, ты все такой же славный малый, беззаботный весельчак, поэт шуток и знакомец целого Петербурга; по-прежнему выдумываешь занятия и никогда ничем не занимаешься. Да, я уверен, что и новый, 1837 год пройдет так же для тебя, как и предшествующие, т. е. в одних проектах и много, если в четвертном исполнении. Да оно и лучше! Что хлопотать из пустяков! Живи, шути, влюбляйся в танцах и танцуй от любви. «А слава?» — скажешь ты. Вот вздор какой! Ни один из искателей славы не получил ее; а кому судьбой назначено быть славным, к тому она сама завернет...

...По крайней мере, набросим хоть эскиз великолепной картины, в которой главное лицо я, а рама — пространственный город Тобольск. Слушай же. Я приехал в Тобольск 30 июля, ровно в вечернюю, и остановился в доме моего дяди². На другой день, приодевшись как следует, явился по обязанности сначала к директору³, потом к губернатору⁴, потом к князю⁵. Директор принял меня ни то ни се; князь сначала был довольно холоден, но впоследствии изъяснил торжественно при всем собрании здешних чинов и властей — свое удовольствие, что Ершов служит в Тобольске. Но зато губернатор обласкал меня донельзя. Ну-с, через неделю я вступил в должность латинского учителя и целый месяц мучил латынью и себя и учеников...

...Но как во всех вещах есть конец, или, как говорит блаженной памяти Гораций, *modus in rebus**, то и наша обоюдная мука кончилась к совершенному удовольствию обеих сторон. И в половине сентября я торжественно вступил на кафедру философии и словесности, в высших классах, и получил связку ключей от знаменитой, хотя и неутвержденной в этом звании, гимназической библиотеки. Но главное в том, что я пользуюсь совершенным раздольем: часов немного и учеников немного.

Но из всех их (сослуживцев по гимназии — В. У.) я более сошелся с моим предшественником — Б-баловским⁶, над фамилией которого так много смеялся М-ский. И скажу от души, что редко встретишь человека с такими достоинствами. Я провел с ним лучшие часы в Тобольске; но теперь он от меня в таком же точно расстоянии, как я от тебя, т. е. в 3000 верстах — в Иркутске. Из других знакомых я назову тебе только двоих: В-лицкого⁷, воспитанника Парижской консерватории, и Ч-жова⁸, моряка, родственника (племянника) нашего профессора Д. С. Ч.⁹. Читаю редко, да и не хочется; зато музыка — слушай не хочу! Каждую среду хожу в здешний оркестр, состоящий из шестидесяти человек, учеников Алябьева¹⁰, которыми нынче дирижирует В-лицкий. Играют большею частью увертюры новейших опер и концерты...

Пиши как можно чаще и как можно больше, ответом

* Часть афоризма Горация — *est modus in rebus, sunt certi denique fines* — есть мера вещей и существуют известные границы.

не замедлю. Маменька тебе кланяется. Она все скучает здоровьем.

II

В. А. ТРЕБОРНУ

12 декабря 1836 г. Тобольск

...что ни говори, а ты, Требониан, славный малый, и не только празднуешь получение писем любящих тебя друзей, но и тотчас же отвечаешь им. А это в нынешние времена — особенно в Петербурге — большая редкость. Разумеется, что о нас, провинциалах, тут и слова нет: мы ждем не дождемся московской почты, чтобы тотчас же бежать в почтовую контору — спрашивать — нет ли писем, и если счастье нам полагает благоприятствует, то мы трубим всеобщую тревогу и тут же садимся писать ответ, каков бы он, на радостях, ни вышел. Да мы об этом и не заботимся, лишь бы не замедлить. Поэтому, гг. столичные обитатели, просим вас покорно не слишком строго взыскивать за наши маранья, а более смотреть на наше усердие. Притом вы живете в таком мире, где каждый час приносит вам что-нибудь новенькое; а наши дни проходят так однообразно, что можно преспокойно проспять целые полгода и потом без запинки отвечать — *все обстоит благополучно*. Ты просишь моих стихов, но надобно узнать прежде — пишу ли я стихи, и даже — можно ли здесь писать их. Твой обширный Тобольск, при хороших ногах, можно обойти часа в три с половиною, а на извозчике, или по-здешнему на ямщике, — довольно и одного часа. Разгуляться можно, не правда ли? К числу редкостей принадлежит одна только погода. И в самом деле, я не могу понять — что сделалось с Сибирью? Или это мистификация природы, или Сибирь вспоминать начинает свою старину, т. е. времена допотопные, когда водились здесь мастодонты и персики. Представь — 12 декабря, время, в которое, за шесть лет, нельзя было высунуть носа, под большим опасением, теперь термометр Реомюра стоит на 3°! Только что не тает. Но, несмотря на эту умеренность, здешняя атмосфера тяжела для головы и для сердца. С самого моего сюда приезда, т. е. почти пять месяцев, я не только не мог порядочно ничем заняться, но не имел ни одной минуты веселой. Хожу, как угорелый из угла в угол и едва не

закуриваюсь табаком и цигарами. Кроме ученой моей должности, решительно не выхожу никуда, даже к дяде, который меня очень любит, и к тому являюсь только по воскресениям и то поутру, не более как на полчаса. Ты, может быть, скажешь, что я скучаю по недостатку в знакомых. Не думаю. Правда, здешние знакомства мои очень ограничены — два-три человека, но таких людей поискать и в Петербурге. Я, помнится, писал тебе о них в прошлом письме. Читать теперь совсем нет охоты, да и нечего. Гимназическая библиотека, которую я, как библиотекарь, знаю как мои пять пальцев и на которую я дорогой надеялся, представляет собой так мало пособий, что нельзя сказать; а если из этой малости выкинуть еще сор, то и останется ровно ничего. А назначено 700 рублей ежегодно на книги: кажется, можно было бы кой-что завести. Да, благо, не кому подумать об этом. Ко всему этому присоедини еще мое внутреннее недовольство всем, что я ни сделал, что я ни думаю делать, и ты будешь иметь довольно верное понятие о теперешнем моем положении. Скоро 22 года; назади — ничего; впереди... Незавидная участь!..

III

В. А. ТРЕБОРНУ

5 марта 1837 г. Тобольск

...В прошлую субботу (это было на маслянице) сидел я в ожидании будущих благ под окном и зевал по обыкновению. Народ толпами шел по улице, кто за блинами, кто от блинов, — здесь уже обычай таков...

...Новый год я встретил нерадостно. Зато маслянку отвел до желань сердца. Был в кнатре, который устроили наши молодцы — ученики гимназии, и сказать тебе не в шутку, играли ей-же-ей порядочно. К пасхе готовится новое, и я, от нечего делать, написал для дружков две пьески презатейные: одна — *Сельский праздник*, народная картинка, в двух частях, для хороводов; а другую еще пишу: это будет прекомическая опера, а растянется она на три действия, а имя ей дается: *Якутское*¹. Еще приятель мой Ч-зов готовит тогда же водевильчик: *Черепослов*, где Галю пречудесная шишка будет поставлена². А куплетцы в нем — что ну да на, и в Питере послушать захочется...

5 марта 1837 г. Тобольск

Уф! сейчас только кончил два письма к Треборну и Пожарскому², весь смысл свой поклаал туда, и потому не прогневайся, если станешь читать бессмыслицу. Начну по пунктам.

1. Болезнь твоя, мой милый Евгений, во все ни к селу ни к городу. И вздумалось же слечь, когда нужно писать. О, это верно все наговор Гудимы (которому я кланяюсь)³. Дело ведь шло к маслянице, а ты знаешь, что блин есть вещь неделимая, по крайней мере, судя логически...

2. Радуюсь, что четверица⁴ наша живет здорово. Только собрания ваши для меня невыгодны. Вы себе остритесь на чем свет стоит, а я должен только смотреть на вас. К слову, я думаю, что Гришка⁵ не упускает случая щелкать меня по носу. Сердце мое мне это рассказывает. Ох, бедная харя моя! А все этот окаянный Мокрицкий⁶! Ведь надоумил же его Господь найти время для ризования.

3. Это будет статья нарочитой важности. Дело идет о таком человеке⁷, который проглотил всю Монгольщину и об уме своем черт знает какого мнения. Пишешь ты, что этот язычник вздумал издать свою (тьфу!) Историю в 10 томах с комментариями. Мысль чудесная, сказать нечего. Она могла родиться только в такой же голове, которая устояла против всего напора Вандальского. Вот подумашь, медь-голова! хоть сейчас за деньги показывай. А что ты думаешь! Собрать все нераспроданные экземпляры, и те, которые он навязывал на шею всякому встречному и поперечному, соорудить из них род налож и поставить туда Отрепьева, а самому, вымазавшись, как требует приличие, кричать во все горло: не хотите ли, господа честные, видеть чудо чудное, дивное! оно не привезено из чужой земли, а свое доморощенное, ну и прочее, что Савка⁸ лучше меня знает. А Отрепьеву для большего эффекта кланяться во все стороны и говорить: се аз и дети мои! Ведь картина хоть куда.

Мои занятия идут по-прежнему, кроме того что я пустился теперь писать для театра, который смастерили

ученики здешней гимназии. Вследствие чего я написал *Сельский праздник*, черт знает что такое в двух частях, говоря по-романтически; теперь пишу комическую оперу: *Якутка* в трех актах, в которой хочу пародировать все оперы, начиная с *Matrimonio segreto* до знаменитого Роберта Дьявола. К этому присоединяется желание надорвать у всех животы, и потому можешь заключить, что дело идет тут не на шутку. Да сверх того, вспоминая *Лунный жителей*, мы с Чижевым стряпаем водевиль: *Черепослов*, в котором Галь получит шишку пречудесную. Куплетцы — загляденье! Вот уж пришлю их к тебе после первого представления. Со второй недели поста начнутся малеванье декораций, сцены хоров, репетиция актеров, одним словом — все театральные хлопоты⁹. И черт меня возьми, если театр будет не на славу. Вот хоть сами посмотрите. Что вам театр? так... плевое дело!.. история Монголов!.. присказки Гребенки!.. А наш театр — настоящий Конек-Горбунок!

Теперь к делу. Извещаете вы о смерти Пушкина, о чем мы здесь и по газетам знаем, а не пишете, отчего и как и когда и где и при какой помощи. Пожарский же вас умнее. Он рассказал всю подноготную, да только, прах его возьми, прибавил к концу, что это может и не так. Напиши же, моя гребеночка, все, что знаешь.

А кстати, спасибо тебе за привет твой в Пчелке. Это нечего сказать, по-приятельски. Я и сам за это отслужу тебе. Только выйдут твои стихотворения, так тотчас же прочту их моим ученикам, людям зело талантливым, которые знают почти всего Бенедиктова и собираются во время Великого поста изучать некоторые Истории. — Кланяйся Калашникову¹⁰ и скажи ему, что Петр Андреевич Словцов¹¹ здоров, что занимается приведением к концу Сибирской Истории (ох! уж с этими историями наживешь историю) и что он писал к нему 19 декабря 1836 года.

Ну, теперь поклон всем нашим и вашим. Да скажи им, начиная с себя, лентяи-де вы первостатейные! пишите к Ершову письма, а он-де ответами своими вас до животов порадует.

Вот и все. I ex W¹².

2 июля 1837 г. Тобольск

...Еще за два месяца до прибытия Его Высочества¹ в Тобольск получено было здесь о том известие и тотчас же сделаны были распоряжения об устройстве дорог и города. Сибирь пробудилась: куда ни взглянешь, везде жизнь, везде деятельность. Гимназия наша тоже последовала общему примеру, и нам, сиречь учителям, навязано было дел по самую шею. Особенно работал я грешный. Как учитель словесности, я должен был приготовить сочинения учеников, т. е. дать им такой вид, чтобы Его Высочеству можно было на них взглянуть. Как библиотекарь, должен был составить новый систематический каталог книг, классифицировать их, лепить номера и, за неумением писцов дирекции иноязычной грамоте, должен был и переписать каталог набело — так листов до двадцати пяти. Наконец, как человек, который занимается виршеписанием, я должен был, по поручению генерал-губернатора, приготовить приветствие. Из всего этого ты можешь заключить, что работы у меня было довольно. Государь Наследник приехал к нам в ночь с 1 на 2 июня и остановился в генерал-губернаторском доме, насупротив моей квартиры. Поутру 2 числа я отправился к В. А. Жуковскому² и был принят им как друг. Во время посещения гимназии Государем Наследником вся наша братия была представлена Его Высочеству. Когда очередь дошла до меня, то генерал-губернатор и Жуковский сказали что-то Его Высочеству, чего я не мог слышать, и Его Высочество отвечал: «Очень помню»; потом обратился ко мне и спросил, где я воспитывался и что преподаю? Тут Жуковский сказал вслух: «Я не понимаю, как этот человек очутился в Сибири»³. Вечером Великий Князь был в собрании и остался чрезвычайно довольным. Надобно сказать правду, что и город не пощадил ничего для принятия. Одних посетителей было до пятисот человек. Государь Наследник, кроме польского, протанцевал четыре французских кадрили. Здесь он был в казачьем мундире; в прочее же время носил мундир Преображенского полка. Остальное узнаешь из газет, если уже не узнал...

VI

В. А. ТРЕБОРНУ

14 февраля 1938 г. Тобольск

...На маслянице же тешился в театре, да в театре, который мы (т. е. учителя гимназии) построили на свой счет в зале гимназии, чтобы доставить развлечение ученикам и потешить собственную охотку. Играли все ученики гимназии, а чтобы сказать тебе, что они недурно знали свое дело, то напишу, что режиссером их был я. Но шутки в сторону. Театр наш шел славно, говоря и не о Тобольске. Обширная сцена, хорошие декорации, отличное (восковое) освещение, увертюры из лучших опер в антракте, разыгрываемые полным оркестром, и, наконец, славные костюмы (особенно в волшебной пьесе: *Прекрасный принц*) — все это сделало спектакль хоть куда! Всего было три представления (по пяти пьес, в одном действии каждая): первое — только для учителей гимназии, а два последних — для всей публики; из них в одном было до 400 человек, а в другом — столько, что едва вмещала зала¹. Знай наших! И скажу тебе еще: один из игравших учеников — если дать ему надлежащее сценическое воспитание — был бы из первых актеров на Вашей сцене. Чудо! каждое его слово, каждый жест, каждое движение лица было комическим в высшей степени. С самого появления его на сцену до выхода — рукоплескания не умолкали. Он нынче выходит из гимназии и должен прослужить шесть лет в ученой службе; а там я посоветую ему ехать в Петербург и прямо на сцену. Фамилия его Рихтер. Опять немец! Ведь нам без немцев нет спасенья! Радуйся, сын Германии!..

Что ж бы еще написать тебе такое? В самом деле, если б сделать меня корреспондентом тобольских новостей, то я порядком бы призадумался. Писать же, что я думаю, что намерен сделать, — неостанет бумаги. Ты, по крайней мере, тем счастлив, что можешь описывать любовные свои похождения, а я, брат, с самого моего приезда сюда, еще ни разу не влюбился, хотя и было в кого, напр. та смазливая немочка (опять немцы), которую увидел я на акте, — помнишь? или одна... ну, не скажу всего, довольно, что никогда имя не приходилось так кстати: Серафима². Впрочем, сердечные мои подвиги ограни-

чиваются одними взглядами, и то на почтительном расстоянии — через очки... Что до стихов, то доложу тебе, может быть, тебе уже известное обстоятельство, что посланная мною в «Библиотеку» повесть обракована Сенковским, разругана Б. и сравнена Г. с его историей моголов³. Жду весны, чтоб снова начать неудачи.

Маменька очень слаба здоровьем.

VII

В. А. ТРЕБОРНУ

4 октября 1838 г. Тобольск

Через столько лет молчания ты получишь это письмо; но не вини меня. Я целое лето был сам не свой, и только разве какая-нибудь необходимость заставляла меня братья за перо. Ты, верно, слышал о причине моего молчания, а если нет (что — вернее: в противном случае ты не поскупился бы письма на два), то вот тебе просто-напросто: с 16 апреля этого года я осиротел душой и телом, и в нынешнем месяце (т. е. в октябре) исполнится полгода, как я проводил мою маменьку в последнее жилище — в могилу¹. С ней схоронил я последнюю из родных: правда — *родственников* у меня много, но все ли заменят одного *родного*? Ты понимаешь различие этих двух слов. Теперь сам не знаю, на что решиться: ехать в Петербург? Но зачем? Успехи мои в службе или в занятиях порадуют ли кого-нибудь? — согреют ли охладевшее сердце матери? Ты скажешь: для себя, для себя собственно. Благодарен; но я не эгоист. Тобольск же привязывает меня к себе только (пока) могилою матери. Ей-Богу, не знаю, что делать. Занятия мои двух родов: одни — гимназические, которые, кроме скуки, не приносят мне ничего, если не взять в соображение порядочное жалование; другие же — домашние: все спускаю с рук и, разумеется, большею частию за безделицу. Когда окончу это, тогда подумаю покрепче о своей участи. А до того времени пусть все идет так, как угодно Богу. Притом затевать что-нибудь длинное и вовсе не намерен: телесный состав мой год от году слабеет; а настоящее одиночество поможет докончить его расстройство. Год, два — и ты можешь, идя на Охту, — помянуть с братом и меня². И прекрасно. Зачем нет со мной теперь никого из

моих старых приятелей. По крайней мере, можно было бы, разговаривая с ними, передать им и то и то и хоть немножко облегчить свое горе. Один, я опять один!.. Я рад, что ты весел, это могу заключить из последнего письма твоего, которое написано под влиянием веселости. И мой совет — не упускай случая:

Они проходят — дни веселья...

А! старые знакомые! стихи! Два года уже, как я не писал ни одного³, и около полугода, как не читал ни строки. Сам удивляюсь моей деятельности. Иногда даже приходило мне на мысль: как бы сделать это, чтобы с первого моего дебюта перед публикой на Коньке-Горбунке до последнего стихотворения, напечатанного, против воли моей, в каком-то альманахе, все это — изгладилось дочи́ста. Я тут не терял бы ничего, а выиграл бы спокойствие неизвестности. Но к понизу этих великодушных мечтаний, *Иван Царевич* (помнишь? поэма в 10 томах и в 100 песнях)⁴, приходит мне на ум, и я решаюсь ждать времени, когда стукнет мне 24 или лучше 25 лет. Это случится в 1839 или в 1940 году, и тогда —

«В некотором царстве, в
некотором государстве, и пр., и пр., и пр.»

VIII

В. А. ТРЕБОРНУ

26 октября 1839 г. Тобольск

...Ты спрашиваешь — каков я с директором? Ни хорошо ни худо. Больше ничего сказать не могу. Но, во всяком случае, мне придется отказаться от награждения: потому что директор без просьбы не представит (хотя бы и следовало бы кой за что), а я просить вовсе не намерен¹. Пусть будет воля Божия да милость царская!..

...теперь следует развязка всех намеков, которыми наполнены были письма к тебе. Она коротка, только два слова; но зато какие два слова: я женат. Если ты любишь меня, то поздравись и, верно, пожелаешь всего лучшего. Рассказывать тебе все обстоятельства — не позволяет ни время, ни осторожность переписки. Скажу только, что я был влюблен почти два года, испытал и доброе и худое, что делает любовь раем и адом; два раза

писал в Петербург о переводе меня туда и два раза возвращал с почты мои просьбы. Одним словом был влюблен comme il fait*. Наконец, видя, что от борьбы моей с самим собою мне не лучше, решился поступить по-Александровски — разрубить узел свадьбою². Но и тут судьба поиграла мною. На первое предложение мое я получил отказ. В первую минуту самолюбие, или, если хочешь, гордость, взяла верх над страстию, и я решился вылечить себя. Но неделя, одна только неделя, доказала мне, как слаба человеческая природа. Тоска, какой я не испытывал еще в жизни, до того овладела мною, что я, Бог знает на что бы решился, без помощи добрых моих приятелей. «Нет! счастье жизни дороже глупой гордости!» — сказал я, схватил перо и написал новое предложение. Тут разные обстоятельства тянули дело до конца августа; наконец 29 числа я получил согласие и на другой день был представлен женихом. 8 сентября была скромная свадьба, после обедни — без всякой пышности³. Вот тебе и объяснение. Если хочешь знать, кто моя жена, — скажу: вдова одного инженерного подполковника Серафима Александровна Л[еще]ва, а приданое — красота, ангельский характер и четверо милых детей⁴. Так как я не искал ни знатности, ни богатства, то и надеюсь, что судьба наградит меня за доброе дело. Впрочем, я совершенно предаю себя воле Провидения. С нынешней зимы хочу заняться посерьезнее: жалованья моего мне недостаточно; по крайней мере, постараюсь литературными моими трудами дополнить недостаток. Здесь я желал бы поговорить с тобою откровеннее. Если не представится мне случая быть при здешней гимназии инспектором, то я думаю перебраться в Петербург. Там, если дороже содержание, зато много средств получать все нужное. Поговори-ка, мой милый Треборн, с Александром Васильевичем⁵. Что он присоветует. Инспекторское место я мог бы получить таким образом: томский директор просится в отставку: нельзя ли будет здешнего (тобольского) инспектора перевести в Томск директором, а тут бы открылся и мне случай. Или, если этого сделать нельзя, то не отыщется ли мне место при министерстве просвещения с хорошим жалованием; учителем же быть мне надоело: каждый день твердить одно и тоже наскучит и

* Как следует (ф р.).

Иову. Поговори об этом и с Петром Александровичем⁶, вероятно, он помнит обо мне и не откажется помочь мне, если не делом, то хоть советом. Но во всяком случае уведоми меня, что скажут, чтобы не предложили мне такой должности, к какой я неспособен. Когда же не удастся ни здесь ни там, останусь при прежнем, с надеждой на Бога. Я теперь столько счастлив, сколько можно быть счастливым для человека. А если и желаю перемены, то это для пользы моего семейства... Я привыкаю к новому роду жизни и к экономии. Но пословица «Женишься — переменишься» или несправедлива, или не имела надо мной силы. Потому что я такой же лентяй, как и прежде, так же без причины весел, без причины печален (последнее нынче реже), сижу по-прежнему дома или ребячусь с детьми, которые меня любят. Но не думай, чтоб я и не занимался: на все есть время (хотя на леность его всего больше).

IX

ПРОТОПОПОВЫМ В. А. И М. Ф.¹

27 октября 1839 г. Тобольск

Милостивый государь любезнейший братец Владимир Александрович и милостивейшая государыня любезнейшая сестрица Марья Федоровна.

Пользуюсь первою почтою, чтобы сообщить Вам известие об одном неожиданном случае, от которого пострадал почти весь Тобольск. 24 [исла] сгорел дотла здешний гостиный двор со всем, что в нем было. Спасти его не было ни малейшей возможности, потому что он вспыхнул вдруг со всех 4 концов, и именно при воротах, что и заставляет приписать этот пожар умышленному злодейству². В то же время сгорел и магистрат, новый ряд около моста и крыша в каменном доме дяди Ивана Васильевича (прежнем Кривоногова)³. Захарьевская церковь⁴ загоралась не один раз: все из нее уже было вынесено как вверху, так и внизу, но успели отстоять. Надобно благодарить Бога, что погода в то время была тихая, иначе огонь мог бы перелиться с одной стороны за речку, к дому Романовых⁵, а с другой к мясным рядам, и тогда дело приняло бы оборот гораздо опаснейший. 200 лавок! можете судить о пожаре для города, полагая даже круглым числом по 10 т [ысяч] на каждую; а меж-





ду тем у одного Потапова товарами и деньгами сгорело на 200 т[ысяч]⁶. Гр. Сем. Струнин тоже почти лишился всего, кроме товара и денег, он незадолго свез в лавку, большую часть своих вещей, посуду и прочее и теперь, как сказывают, остался при нескольких стах рублях. То же самое и с другим его однофамильцем Струниным. Магистрат теперь переведен в Кремлевский дом, а на площади базарной строят балаганы те из купечества, которые имеют что-нибудь для продажи.

На этом пожары еще не кончились. На четверг (26) в ночь поджигали дом купца Глазкова (бывшего Фалецкого), а в четверг сожжен дом Коновалова против Рождества, где жил частный пристав Петров. Дом Суханова был в большой опасности — все из него было вывезено; но его успели отстоять.

Жаль очень, что пришлось написать целое письмо о подобных обстоятельствах, впрочем, Бог милостив, может быть, к следующему же письму приведется известить Вас о чем-нибудь приятном. Я же не хотел, чтобы Вы извещены были кем-нибудь другим прежде меня о таком случае, в котором Вы, вероятно, примете живое участие. Теперь позвольте пожелать Вам всего лучшего. Остаюсь душевно любящий и уважающий Вас покорный слуга и брат

П. Ершов.

P.S. Милой Физочке⁷ посылаю подарок — на нужное и заочно ее целую.

Х

В. А. ТРЕБОРНУ

28 декабря 1839 г. Tobольск

...Ты не поверишь, с каким нетерпением было ожидаемо письмо от тебя и с какой радостью прочитано. Оно успокоило меня насчет расположения петербургских моих знакомых и дало мне надежду когда-нибудь поправить мои обстоятельства. Но, для Бога, не укоряй меня в ветренности, ни в неблагодарности относительно добрейшего Петра Александровича. Правда, во все пребывание мое в Сибири я ни разу не писал к нему; но на это я имел причину, может быть, ошибочную, но тем не менее оправдательную. Ты знаешь мой характер: мысль беспокоить кого-нибудь, особливо лицо, уважаемое мною,

давит иногда самое пламенное желание. И о чем бы я стал извещать его из Сибири, где каждый день отмечается или новой глупостью, или новой сплетней. А что уважение мое к Плетневу несколько не изменилось, этому доказательством могут многие письма мои к моим знакомым, а особенно (если нужно явное доказательство) то, в котором я суждение о небольшой моей поэме, *Suzie*, отдал единственно П. А. Ты можешь догадаться о щедротливости автора и потому поймешь, что нужно сильное доверие к кому-нибудь, чтобы утвердиться на его суждении, отказавшись от своего. Но я решился уничтожить мой труд, если бы мой цензор не нашел в нем ничего достойного.

Обратимся к делу. 25 декабря получено было письмо твое, и протекшие три дня посвящены были думе, на что решиться? И вот результат ее. Ехать в Томск директором — лестно, очень лестно для молодого человека. Но я и то отдален от милого Петербурга на 3000 верст; надо прибавить еще полторы тысячи, чтоб быть в Томске. А кто поручится — к каким попаду людям, каков будет начальник. И в случае чего неприятного — скоро ли услышится мой голос за 4500 верст! Остаться в Тобольске инспектором — это несколько лучше, по крайней мере, в том смысле, что я буду жить между знакомыми, в кругу родных; но и тут не без запятой. Отношения мои к директору не то чтобы неприязненные, но и вовсе не дружны. Я теперь в стороне, занимаясь своим предметом; но и теперь много противных мыслей о преподавании разделяют нас. Что ж будет, если на месте инспектора я каждый день должен буду иметь с ним сношения и каждый день идти, положим, не совсем напротив, все-таки не по одной мысли! Три года службы хорошо познакомили меня с директором, и я знаю, что нам не дослужить вместе². Нет, лучше в Петербург, к людям, которые, несмотря на странность моего характера, поймут меня, снисходительно посмотрят на мои ошибки и отдадут должное заслугам, если они окажутся. Так, это решено. Я должен быть в Петербурге. Но как? Это — дело Провидения и милости моих покровителей. Ты пишешь слова П. А.: «если я имею возможность приехать на свой счет в Петербург и жить там полгода без жалованья, то чтобы ехал». Да дело-то в том, что нет возможности. Нельзя ли будет перевести меня. А я готов ждать здесь,

на месте, моего перевода. Но только одно — чтобы должность была не трудная (например инспекторская), чтобы жалованье было достаточное на содержание моего семейства. А я уверен, что ходатайство таких лиц, как Плетнев и Жуковский, сделает все возможное.

Другое обстоятельство. Князь Горчаков³ сегодня едет в Петербург и, вероятно, в половине января там будет. Нельзя ли намекнуть ему о каком-нибудь награждении, напр. годового или полугодового оклада. Князь, верно, не откажется, тем больше, что он сам при отъезде, благодарив меня за учение его детей, сказал: «это за моих; скоро надеюсь поблагодарить вас и за общих наших детей» (намекая на учеников гимназии). Здесь, кстати (хотя и совестно намекать на свои заслуги), прибавлю о приведении мною в новый порядок гимназической библиотеки к приезду Государя Наследника, о пожертвовании более чем на 500 руб. книг и монет. Князю должно быть это хорошо известно. Что ж касается о силе К-ва при князе, то это очень сомнительно. Князь не имеет любимцев; можно убедить его доказательствами истины, а не внешним влиянием. По крайней мере, так я об нем слышал. Ехать же пока в Вологду или Новгород я не решусь. Все это повлечет за собою лишние издержки; а мой карман нередко вопиет к богине счастья. Нет, уж лучше, если нельзя прямо в Петербург *по казенной дорожной*, остаться при здешней гимназии и ждать благоприятной погоды...

...Если почтешь нужным, покажи это письмо П. А.⁴, извиняясь перед от моего имени в разных разностях, рассеянных на этом листе. Да, ради Бога, отвечай при первой возможности. Я не буду спокоен до получения твоего письма...

Конька продал я, на второе издание, московскому купцу Шамову, половину в 12-ю и половину в 64-ю долю листа, на длинных условиях...⁵

Если ты знаком с Гребенкой⁶, то спроси, отдал ли он мои стихи и на каких условиях, да скажи, что пора бы и отвечать ему мне...

XI

В. А. И М. Ф. ПРОТОПОПОВЫМ

20 августа 1840 г. Тобольск

Любезный братец Владимир Александрович. От души благодарю вас за поздравление с дорогой моей именинницей. Мы все здоровы и живем по-прежнему. Только семейство наше увеличилось еще одним человеком. Вы, верно, знаете Костю Широкова¹: он теперь у нас. Директор отказал держать его по малости помещения, а воспитательница Кости Соболевская упросила нас принять к себе сиротку. Это будет выгодно и для Саши. Широков очень хорошо знает языки и идет одним классом выше, а потому и может помогать своему товарищу.

Дело об опеке теперь почти кончено: Лещ[ев] отстранен, и Сер[афима] Але[ксандровна] осталась попечительницей². Остается теперь только испросить позволения на продажу вещей, подверженных порче, и об законном выделе, что и исполним не замешкав.

Новый губернатор еще не приехал; ожидают сегодня. У нас начались годовые экзамены, и Саша идет пока в числе лучших. Желаю Вам и люб[езной] сестрице Марье Федоровне всякого счастья, остаюсь искренне любящий Вас брат Ершов.

XII

В. А. ТРЕБОРНУ

2 мая 1841 г. Тобольск

...Теперь хочется мне сообщить тебе поручение довольно щекотливое. Ты пишешь, что П. А. Плетнев жалеет, что судьба связала меня с С[мирди]ным и с С[енков]ским. Очень бы рад развязаться с ними, и все, что имею в голове и сердце, отдать «Современнику». Но видишь ли, мой милый, в чем остановка. Литературные занятия для меня как человека с небольшим учительским жалованием и с порядочным семейством на руках представляются мне, по крайней мере, по окончании трудов, средствами житейской прозы. И не обвиняй меня в этом: известность известностью, а долг обеспечить людей, которых судьба поручила мне и которые для меня милы, так же что-нибудь значит. Приятна мысль, что я тру-

жусь и труды мои доставляют пользу моему семейству, — такая мысль много имеет влияния на труды и придает больше решимости. Если бы (вот обстоятельство щекотливое) П. А. был так добр, то помог бы мне в этом случае, то я бросил бы и Смирдина и Б. для Ч. и постарался бы не унижить себя в глазах добрейшего П. А. А дело твое, мой милый Т[ре]борн, передать это самым деликатным образом издателю «Современника» и написать мне ответ и его условия...¹

...Не напоминаю о долгах, зная, что ты и Э. И. Губер² и без этого стараетесь об них...

ХIII

В. А. ТРЕБОРНУ

25 сентября 1841 г. Тобольск

Как и чем мне поблагодарить тебя, мой милый Владимир, за твою истинно дружескую заботливость о моих делишках! Думаю, думаю и не нахожу ничего лучшего, как просить у Бога, чтоб он наградил тебя за твое доброе сердце.

Сказать откровенно — разутешил ты меня описанием разговора твоего с С[енковским]. Ай да барон! По его словам выходит, что и воздух, которым я дышу, и солнце, которое греет мои грешные кости, — все это дар могущественной его десницы! Ну уж пусть бы говорил он, что по его милости я стал знаком с грамотной братией (хотя и здесь поневоле вспомнишь благородного А. С. Пушкина), — это было бы еще несколько похоже на правду; но утверждать, что и занимаемым теперь мною местом я обязан ему, — это уж из рук вон. Г. С[енковский] забыл, кажется, что, как кандидат университета, я всегда мог бы занять подобное место и не в Тобольске и что содействие князя Дондукова-Корсакова в этом случае было важнее ходатайства баронского. Но — Бог с ним! Когда-нибудь мы сочтемся с ним в обязательствах. Одно только желал бы я знать, в какой подлости заметил меня почтеннейший О. И?...¹

Но бросим эту глупую матерню. Мне должно сообщить тебе гораздо важнейшее обстоятельство семейной моей жизни. Порадуйся и пожалей обо мне. 6 сентября Бог благословил меня во второй раз быть отцом доче-

ри — тоже Серафимы. И хотя малютка подавала все надежды к жизни, однако ж, наученный первым опытом, я поспешил просветить ее христианским крещением — и хорошо сделал: в 11 часов ночи с ней сделался припадок и я опять осиротел по-прежнему... На другой день я должен был отвезти ее к старшей ее сестре. Нет, мой милый Треборн, ты не поймешь моего страдания: довольно, что я не спал трое суток: в каждой комнате слышался мне плач моей Серафимочки — и я невольно глотал свои слезы. Я уверен, что ты пожалеешь обо мне от души: два года, и две потери...²

Говорят, что я приметным образом пополнел, да я не верю этому, хотя, правду сказать, прежнее платье далеко не сходится. А что постарел, так это уж не подлежит никакому сомнению. И теперь с бакенбардами во всю щеку и с очками на глазах представляю пресолидного мужа. Впрочем, это пустяки: сколько могу заметить, душа не потеряла юношеского жара, а сердце доверчивой простоты. Так же опрометчиво сужу, так же прыгаю от удовольствия, как и во время оно, когда в блаженном звании студента, без копейки в кармане, сидел с Влад[имиром] Алек[сандровичем]³ за стаканом чаю и импровизировал напропалую. И если бы мне сохранить эту душевную свежесть навсегда, то хоть сейчас подставил бы голову под пудру седины: так она не страшна мне кажется. Двигал было меня сначала, в первые дни женитьбы бесенок честолюбия, чтобы доставить любимой мною жене более почетное место в обществе, чем то, которое я теперь занимаю, но, увидя, что плетью обуха не перешибешь и что милая Серафима любит меня и не в чинах, я бросил эту пустую затею — чинолюбия и доволен своим званием. Лишь бы Господь дал мне средства обеспечить наше житье-бытье, и я вполне был бы счастлив...

После откровенного объяснения твоего насчет «Современника» я оставляю свое желание и буду просто делиться с добрейшим П. А. чем Бог послал. И в доказательство снова присылаю стихи Пушкина, в том виде, в каком они мне доставлены. Касательно их подлинности нет ни малейшего сомнения. Мне прислал их задушевный приятель Пушкина, лицейский его товарищ, тот самый, который доставил мне и первые. Об имени его — до случая⁴. Только, во всяком случае, уверь П. А., что я не

способен никого мистифицировать да, признаться, и не умею. *Поездку мою*⁵ отдай П. А., пусть он печатает ее вполне или отчасти, — без всяких условий, нет, виноват, с одним условием — не переменять ко мне доброго расположения. Будет время, когда Ершов докажет, что он не напрасно провел столько лет в Тобольске, а пока — ожидание...

Ярославцову, дружеское пожатие. До него у меня просьба: не может ли он, хоть в твоём письме, переслать милый свой вальс, написанный им еще во времена студенчества и которым он меня утешал до души. Я думаю, он вспомнит о нем. В этом вальсе три части: в 1-й представлен грустный человек, до которого долетают звуки вальса; во 2-й этот человек бросается в вихрь вальса; в 3-й он опять представлен с грустью в самой высшей степени. Да, если у доброго Ярославцова есть и еще что своего, то пусть не поскупится переслать ко мне: у нас есть и фортепиано и руки, умеющие перебирать клавиши. Как раз вспомним приятеля⁶. Прощай.

XIV

ПРОТОПОПОВЫМ В. А. И М. Ф.

6 июля 1843 г.

Любезнейшие братец Владимир Александрович и сестрица Марья Федоровна. Первым словом будет благодарение Творцу за нашего Александра. Экзамен кончился для него очень удовлетворительно, и он выпущен с чином 14-го класса¹. Завтра идет бумага к князю об отправке его в Казань². Бог поможет и здесь устроить как нельзя лучше. Единственное наше желание — чтобы он навсегда сохранил добрые чувства и охоту к занятиям: остальное придет само собой.

Другая новость касается лично до меня. Стольковремени ожидаемый чин 8-го класса наконец вышел со старшинством с 10 июня 1840 года³; в нынешнюю сентябрьскую треть я буду представлен в надворные советники. Есть надежда на повышение в должности, хотя откровенно сказать настоящая моя служба гораздо спокойнее⁴. Поэтому я со своей стороны нисколько не ищу ни в ком: пусть будет, что будет...

Будьте здоровы и счастливы, душевно любящий Вас брат П. Ершов.

XV

В. А. ТРЕБОРНУ

13 ноября 1843 г. Тобольск

Служебные мои подвиги увенчались начальственной милостью. Генерал-губернатор представил меня в инспекторы Тобольской гимназии, с оставлением при классе словесности и с полными окладами жалования по обоим должностям... Читал на днях глупую критику «Отечественных записок»¹ по случаю третьего издания *Конька*. Вот, подумаешь, столичные люди: одних бранят за нравоучения, называя их копиями с детских прописей, а меня бранят за то, что нельзя вывести сентенцию для детей, которым предназначают мою сказку. Подумаешь, куда просты Пушкин и Жуковский, видевшие в *Коньке* нечто поболее побасенки для детей. Но я так же привык к кривотолкам Краевского и К⁰, что преспокойно смеюсь над их философией².

Но что меня бесит, то это подлость людей, называющихся книгопродавцами. Можешь себе представить, что нынешний издатель *Конька* некто Шамов³, напечатал мою сказку прежде окончания с ним условий и не получив моего согласия. И до сих пор еще я не имею от него ни денег, ни назначенных экземпляров. С 1 декабря, если не получу от него удовлетворения, заведу судебное дело: за правого Бог!.. В последний раз узнай, будет ли мне вознаграждение от Смирдина, по крайней мере, книгами, если он не имеет денег...

XVI

А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

14 апреля 1844 г. Тобольск

Вместо обещанного тебе огромного письма судьба определила написать тебе скудное послание. Но вини в этом не столько меня, сколько окаянного Т[ре]борна. Начну, по старой привычке, письмом к нему и испишусь дотла, так что на твою долю приходится несколько строчек. Но я уверен, что ты ценишь дружбу не по количеству исписанной бумаги (чихай себе, г. Т[ре]борн). Притом же к почтеннейшему Владимиру Александровичу, я

привык писать всякие глупости (желаю здравствовать, г. Т[ре]борн), а к тебе ведь нужно писать о деле. Все это служит извинением моего многоглаголанья к Владимиру и скудности писем к Андрею.

Первый вопрос мой о твоих занятиях. Что наполняет твои досуги — поэзия или музыка? И то и другое, верно. Счастливец! Была пора, когда я увлекался чем-то похожим на вдохновение. А теперь принадлежу, или, по крайней мере, буду принадлежать к числу тех черствых душ, которые книги считают препровождением времени от скуки, и музыку заключают в марши и танцы. Не вини меня в этом. Опытность научила меня дорожить существенностью, и польза берет перевес над звуками славы. Не подумай только, чтобы под пользой я разумел выгоду. Бог милостив, я не дошел еще до такого очерствления; нет, я понимаю пользу в благороднейшем и, следовательно, в поэтическом ее смысле.

Не лучше ль менее известным,
А более полезным быть, —

повторяю я, садясь за учебную книгу или думая — нельзя ли как двинуть успехи учащихся. Но, сжимая воображение и чувство для себя, я готов открыть их для других, а тем более для друга. Успехи его всегда будут радовать мою душу и, в числе рукоплескателей, верно, явлюсь не последним. Итак, ты смело можешь говорить мне о своих занятиях, передавать мне свои мысли и желания. Другая цель не должна пугать тебя. И, кто знает, может быть, судьба назначила тебе — заплатить старый свой долг. Помнишь ли как я возбуждал тебя к деятельности, а если забыл, то хоть вспомни своего *Платона*¹. Теперь — твоя очередь... С весной начнутся ваши поэтические прогулки по обворожительным окрестностям Петербурга. Хочу и я снова обойти наши дикие пустыри и освежить прежние воспоминания. Может быть, явится повесть или рассказ, но уже, наверное, не в стихах.

Ради Бога, не считайтесь со мною письмами. Вам есть о чем писать, а я должен по большей части переливать из порожнего в пустое; а можете представить, как это скучно.

Будь здоров и счастлив, мой любезный Ярославцов, и среди поэзии не забудь прежнего ее служителя.

XVII

В. А. ТРЕБОРНУ

26 сентября 1844 г. Тобольск

Ты спрашиваешь, как я провел каникулы? Очень просто. Две недели сидел, за дождем, дома, а другие две недели шлепал грязь по окрестностям; в августе имел удовольствие за учебным столом дуться на хорошую погоду. А теперь снова расхаживаю по классам с тем только различием, что прежде расхаживал по одному, а теперь по всем по трем.

Теперь — на те вопросы, которых у тебя нет в письме. В жизни моей, или лучше, в душе, делается полное перерождение. Муза и служба — две неугомонные соперницы — не могут ужиться и страшно ревнуют друг друга. Муза напоминает о призвании, о первых успехах, об искусительных вызовах приятелей, о таланте, зарытом в землю, и пр., и пр., а служба — в полном мундире, в шапке и шляпе, официально докладывает о присяге, об обязанностях гражданина, о преимуществах официии и пр., и пр. Из этого выходит беспрестанная толкотня и стукотня в голове, которая отзывается и в сердце¹. А г. раскусодок — Фишер² в своем роде — убедительно доказывает, что плоды поэзии есть журавль в небе, а плоды службы — синица в руках.

Вижу, какую кислую мину строит г. Ярославцов, держа за своего *Иоанна*³. Да что ж мне делать. Обманывать честных людей нельзя, а тем больше приятелей. Жалейте лучше об участи земнородных!..

XVIII

В. А. ТРЕБОРНУ

30 октября 1845 г. Тобольск

...Давно уже я собирался отвечать тебе, мой любезный Т[ре]борн, да, во-1-х, писать было не о чем, а во-2-х, и перо валилось из рук. Такая скука, что бежал бы за тридевять земель. Да и вы, добрые приятели, начали молчать по полугоду, чего прежде за вами не водилось. Ну, да уж Бог вам судья. 25 октября минуло полгода после потери любимой мною жены¹, и я теперь начинаю

показываться между людьми. Но опять неудача: проведешь вечер довольно весело, а воротишься — одиночество явится сильнее, чем прежде. Читать почти не могу ничего, кроме книг религиозного содержания. Другое развлечение мое — музыка и шахматы. Здесь невольно припоминаю стих Грибоедова: «А мне без немцев нет спасенья».

Дело в том, что и здесь, в Тобольске, есть один полунемец, полурусский, как ты, который родился в Кронштадте и знал по-русски прежде, чем по-немецки, чему наметался уже обучаясь в Лифляндии. Этот полунемец такой же маленький, как ты, с такими же бакенбардами, как твои, и носит такое прозвище без значения, как и ты. Одним словом, это учитель искусств в нашей гимназии, Мертлич². Разница между вами только в том, что он имеет жену и троих детей... Этот Мертлич — воспитанник академии художеств и на рисовании и черчении просто собаку съел. А как соотчик Моцарта — мастер фантазировать на фортепиано, и плачет от мольных аккордов. Я с ним знаком был и прежде, но сблизился после смерти жены. Следствием этого было то, что Мертлич выстроил памятник на могиле моей жены, нарисовал миниатюрный ее портрет (на память) и каждый вечер сидел у меня до поздней ночи, то играя в шахматы, то фантазируя на фортепьянах, то аккомпанируя моей флейте, то, наконец, рассказывая анекдоты о немцах и *оп исфошниках*. Часто мне приходит в голову: если немцы во всяком случае являются моими утешителями, то и потерянное счастье должна возвратить мне тоже немочка...

Теперь к тебе несколько вопросов: 1) в прошлом году в декабре месяце из здешней гимназии в департамент министерства народного просвещения были отправлены три тетради моих *записок о словесности*, для пересмотра, можно ли ввести их в употребление, вместо прежних курсов³. Но до сих пор об них нет и помина; 2) в прошлом же году в отчете гимназии послано было читанное мною рассуждение на акте: *О трех великих идеях истины, благи и красоты, о влиянии их на жизнь и о соединении в них христианской религии*. Я писал и Ярославцову — нельзя ли это рассуждение тиснуть в «Журнале министерства народного просвещения», если окажется того достойным, но ответа не было; 3) мне иногда приходит блажь — прокатиться в будущем году в Питер: так не

будет ли какого места в департаменте народного просвещения, сообразного с моим чином (в будущем году я выслужу на кол[лежского] сов[етника]⁴ и как велика благостыня; или не будет ли места преподавателя словесности в гимназиях?

Ответы на эти вопросы ты постарайся послать не медля много, вместе с «Галереей»⁵.

XIX ЛЕЩЕВОЙ Ф. Н.

7 декабря 1845 г.

Когда это письмо придет к тебе, милая Феовна, экзамены Ваши, вероятно, будут уже кончены, и ты будешь готовиться к занятиям более приятным, напр., к Рождественским праздникам, к свиданию с родными¹. Но мне все хотелось бы, хотя бы только на этот раз, быть провидцем и узнать — чем кончилась история. О, с каким бы удовольствием поздравил бы я тебя с окончанием года и с наступлением нового, нового во всех отношениях². Надежда говорит мне, что ожидания мои не напрасны. Поспеши, мой друг, поскорее уведомить меня. Это будет мне подарком на Новый год.

Что сказать о себе? Все по-прежнему. Порой грустен, порой спокоен; думаю о прошлом и стараюсь заглянуть в будущее. То я один-одиношенек, то мысленно себя окружаю вами, кто мне так дороги. И время летит — в переплет грусти с радостью³.

В будущем году кончится 10 лет сибирской моей службы, получу чин коллежского советника (NB, а как девицам наши гражданские чины не очень нравятся, то переведу на более понятный язык: чин полковника) и, может, надолго, если не навсегда, оставлю свою родину. Но куда? В столицу? Может быть. Но может быть, так же в Одессу или куда-нибудь по соседству. Однако ж наперед увижу тебя. Саша⁴ шепчет мне, что ты похожа на маменьку. Это одно заставит меня взглянуть на милую Физу.

Я поручил Саше переслать от меня безделицу на конфеты, виноват — на булавки. Нынче не могу послать много, вот Бог даст получу со своих крестьян поболее оброку⁵ и к пасхе отправлю нарочного...

XX
В. А. ТРЕБОРНУ

Июль 1847 г. Тобольск

...Что же касается до его (А. Ф. Смирдина. — В.У.) предложения купить все великие произведения моего пера¹, то мне надобно, чтобы ты стороной разведаль, в каком количестве экземпляров расходятся его классики. Это, знаешь, для того, чтобы назначением цены не пообидеть ни его, ни себя. Во всяком случае я готов уступить на одно издание: *Конька*, *Суворова* и *Сузе* (повесть в стихах, помещенную в «Современнике»); а мелкие стихотворения надобно прежде всего повымить, чтобы им не грешно было показаться на божий свет, а на это надобно время и охоту. Последнее обстоятельство, кажется, ясно говорит, что я отпою им вечную память, как отпели им «Отечественные записки» и — увы! — читающее поколение.

Можешь предложить Смирдину, не захочет ли он купить одно издание *Конька* отдельно. Московские книгопродавцы уже давно осаждают меня об этом предмете, но мне не хотелось бы иметь с ними дело. Цена за издание по 1 руб. асс. с экземпляра, т. е. за полный завод 1200 руб. асс., как и прежде у меня покупали. Только с условием, чтобы деньги были высланы все сполна, без рассрочки! Знаю я эти рассрочки! 10 пар сапогов износишь ходя на поклон к своим же деньгам... За «Современник» поблагодари при случае Петра Александровича...²

Служба моя — мне ни мать, ни мачеха. Жду нынче утверждения в чине колл[ежского] советн[ика], и только. Нет, не только; жду еще прибавки 1/4 оклада за 5 лет сибирской службы с 1842 года. Только не знаю, не помажут ли только по усам.

Старший сын первой моей жены кончил курс в Казанском университете и получил степень кандидата³. Дочерей можешь видеть если хочешь, у родственника моего П[ротопопо]ва⁴.

XXI
П. А. ПЛЕТНЕВУ

5 октября 1850 г. Тобольск

Очень понимаю, что частыми моими просьбами я во зло употребляю снисхождение ваше; но я изменил бы тому мнению о вашей снисходительности, которое я привык иметь с тех самых пор, как вы приняли меня под ваше покровительство. Неудача по службе, хотя, смею сказать, вовсе мною незаслуженная¹, снова поставляет меня в недоумение: оставаться ли здесь, в ожидании лучшего будущего, или искать счастья в другом месте. Умоляю вас, Петр Александрович, научите меня — что мне делать? Каково бы ни было ваше решение, я покорюсь ему безусловно. Чувствую, что много труда будет мне — своими средствами дотащиться до Петербурга; но, допустив всякую жертву с моей стороны, я надеюсь, при вашем великодушном содействии, вознаградить пожертвование мое сторицею. Смею сказать, что холод Сибири не угасил во мне того пламени, которое ваши советы и ваше одобрение зажгли четырнадцать лет тому назад. Пусть это гордость с моей стороны, но я чувствую в себе еще довольно, и, может быть, очень довольно, силы, чтобы оправдать вашу обо мне заботливость. Четырнадцатилетнее одиночество мое в глуши, где судьба предоставила меня собственно самому себе, имело, по крайней мере, ту выгоду, что я сохранил прежнюю свежесть чувств и чистую любовь к поэзии. Я все еще современник той прекрасной эпохи нашей литературы, когда даже едва заметный талант находил одобрение, когда люди, заслужившие уже известность (я вспоминаю А. С. Пушкина, В. А. Жуковского и вас), не считали для себя унижительным подать руку начинающему то же поприще, которое они прошли с такой честью. И кто знает, может быть, неудачи мои по службе — наказание за измену своему назначению. Во всяком случае, я несомненно верю, что вы назначены быть моей судьбою. Снова повторяю, что ваш совет будет для меня законом. Не затруднитесь дать его, по неизвестности о настоящем моем положении. Ваше исполненное любви сердце угадает — где ждать мне лучшего. Я с этою же почтою хотел беспокоить Василия Андреевича², который, как известно, переселяется в Дрепт; но, подумав, решился прежде всего услышать ва-

ше мнение. Буду ждать его даже полгода и не предприиму ничего решительного, пока не получу хотя двух строк вашей руки. Может, слишком смело с моей стороны надеяться, что, при вашем содействии, министерство даст мне средства приехать в Петербург, хотя бы учителем словесности в которую-нибудь из тамошних гимназий; но на милость нет образца. Другой же должности (инспекторской или директорской) я не хотел бы принять на себя: во-первых, потому что она отняла бы у меня много времени, которое я желал бы посвятить литературе; во-вторых, не желая лишить этих мест тех, которые более меня имеют на них право. Я нынче сам испытал, как тяжело лишиться того, что по всем правам считал мне принадлежащим. Гражданская служба отдалила бы меня от возможности через пять лет получить полную пенсию и быть свободным — предаться моему любимому занятию, к которому, надеюсь, не лишен призвания. Но я охотно соглашусь служить при Императорской публичной библиотеке, если только есть надежда получить достаточное содержание.

Правда, нынешний наш директор³ не один раз мне говорил, что он искал директорского места в Tobольске только для того, чтобы при случае просить перевода подобной же должности на своей родине — в Малороссии; но это такая слабая надежда на будущее, что я никак не могу на нее рассчитывать.

Теперь перед вами, Петр Александрович, все данные, по которым вы можете сделать ваше заключение. Но ради Бога не оскорбьтесь моим многословием: я должен был высказать все, чтобы вы имели возможность дать мне совет, который должен решить мою будущность.

Буду с нетерпением ждать вашего ответа. В июне будущего года исполнится 15 лет моей службы в Сибири, и я должен буду или ехать в этом месяце в Петербург, или, заглушив всякую надежду на счастье и известность, дослуживать остальные пять лет в Tobольске, в ожидании 500 руб. сер. пенсии, на убогое содержание меня и моего семейства...

20 апреля 1851 г. Тобольск

Ваше мнение о моих *рассказах*¹ превзошло мое ожидание. Припоминая цель, для которой они писаны (испытать — не разучился ли я писать), и время, посвященное им (пять *рассказов* написаны в течение десяти дней), я не смел ожидать подобного успеха. Вот и причина, почему я не мог лучше обрисовать характеры и развить более замечательные сцены. Притом я хотел остаться верным принятой мною формы *рассказа*, где подробности анализа могут казаться лишними и повредить естественности. Может быть, я и ошибаюсь, но, по моему мнению, рассказ имеет разные условия — говорит ли рассказчик о себе или о другом лице, и при том рассказывает ли он происшествие, которое он видел случайно или сам был действующим лицом.

Остальные рассказы я пересмотрю и отдам переписать. Нисколько не печалюсь, что простые мои повести не придутся по вкусу журналистов. Одобрение подобных вам людей дороже всех журнальных похвал. Не могу скрыть от вас, что еще до отправления к вам рассказов, не доверяя себе, я читал их в одном образованном семействе², и они сказали мне то же самое, что я имел удовольствие прочесть в Вашем письме; по их мнению, лучше было бы издать рассказы особою книжкою, именно в том же предложении, что вряд ли они понравятся журналистам.

Совет Ваш — обратиться к генералу Анненкову³ — я постараюсь привести в исполнение, если только генерал, на обратном пути из Омска, заедет опять в Тобольск. Теперь скажу только, что, при осмотре нашей гимназии, он остался очень доволен найденным в ней порядком и обещал об этом довести до сведения г. министра народного просвещения. Но, разумеется, вся честь падет на г. директора, как на начальника заведения, мне же останется одна отрадная мысль, что служу не по-пустому.

Удостоьте, Петр Александрович, ответом вашим на мое письмо, для успокоения моих надежд.

XXIII

П. А. ПЛЕТНЕВУ

(Июнь) 1851¹ г. Тобольск

Исполняя ваше желание, имею честь препроводить при сем вторую часть «Сибирских вечеров»². В них первые два рассказа те самые, о которых я упоминал в последнем моем письме, а третий и четвертый написаны вновь. Буду с нетерпением ждать вашего отзыва, хотя наперед догадываюсь о нем. Когда-нибудь, в рассказе Таз-баши, я изложу свою теорию повести и надеюсь, что шутка, если только она удастся, лучше покажет крайности нынешнего рода рассказчиков, чем серьезный разговор о них. Я не враг анализа, но не люблю анатомии. Конечно, знать жилы и мускулы, при известном положении страсти, необходимо и для скульптора и для живописца; но обнажать всю внутренность — дело не совсем поэтическое. А повесть разве не та же картина и пластика, только с особенными условиями? Притом же подробный анализ впадает в школьную манеру и старается учить читателя там, где бы следовало заботиться об одном эстетическом удовольствии. Я допущу еще подробности в таких вопросах, как *быть или не быть*, но в такой мелочи, как идти или ехать, спать или проснуться, право, безбожно рассчитывать на терпение читателей. А жизнь героев повестей больше чем на 9/10 слагается из подобных мелочей.

Простите меня, Петр Александрович, за резкие, может быть, выражения, но я говорю, как понимаю. Для меня — одна глава «Капитанской дочери» дороже всех новейших повестей, так называемой натуральной, или, лучше, школы мелочей...

Вы напоминаете мне о труде, более достойном литературы и того мнения, которое вы по благосклонности имеете обо мне. Не скрою от вас, что мысль о *русской эпосе* не выходит у меня из головы. Но, живя в глуши, я не имею нужных к тому материалов. Это обстоятельство преимущественно влекло меня искать места при Императорской публичной библиотеке, где я мог бы пользоваться всеми старинными сказаниями. Предоставляю Богу устроить мою судьбу. Если же ему угодно оставить меня навсегда в Сибири, я не буду роптать на это, но

мысль о *русской эпосе* переменею на *Сибирский роман*. Купер послужит моим руководителем. А между тем на мелких рассказах я приучу перо свое слушаться мысли и чувства...

XXIV

А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ.

28 февраля 1852 г. Тобольск

Немного затруднительно начинать через 4 года прерванную переписку. Но мысль, что Ярославцов есть Ярославцов, а Ершов — Ершов, эта мысль толкает мое перо писать по-прежнему, как бы этих четырех лет не было и как бы мы вчера расстались друг с другом. Итак, давай твою секретарскую руку и слушай, как хрустят составы ее под пожатием дюжего сибиряка.

Ты, может быть, спросишь: что заставило меня писать к тебе? Очень простое обстоятельство — две строки в письме книгопродавца Крашенинникова¹, который пишет, что «я разговаривал об издании *Конька* с секретарем цензурного комитета, Ярославцовым, назвавшимся вашим *коротким приятелем*». А! подумал я, коли Ярославцов мой приятель, так надо написать приятелю грамотку. Ответит он на нее — спасибо ему, не ответит — нехай его... Теперь, когда дело объяснено вполне и удовлетворительно, скажу, что давно уже я собирался черкнуть несколько слов тебе и Т[ре]борну, но лень, проклятая лень, сибирская лень, всегда служила помехою...

Не считай, любезный А. К., этого письма за письмо и не ищи в нем связи. После долгой разлуки сильно накапливается разных вопросов, что не знаешь, с которого начать. Твой ответ, которого я ожидаю ровно через 1 1/2 месяца, подаст сигнал к письменной перестрелке с тобою и со всеми, кто только обо мне вспомнит и черкнет хоть два слова охотно. Поэтому передай мой вызов Т[ре]борну, Г[ригорье]ву, П[ожарско]му, Б[енедик]тову, всем, которые только помнят ерша ершовича. А между прочим, так как в цензуре теперь обретается некая рукопись, называемая *Осенние вечера*, то прошу изложить свое мнение по правилу нелицеприятного судьи, т. е. не ведая ни жалости, ни гнева. П. А. Плетнев отозвался об ней очень лестно, но мне все-таки хочется знать мнение людей, похожих на А. К. Ярославцова.

6 августа 1852 г. Тобольск

Твое письмо, без преувеличения, заставило меня помолодеть целыми десятью годами. Те же чувства, тот же привет! Значит, судьба недаром выбрала тебя, чтобы снова затянуть узел дружбы, который от обстоятельств места и времени начинал уже, если не развязываться, по крайней мере, ослабевать. Прекратив переписку с вами, я был точно сирота. И если бы не семейный очаг, то, право, мне негде бы было согреться. Что за люди? Что за души? Нет, надо пожить здесь, чтобы вполне постигнуть — что значит безлюдие в многолюдстве. Ты спросишь, что же привязывает тебя к этому пустырю? Вот что: через четыре года срок мой на пенсион и я — вольный казак; буду иметь насущный хлеб для себя, жены и трех ребятишек, а это в здешнем мире, право, не безделица.

Душевно благодарю тебя за ласковый отзыв об *Осенних вечерах* и за дружеский вызов устроить их печатную судьбу. Отдаю их тебе в полное распоряжение. Печатай их — как и где тебе угодно. Всего лучше условиться с каким-нибудь книгопродавцем, чтоб он напечатал их на свой счет, и издержки печатания выручил из продажи первых экземпляров. От этого ни я, ни издатель в накладе не будем. Цену за два томика можно бы назначить 2 р. сер. Я думаю — это недорого.

Только, пожалуйста, пощади моего Таз-башика. Он хоть немножко и сален, но, право, не глупый малый и, может быть, найдет своих любителей.

Но имени моего я не буду выставлять на показ почтеннейшей публике; впрочем, не потому, чтобы я стыдился своего детища, а просто потому, что я слишком берегу свое имя, чтобы, при всяком случае, делать из него, по словам покойного Пушкина, мишень для камней и грязи гг. журналистов. Хорошо — так будет хорошо и без имени, а плохо — так никакое имя не поможет. При том прохождение *Осенних вечеров* таково, что неуспех их не может слишком огорчить меня, разве только посетует карман — и только. Видишь ли, в прошлом году, наскучив неудачами по службе, я задумал было переселить-

ся в Питер — с мыслью, что если и там не повезет служба, так может быть, вывезет перо. Поэтому нужно было попробовать — не разучился ли я писать. Вот я и придумал несколько самых простых сюжетов и стал рассказывать их на разные манеры. В две недели *Вечера* были написаны и переписаны и даже прочитаны в одном образованном доме (фон-Визиных). Отзыв их решил меня послать *Вечера* к Плетневу, которого отзыв был так же лестен для меня, как и твой, и почти одного с твоим содержанием. Купец Крашенинников взялся было издать их, но, не знаю, почему-то раздумал. Вот пока — вся история моего творения, или, лучше, печения. Не знаю, была ли рукопись у вас в переборке, т. е. в цензуре, и в каком виде она воротилась оттуда.

Но ради Бога, скажи мне: за что такая немилость к *Коньку*? Что в нем такого, что могло оскорбить кого бы то ни было?.. Нельзя ли, по крайней мере, напечатать *Конька* в прежнем виде. Похлопочи, А. К., и если успеешь, то уполномочиваю тебя заключить с Крашенинниковым те же условия, какие я предложил ему, т. е. за право издания 300 р. с.; 200 руб. — при отдаче в типографию и 100 руб. — по истечении года, да сверх того 25 экземпляров издания¹.

Письмо оканчивается, а я не написал еще и половины того, что думал. Поспешу другим письмом, не дожидаясь ответа. Поцелуй Т[ре]борна. Поклон всем знакомым, если только они еще есть у меня.

XXVI

В. А. ТРЕБОРНУ

14 июня 1856 г. Tobольск

«*Конек*» мой снова поскакал по всему русскому царству¹. Счастливым ему путь! Крестный батюшка его, Крашенинников, одел его очень чисто и хвалит крестника напропалую. Журнальные церберы пока еще молчат: или оттого, что не обращают на него ни малейшего внимания, или собирая громы для атаки. Но ведь конек и сам не прост. Заслышав, тому уже 22 года, похвалу себе от таких людей, как Пушкин, Жуковский и Плетнев, и проскакав в это время во всю долготу и широту русской земли, он очень мало думает о нападках господствующей

школы и тешит люд честной, старых и малых, и сидней, и бывалых, и будет тешить их, пока русское слово будет находить отголосок в русской душе, т. е. до скончания века.

Желал бы я знать, что ты делал или, по крайней мере, что думал в 10-е июня. А я в этот день готов был и молиться и прыгать. Эти две несоединимые вещи очень легко объясняются тем, что 10 июня твой Петр выслужил полную пенсию и, значит, несколько обеспечил судьбу своих ребятишек. Будь он один, в этот же день он подал бы просьбу об отставке; но так как у него жена и пятеро ребят, то он подал просьбу о пенсии и вместе о позволении послужить еще пять лет...

XXVII

В. А. ТРЕБОРНУ

17 июня 1857 г. Тобольск

...В буквальном смысле, я завален работой. По сибирским моим правилам, я службу не считаю одним средством к жизни, а истинным ее элементом. Отстав от литературы, я всего себя посвятил службе не в надежде будущих благ, которых в нашем скромном занятии и не предвидится, а в ясном сознании долга. Не прими эти слова за панегирик моей особе. Я никогда не имел обычая рисоваться перед кем-нибудь, а тем более перед тем человеком, который меня знает с незапамятных времен, и, надеюсь знает не с дурной стороны. Надобно бы написать полдести бумаги, чтоб объяснить, в каком положении я принял дирекцию и сколько надо усилий и даже пожертвований, чтобы поставить ее на ноги¹. При личном свидании, которое не замедлит, я расскажу тебе и милому, но немножко строгому Андрею...²

Но будет о службе, поговорим о дружбе. С каждым годом я уверяюсь в истине, что время — лучшее средство для познания людей. Когда я оставлял Петербург, друзей моих не поместила бы саженная Times. А вот, через 20 лет, остаются только двое. Зато эти двое дороже для меня втрое... Желал бы узнать толки об одном дивном произведении. Журналисты молчат, потому что не нашлось ни одного, который бы имел столько самобытности, чтобы высказать первому свое мнение о рас-

сказах, никоим образом не подходящих под рамки текущей литературы...

Нынче я получил приглашение участвовать в юбилее А. Ф. Смирдина. Охотно бы принял это приглашение, если бы имел хоть немного свободного времени. Из старого нет ничего; нового скоро не предвидится. Сказал бы тебе большое спасибо, если б, при свидании с А. А. Смирдиным (сыном), ты извинил бы меня перед ним...

XXVIII

Е. Н. ЕРШОВОЙ¹

19 апреля 1858 г. Петербург

Сегодня я имел честь беседовать с обоими министрами: старым и новым². В 10 часов отправился я в дом министра, для объяснений с новым министром, по его назначению. Вхожу в приемную комнату и вижу вдали какого-то человека, который занимался подле одного библиотечного шкафа. Я принял его за библиотекаря и подошел к нему. Он оглянулся. «Кого вам угодно? — спросил он. — Меня или министра?» Я отвечаю: министра. «Его здесь нет, — продолжал он. — А позвольте, откуда вы?» — Из Тобольска. — «Так поэтому вас я вызывал сюда», — сказал живо незнакомец и встал. По этому вопросу и по деревяшке³, которую я теперь только заметил, я сейчас догадался, что это был прежний министр, Абрам Сергеевич Норов. Я поспешил извиниться. Норов подал мне руку. «Очень рад вас видеть. Пойдемте в то отделение». Я последовал за ним. Норов сел на стул и пригласил меня сесть. Спрашивал о Сибири, об училищах, сказал, что у него составлено довольно проектов для Сибири, которые он передал Евграфу Петровичу (новому министру). «Теперь, хотя я и не управляю министерствами, но, как член Государственного совета, могу иметь голос в делах и, без сомнения, подам его в пользу Сибири. Для меня по-прежнему чиновники университета и гимназии — мои товарищи, а студенты и гимназисты — дети». Я высказал сожаление, что он оставил министерство, и просил его покровительства, если поступит какой-либо проект в Государственный совет. Абрам Сергеевич отвечал очень обязательно.

После расспросов о состоянии образованности в Си-

бири он сказал: « Я надеюсь многого от Сибири. Много обещает ей будущее, особенно когда облегчатся способы сообщения. Если б я мог остаться еще год министром, я навел бы ваш Тобольск и проехал бы до Иркутска! Хотелось бы еще побольше поговорить с вами, но мне надо ехать на открытие женской гимназии, где будет сама Императрица». При этих словах он встал и крепко пожал мне руку. Я не встречал еще человека, который говорил бы так увлекательно, как Норов. Каждую фразу его можно печатать без поправки.

После свидания с Абрамом Сергеевичем я ждал часа два нового министра (который был также при открытии женской гимназии) и хотел даже отправиться домой. Но хорошо, что не ушел, потому что вскоре пришел Ковалевский. Попросив меня немного подождать, он пошел к Норову и пробыл у него с полчаса, потом позвал меня в залу присутствия. Это приглашение меня первого было тем замечательнее, что в приемной ожидали директор департамента, правитель канцелярии и другие звездносные люди. Я пошел. Министр был один и сидел у стола. Пригласив меня сесть, он стал довольно подробно спрашивать меня о гимназии, о пансионе, об училищах, так же о посещении мною петербургских гимназий. «Здесьних гимназий я мало знаю, но советую вам остаться на несколько времени в Москве и осмотреть 1-ю и 2-ю гимназии. В первой же увидите удивительный порядок, а во второй — прекрасный способ преподавания». Я, разумеется, обещал исполнить приказание его высокопревосходительства. Потом спросил он о надобностях гимназии и училищ. Я хотел было воспользоваться этим случаем и намекнуть о скудности содержания при недостатке других средств, но министр прервал меня, хотя ласково: «Ну, этому в настоящее время помочь нельзя. Финансы наши не в блестящем состоянии. Надо потерпеть». В заключение он дал мне довольно наставлений по управлению и относительно учителей и учеников. Но об них я расскажу при свидании. Довольно здесь объяснить, что они серьезного содержания. Это можно вывести из последующих слов, которыми министр заключил свои наставления. «Я даю вам позволение во всех нужных случаях, оставив обыкновенные официальные порядки по начальству, писать прямо ко мне, с надписью: в собственные руки». Прощаясь со мною, Евграф Петро-

вич крепко пожал мне руку и сказал: «Ничего более не желаю, как чтоб вы продолжали служить так же, как служили до сих пор, по засвидетельствованию вашего начальника. Я обещаю и для вас и для ваших служащих сделать все возможное, смотря по заслугам. Прощайте». Сделав несколько шагов к дверям, министр воротился к столу, а я вышел и с радостью за обязательный прием и с раздумьем — исполнить достойно его поручения. Но утешаюсь надеждою на помощь Божию.

И так, благодаря Бога, главное в путешествии моем кончено. Через неделю — в Москву!..

XXIX

Е. Н. ЕРШОВОЙ

23 ноября 1858 г. Ялуторовск

Милая Елена! Вот я и в Ялуторовске¹. Это последний город настоящего моего маршрута, и потом к вам, обнять тебя и милых детей. Из Ишима я выехал в субботу, в 5 часов. Обедал у смотрителя вместе с П. И., который приехал проводить меня. В 6 часов мы были уже с смотрителем в Безруковой, месте моего рождения, и пили чай. Тут явилось несколько крестьян с сельским головой, с просьбами о моем содействии — соорудить в Безруковой церковь. Они хотят составить приговор — течение трех лет вносить по 1 р. сер. с человека (а их — душ примерно до 800), что в 3 года составит до 2500 р. сер. Мое дело будет — испросить разрешения на постройку церкви, доставить план и помочь по возможности. Смотритель сказал, что церковь надо соорудить во имя преподобного Петра, и крестьяне согласились. Место для церкви они сами выбрали то самое, где был комиссарьятский дом, т. е. именно там, где я родился². Признаюсь, я целую ночь не спал, раздумывая о том — неужели Господь будет так милостив, что исполнится давнишнее мое желание освятится место моего рождения и восхвалится имя моего Святого. Недаром же в нынешнем году в календаре в первый раз упомянуто имя его. Сближение, как ни суди, пророческое. И как приятно мне было слышать от старых крестьян нелицемерные похвалы моему отцу! Все это составило для меня 22 число одним из приятнейших дней моей жизни.

В Ялуторовск я приехал в 7 часов вечера 23 числа и остановился в училищном доме. Смотритель был так обязателен, что заранее все приготовил к моему помещению. Сейчас только кончили мы ужин, и я, узнав, что завтра отходит почта в Тобольск, спешу написать это письмо. Завтра утром намерен начать ревизию, по среде, по крайней мере, утро, я останусь еще в Ялуторовске, в ожидании присылки из Кургана и Тюмени твоих писем, а там — в возок и в Тобольск.

XXX

Е. Н. ЕРШОВОЙ

Март 1859 г. Туринск

...В самый день приезда моего в Тюмень, т. е. в воскресенье, приехал ко мне окружной начальник Стефановский¹ и обедал вместе со мной у смотрителя. Вечером, с семейством смотрителя, я был у Стефановского, который отправлял жену свою в Екатеринбург. Я очень рад, что застал жену его, потому что имел к ней предложение принять на себя звание попечительницы открываемого в Тюмени женского училища. Надеюсь, что она согласится. В учительницы рукоделия хотят пригласить Вариньку Себякину, надзирательницами будут жена одного учителя, бывшая гувернантка у Корчемкина и одна сирота дочь священника. Положено открыть школу 22 июля, в день тезоименитства Государыни. К этому же дню постараюсь открыть женскую школу в Ишиме; и того, кроме Тобольска, будет в Тобольской губернии 4 женские школы, а с Омским приютом — 5². Ведь не дурное начало.

В понедельник, т. е. сегодня, утром, я съездил к купцу Шешукову поблагодарить его за пожертвование в пользу гимназии книг и приглашен завтрашний день на именинный пирог, но вряд ли я поеду: надо скорее ехать в Туринск, да притом слышно, хозяин любит угощать на славу, а мне надо пожалеть свою голову. Заеду, может быть, утром его поздравить, потом на экзамен в училище, а там закусить и в дорогу... Во вторник, в 4 часа после обеда, я отправился из Тюмени. До Туринска было 160 верст; следовало бы это расстояние сделать каких-нибудь в полсутки, но не тут-то было. Дорога, бла-

годаря обозам, до такой степени избита, что часто должно было ехать шагом из опасения опрокинуться. Но, слава Богу, отделался только сломанной оглоблей да несколькими тычками, хотя и довольно чувствительными. В Туринск приехал в среду, в 12 часов утра, и, пересмотрев две квартиры, остановился наконец в третьей, подле самого училища. Вскоре, по приезде моем, были у меня почти все наличные чиновники, но сам я отдыхал от толчков дорожных. Утром в четверг, с половины девятого часа до второго, производил ревизию; потом поехал к игуменье и посидел у нее час...

XXXI

Ф. Н. МЕНДЕЛЕЕВОЙ¹

2 января 1863 г. Тобольск

Давно я в долгу перед тобой, милая Феовна Никитишна, за два твоих обязательных письма. Но что же мне было делать? К обыкновенной моей неохоте писать прибавилось еще другое обстоятельство, именно холодная квартира, не знаю, как согреть руки, а уж о писании и думать нельзя². Наконец, наступление Нового года и близость твоих именин заставили меня, подувши хорошенько на руки, взять перо и поздравить милую именинницу.

Положение мое было бы довольно сносно, если бы не медленность в назначении пенсии. 9 марта прошлого года подписана моя отставка, а вот скоро 9 января 1863 года, о пенсии же нет ни слуху. Мне приходит иногда мысль: не затерялось ли в Деп[артаменте] Нар[одного] Пр[освещения] представление о пенсии во время перетруски при апраксинском пожаре? Боюсь беспокоить уважаемого Дмитрия Ивановича³, но он очень обязал бы меня, если бы в свободное время навел справку касательно моей пенсии и посодействовал бы мне в скорейшем ее получении. А то, признаюсь, тяжело человеку с немалым семейством жить одними долгами да надеждами. На беду и Крашенинников ни ответа не дает, ни денег не присылает⁴.

Примите, друзья мои, участие в этих двух пунктах моего существования. В случае же, если Крашен[инников] будет так неблагодарен, что опять всю вину свою

будет слагать на [неразборчиво], я просил бы Дмитрия Ивановича научить меня — к кому и куда я должен обратиться с просьбой и через какие формальности я должен пройти, чтобы получить свое. Для ясности дела прилагаю коротенькую его историю.

Лето и обстоятельства решат, остаться ли мне в Тобольске или искать какого-нибудь уголка, где бы моими своими средствами мог бы я воспитать детей и протянуть свой жизненный срок.

Семья моя здорова и посылает тебе поклон. С своей же стороны прилагаю поклон Дмитрию Ивановичу и прошу не посетовать на меня за мою докучливость.

Преданный Вам П. Ершов.

При свидании передай мой поклон Владимиру Александровичу и Марье Федоровне.

Адрес ваш не нашел, пишу в Университет.

ПРИЛОЖЕНИЕ к письму Ф. Н. Менделеевой от 2-1-63 г.

В 1860 г. с-пет[ербургский] книгопродавец Крашенинников обратился ко мне с просьбой о дозволении ему напечатать Конька-Горбунка в числе пяти тысяч экз. и желал знать мои условия.

Приняв во внимание количество экземпляров, я согласился взять по 20 к. с экз. с тем, чтобы деньги были заплачены немедленно по напечатании и все вдруг. Пользоваться изданием я предоставил ему в течение пяти лет.

В июне того же года г. Крашенинников писал мне, что он согласен на мои условия, но что вместо 5000 экз. он намерен напечатать только 2000.

В том же июне я отвечал ему, что с изменением количества экземпляров я должен возвысить цену, именно вместо 20 коп. за экз. по 30 коп и право пользования изданием ограничить на три года.

Г. Крашенинников не ответил мне на эти предложения, и я думал, что он оставил намерение печатать сказку.

В октябре того же года г. Вольф сделал мне предложение издать мою сказку с иллюстрациями и тоже желал знать условия.

Я отвечал ему, что извещу его по получении ответа от г. Крашенинникова, к которому немедленно написал об этом.

5 декабря получил я ответ от Крашенинникова, что он печатает уже сказку в количестве 3000 экз., согласно первому условию, т. е. по 20 коп. за экз. и с правом 5-летнего пользования изданием.

Я тотчас же отвечал ему, что соглашаюсь не иначе как на последнее условие, т. е. по 30 к. за экз. и с правом издания на 3 года.

С тех пор по сие время от г. Крашенинникова — ни слова, а сказка напечатана и, как писал мне один из книгопродавцов, уже вся распродана.

Письма г. Крашенинникова все у меня, а мои должны быть у него. Впрочем, и у меня найдутся черновые отпуски моих писем к нему.

П. Ершов

XXXII

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВУ

4 мая 1863 г. Тобольск

Вчера я имел удовольствие получить письмо Ваше, добрейший Дмитрий Иванович, и спешу поздравить Вас, равно и милую Феовну Никитишну с новорожденной¹. Дай Бог, чтобы она была постоянно Вашею радостью и утешением.

И мне тоже в светлые дни Пасхи послана радость бумагою о столь долго ожидаемой пенсии². Благодарю Вас, Дмитрий Иванович, за содействие Ваше в получении ее мною. Без Вашей справки в Департамент, а может быть и настоянии, я бы до сих пор жил ожиданиями.

Вот г. Крашенинников — другое дело: не внимает ни просьбам, ни внушениям. Слова его, что будто бы он отправил ко мне деньги еще на страстной неделе — новый обман его. Будьте так добры, Дмитрий Иванович, кончите начатое Вами. Словам его можно поверить только тогда, когда он подтвердит их свидетельством почтовой квитанции об отправке денег. Иначе мне придется еще долго мучиться самому и мучить других. Нельзя ли пугнуть его цензурным уставом, так как последнее издание его сильно смахивает на контрафакцию³.

Желаю Вам и Феовне Никитишне всего лучшего. Имею честь навсегда быть Вашим.

П. Ершов

XXXIII

В. СТЕФАНОВСКОМУ.

Ливарь 1865 г. Тобольск

Благодарю Вас за привет и ласковое слово. С своей стороны поздравляю Вас с новым годом с желанием сто-рицею всего того, что Вы мне пожсдали.

На Коньке-Горбунке воочью сбывается русская пословица: не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив. Вся моя заслуга тут, что мне удалось попасть в народную жилку.

Зазвенела родная — и русское сердце отозвалось.

от хладных финских скал
до стен недвижимого Китая.

Вы желаете, чтоб успех *Конька* (впрочем, ныне вполне принадлежащий Сен-Леону и Муравьевой)¹ снова вызвал меня на литературную арену. Может быть, и вызовет, но только не по этой части. Играть на лире, — выражаясь словами прежних поэтов, — очень хорошо под безоблачным небом, когда над головою сень яблони, с которой яблоки сами падают в рот. А тут до пения ли, когда не знаешь, чем извернуться месяц на скудной пенсии с громадой ребят. Их судьба заставляет меня тянуть другую песню, может быть, и не без смысла, но уж вовсе не гармоничную. Подожду, что дальше будет, а пока примите уверение в неизменной моей к вам преданности.

XXXIV

В. А. ТРЕБОРНУ

23 января 1865 г. Тобольск

На днях я получил письмо от А. Н. Лещева¹, который между прочим пишет, что виделся с неким В. А. Т[ре]борном и что оный Т. мне кланяется. Немного, кажется, слов, а сколько они возбудили мыслей и воспоминаний — начиная от студенческой скамьи в 1830 году до радушного «прости» в дебаркадере железной дороги в 1857 году. Это почти средневековый увраж in folio, в полторы тысячи страниц с миллионом разных разностей содержания. Не знаю, кто из нас более вино-

ват в молчании, и принимаю всю вину на себя, на свою сибирскую лень. Итак, снова дружескую руку, любезный Владимир Александрович, и хоть раза четыре в год будем перебрасываться несколькими сердечными строками.

Из газет или от Лещева ты уж, перно, знаешь, что я давно уже сошел с поприща службы и живу теперь на богатом цифрами, но очень скудном по дороговизне всего пенсионе. Один выигрыш отставки — душевный покой, но я его не променяю за тысячи тысяч. Правда, иногда мысль о судьбе детей, которых у меня штук шесть, заставляет меня вздохнуть о своей бескарманности, но вскоре пзгляд на Спасителя в минуту облегчает мою грусть. Приходит иногда желание перебраться в Питер или в Москву, чтобы к своей пенсии приложить еще лепту от литературных трудов. Но вспомнив о нынешнем безалаберном направлении, с которым я никак не только не могу сойтись, но даже и примириться, и поневоле остаюсь как рак на мели, в сибирской трущобе. Но... пока будет об этом... Поздравляю тебя с новым годом. Обними за меня Ярославцова и Дестуниса² и всех, кто только меня помнит. Буду ждать с нетерпением твоего ответа и тогда развернусь поподробнее.

Кстати, если ты будешь отвечать, в чем и надеюсь, не откажись сообщить мне подробнее о балете Сен-Леона «Конек-горбунок». Газетные известия, может быть, удовлетворительны для публики, но не для меня. Родительское сердце хотело бы знать всю подноготную о своем детище...

XXXV

А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

17 июля 1865 г. Тобольск

Мой добрый Андрей Константинович. Если бы желание сердца можно было обратить в телеграфическую проволоку, то ты давным-давно получил бы от меня тысячу приветов, с целым грузом благодарности. Но, к сожалению, не все возможно, чего хочется. Поэтому довольствуйся лоскутком письма, хотя запоздалого, но тем не менее задушевного. Частая хворость, особенно при нынешнем бестолковом лете — с дождем и холодом, была главной причиною этой запоздалости. Если же прибавить к

этому болезнь жены, рождение дочери, то этих причин, полагаю, достаточно было бы для оправдания меня даже перед английским парламентом. Итак — к делу. А трудную ты задал мне задачу с своим Гамлетом¹. Да еще вызываешь меня на полемику! Нет, любезный А. К., скажу тебе правду истинную: голова моя, может быть, годная для сказок, нисколько не создана для анализа (что мне заметил и душевно уважаемый П. А. Плетнев). Я готов всем изящным любоваться до головокружения, а давать себе отчет, — почему это хорошо, почему это шевелит сердце, — вовсе не мое дело. Прочитав твою брошюру, я прежде всего порадовался за твое сердце, которое и при седых волосах (если, впрочем, таковые есть в личности) бьется живой струей молодости; порадовался, что ты, при всеобщем — искреннем ли, или подставном — стремлении к утилитарности, принимаемой в самой узкой рамке, остался верен прежнему благородному направлению; порадовался, наконец, и тому, что и мое уже остывающее сердце сохранило еще несколько жизни, по крайней мере, настолько, чтоб сочувствовать подобному явлению, как твоя брошюра. Может быть, со временем, когда залучу к себе чей-нибудь перевод Гамлета, я прочту его вместе с твоей брошюрой, и напишу что-нибудь подельнее теперешнего; но теперь ставлю точку — и конец. Не мог я не улыбнуться (хотя и не совсем веселою улыбкою), читая твои фантазии о тайных моих литературных подвигах. Да, они действительно тайны, и так тайны, что я сам ровно ничего об них не знаю. Разумеется, здесь говорится о созданиях, выраженных в *литерах*; что же касается до созданий фантазии, которые носят только в светлых, но все-таки туманных призраках и не облеклись, как говаривал А. В. Никитенко, в плоть и кровь, то их у меня такая куча, что для воплощения их недостало бы и десятка человеческих жизней. А что же толку в этом? — спросишь ты. А толк тот, что мне с ними весело, что они единственные утешители мои в незавидной моей сущности, что они те золотые нити, которые связывают меня с далеким небом... поэзии.

Обнимаю тебя тысячу раз вместе с светлоголовым Владимиром. Будьте здоровы и на мои лоскутки оплайте целыми листами.

XXXVI
А. К. ЯРОСЛАВЦОВУ

5 февраля 1866 г. Тобольск

...Письмо твое утешило меня за балет «Конек-Горбунук». Значит, он не так плох, как выставил его один светлоголовый господин, немножко и тебе известный¹. Он так отделал его в последнем письме своем, что я готов был заплакать о судьбе своего пасынка. Вероятно, Владимир в час письма был в скверном расположении духа...

У меня лежат несколько пьес, написанных еще в то время, когда у меня не было еще ни одного седого волоса, а у Владимира на голове не сияло солнце. Если условия дирекции покажутся мне выгодными, то я вытащу моих детищ из-под спуда, поуюю, поочищу и представлю на суд... Считаю нужным сказать, что пьесы эти — дети вселого досуга, а не серьезной мысли, вроде *Кузнеца Базима*, которого ты можешь прочесть в Сборнике в память Смирдина (не помню тома).

Другое еще. У Осипа Карловича Гунке, — кажется, ты его знаешь, — есть три или четыре либретто опер, написанных мною по его просьбе. А так как он, вероятно, не расположен писать на них музыку, то не найдется ли какой охотник употребить их в дело. Нынче ведь довольно явилось композиторов; может быть, кому-нибудь и понравятся либретто. Ты, верно, рассмеешься, читая эти поручения. Но, во-первых, не любовь к детищам заставляет меня поставить их на ноги, а трудность положения, в котором нахожусь я с семейством; а во-вторых, кто знает, может быть, успех (хотя бы и небольшой) стародавних писаний вызовет меня снова на литературный труд, более достойный.

Заклучу письмо мое повторением желания еще хоть раз увидеться с вами.

XXXVII
В. А. ТРЕБОРНУ

13 июля 1866 г. Тобольск

...Целую тебя в обе щеки за фотографии из «Конька». Троицкий — это тип Ивана¹. Удастся ли когда-ни-

будь увидеть мое детище на сцене? О поездке в Петербург мне нечего и думать; а если бы, по щучьему веленью, это и случилось, вероятно, балет сдан будет уже в архив, где столько его предшественников покоятся сном непробудным...

...Что тебе сказать собственно о моей особе? Хотя о моей жизни и нельзя сказать — бочка дегтю да ложка меду, однако все-таки пропорция последнего очень незавидна. Без денег, без здоровья, с порядочной толикой детей и с гомеопатической надеждой на лучшее — вот обстановка моего жизня! Если я еще не упал духом, то должен благодарить Бога за мой характер, который умеет ко всему примениться. Одна только мысль тяжело лежит на душе — это воспитание детей. Старшему сыну уже одиннадцать лет², но пока он занимается еще дома. Есть способности, но рассеянность бесконечная. Поэтому ему трудно будет в заведении, где по самому числу учеников нельзя ему быть предметом исключительного внимания учителя. Другим сыновьям — одному четыре года, а другому два. Ну, эти еще на попечении матери — и многого не требуют. Впрочем, что загадывать вперед. Скажу словами гетмана Хмельницкого: «Будет, что будет, будет, что будет, а будет — что Бог велит», аминь.

Поклон Ярославцову, Дестунису и всем, кто только обо мне вспомнит.

Не сердись, что на большие письма я отвечаю лоскутками. Ей-Богу, писать для меня такая комиссия, что только желание иметь от тебя весть заставляет меня браться за перо. То ли дело разговор! Может быть, изобретательный ум придумает какой-нибудь далекослышный рупор, и тогда я буду день и ночь разговаривать с вами.

XXXVIII

Ф. Н. МЕНДЕЛЕЕВОЙ

9 августа 1866 г. Тобольск

Милая Феовна Никитишна. Не знаю, кого винить — себя или судьбу, что все мои письма начинаются одной прелюдией — извинениями. Но кто бы ни был настоящим виновником неаккуратности, я все-таки, за неимением лучшего, утешаюсь тем, что у меня есть всегда готовое начало письма — самая трудная фраза и по рито-

рике. А если прибавить к этому уверенность, что милая дочка не осердится на старого ленивца, то дело и не потребует переноса в мировой сход, и решится окончательно милая мировая судейшей.

Читая описание твоего летнего Эльдorado, я чмокал губами как Петр Петрович Петух при заказе пирога, и если б ум человеческий достиг до того, чтобы можно было ездить по телеграфу, то поверь, я давно бы гулял в твоём армидином саду и рвал бы гесперидские яблоки. Но так как уму, как и всякому человеческому деятелю, положены границы, то и я ограничился только желанием когда-нибудь побывать в Вашем Эдеме, хотя бы в должности виноградаря. А как бы приятно было в какой-нибудь летний день, вскоре по восходу солнца, встретить в саду милую хозяйку и поднести ей корзину только что сорванных плодов. Милая улыбка была бы наградой для седого садовника, а ласковый привет помолодил бы его на несколько годов. Ты, верно, улыбаешься при чтении этих строк, но во всяком случае улыбнуться лучше, чем нахмуриться, и я не виноват, что ты так очаровательно описала свою летнюю дачу¹.

От идиллий перейдем к прозе. Живу я по-прежнему, т. е. после понедельника встречаю вторник, там среду и т. д. Перспектива будущего освещается только надеждою. Весь медицинский совет, т. е. все наличные тобольские доктора сказали, что болезнь моя неизлечима², и хотя в утешение прибавили, что я могу прожить еще довольно лет при известной обстановке, однако утешение их не много меня порадовало. Одна надежда на Того, Кто дал мне жизнь и Кто до сих пор хранит ее. Без этой надежды давно бы дети мои были сиротами, а жена вдовою. Не удивляйся такому переходу в письме моем: я человек минуты. Чуть мне полегче, я готов ребячиться как пятилетний шалун, а при перемене — смотрю как факир на кончик своего носа.

Это письмо я отправлю через Николая Никитича³, не зная настоящего твоего пребывания. Обними уважаемого Дмитрия Ивановича и расцелуй твою малышку. Вось твой

П. Ершов

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

названий печатных источников и архивных материалов

- Б. для чт.* — журнал «Библиотека для чтения».
- БП—36* — П. Ершов. Стихотворения. Вступительная статья, редакция и примечания М. К. Азадовского. «Библиотека поэта». Малая серия, 1936.
- БП—51* — П. Ершов. «Конек-горбунок». Стихотворения. Вступительная статья, примечания и подготовка текста В. Уткова. «Библиотека поэта». Малая серия, 1951.
- БП—61* — П. П. Ершов. «Конек-горбунок». Стихотворения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания М. К. Азадовского. «Библиотека поэта». Малая серия, 1961.
- БП—76* — П. П. Ершов. «Конек-горбунок». Стихотворения. Вступительная статья И. П. Лупановой. Составление, подготовка текста и примечания Д. М. Климовой. «Библиотека поэта». Большая серия. Второе издание. 1976.
- Зам. и Цв.* — С. Н. Замахаев и Г. А. Цветаев. Тобольская губернская гимназия. Историческая записка о состоянии Тобольской гимназии за 100 лет ее существования. 1789—1889. Тобольск, 1889.
- НАМ ЛГУ* — Научный архив Д. И. Менделеева при Ленинградском государственном университете.
- Омск. 1937* — П. Ершов. Избранные сочинения. Омское областное государственное издательство. Омск, 1937.
- Омск, 1950* — П. П. Ершов. Сочинения. Редакция, комментарии и вступительная статья В. Г. Уткова. Омск, 1950.
- С.* — журнал «Современник».
- С. о.* — журнал «Сибирские огни».
- Т. т.* — «Тобольские тетради». Автографическое собрание поэтических произведений П. П. Ершова в Тобольском музее-заповеднике.

ц. р. — цензурное разрешение.

Яр. — Петр Павлович Ершов. Автор сказки «Конек-горбунок». Библиографические воспоминания университетского товарища его, А. К. Ярославцова. Спб., 1872.

Литературное наследство П. П. Ершова рассеяно по журналам, газетам и различного рода литературным сборникам. Автобиографический фонд незначителен. Рукописей «Конька-горбунка», «Сузге», пьесы «Суворов и станционный смотритель», либретто опер, рассказов и других произведений не найдено. Единственным автографическим собранием являются четыре рукописные тетради П. П. Ершова из Тобольского краеведческого музея, в которые переписаны рукой Ершова почти все его лирические стихотворения, неоконченная драматическая повесть «Фома-кузнец», ряд набросков, стихи в альбомы друзей, цикл эпиграмм на тобольского архитектора. Большинство стихотворений имеет точную дату — не только год, но и месяц, число. Исследователями обнаружены так же автографы отдельных произведений Ершова и списки стихотворений, сделанные руками его друзей и знакомых.

При жизни Ершова отдельными изданиями выходили «Конек-горбунок» (семь изданий) и пьеса «Суворов и станционный смотритель» (Спб., 1836). Впоследствии отдельными изданиями выпускался только «Конек-горбунок».

Первое собрание сочинений Ершова вышло в 1937 г. в малой серии «Библиотека поэта» под редакцией М. К. Азадовского. В него вошли кроме «Конька-горбунка» восемь стихотворений. В 1937 г. выходят «Избранные сочинения» Ершова в Омском областном государственном издательстве под редакцией Ф. Г. Копытова. В них напечатаны «Конек-горбунок», «Сузге», «Фома-кузнец» и тридцать одно стихотворение из тобольских рукописных тетрадей. В 1950 г. Омское областное книжное издательство выпускает «Сочинения» Ершова под редакцией В. Г. Уткова, в которое вошли «Конек-горбунок», «Сузге», «Суворов и станционный смотритель», «Фома-кузнец», тридцать два стихотворения, эпиграммы и четыре рассказа из «Осенних вечеров». В последующие годы собрания поэтических произведений Ершова выпускаются в малой серии «Библиотеки поэта» в 1951 и 1961 гг.

Поэтические тексты настоящего издания печатаются по книге: Конек-горбунок. Стихотворения. Библиотека поэта. Большая серия, второе издание, Л., 1976, составленной и прокомментированной Д. М. Климовой. В тех случаях, когда источник текста другой или заново сверен с авторской рукописью, это оговорено в примечаниях. Остальные тексты произведений Ершова печатаются по прижизненным публикациям. Даты написания стихотворений помещены под ними (в круглых скобках — установлены составителем). Время первой публикации сообщается в примечаниях.

«КОНЕК-ГОРБУНОК».

Первая часть сказки была напечатана в Б. для чт., т. 3. 1834 г. (ц. р. 31 марта 1834). Отдельное издание сказки вышло в том же

году в Петербурге (ц. р. 4 июня 1834). Сказка выпущена с большими цензурскими купюрами. Объявление о продаже сказки в газете А. Ф. Смирдина помещено в «Северной пчеле» 5 октября 1843 г. В 1840 и 1843 гг. московский книгопродавец К. И. Шамов выпускает второе и третье издания «Конька-горбунка». Третье — малоформатное, снабженное иллюстрациями. После этого в течение 12 лет сказка не выходит из печати, находясь под цензурным запретом. Однако запрет этот не имел полной силы — по стране расходятся рукописные экземпляры «Конька-горбунка». Четвертое издание выпускается книготорговцем-издателем П. И. Крашенинниковым в 1856 г. в исправленной и дополненной автором редакции, иллюстрированное семью гравюрами на дереве (художник Р. К. Жуковский, гравер Л. А. Серяков). При жизни Ершова сказка выходит еще в 1861, 1865 и 1868 гг. Пятое издание имеет разночтения с четвертым, шестое и седьмое издания выходят без изменений по пятому изданию. До 1917 г. сказка издавалась более 30 раз. После революции «Конек-горбунок» в нашей стране выходит более 200 раз, переведен на многие языки народов СССР.

Сказка Ершова породила целую когорту иллюстраторов, которые с тем или иным успехом пытались выразить в зрительных образах существо «Конька-горбунка». Среди них из дореволюционных назовем Е. Самокиш-Судковскую и А. Афанасьева, двух совершенно противоположных по пониманию сказки художников. Отдали дань «Коньку-горбунку» многие известные советские иллюстраторы — Ю. Васнецов, Н. Кочергин, В. Милашевский, В. Куприянов, Н. Пискарев, В. Конашевич, Г. Вальк, Р. Сайфуллин, М. Карпенко и другие, а так же и народные художники Палеха, Мстеры, Гжели. Как совершенно новое явление, не имевшее ранее места в книжном деле, следует отметить работу многочисленных иллюстраторов-художников из различных городов нашей страны. Сказку Ершова иллюстрировали в Омске (Е. Крутиков, 1935; К. Белов, 1959), Куйбышеве (В. Челинцев, 1947), Свердловске (Л. Эппле, 1948, 1977, 1969), Краснодаре (Б. Есьман, Г. Литовченко, 1949), Смоленске (С. Шестопалов, 1950), Минске (М. Бельский, 1954), Ростове-на-Дону (Н. Драгунов, 1956), Ташкенте (А. Константинов, 1964, 1974), Кемерово (В. Пресняков, 1967, 1973), Горьком (С. Калачев, 1970), Южно-Сахалинске (Г. Масальский, 1971), Воронеже (Вл. Пресняков, 1968, 1972, 1978), Куйбышеве (В. Панидов, 1972), Алма-Ате (Ю. Функ, 1974), Туле (Н. Рашектаев, 1978), Ставрополе (С. Солдатов, 1979), Харькове (А. Тюрин, И. Тюрина, 1981) и т. д. Сведения эти далеко не полны. Пожалуй, нет ни одного литературного произведения, которое вызвало бы такой интерес у художников.

Проник «Конек-горбунок» и в другие виды искусства. В 1864 г. по сказке Ершова был поставлен в Петербурге балет (музыка П. Пули, постановка А. Сен-Леона). Впоследствии над балетом работали такие известные отечественные хореографы, как М. Пети-пато (1895) и А. Горский (1901, 1917). С огромным успехом шел балет по сказке Ершова в первые годы революции — за 4 театральные сезоны с 1917/18 по 1920/21 гг. на сцене Большого театра он ставился 30 раз, наравне с такими популярными постановками, как «Лебединое озеро» (33 раза), «Тщетная предосторожность» (32), и «Дон Кихот» (31 раз). С 1960 г. балет идет в

новой постановке (музыка Р. Щедрина, либретто В. Вайсена и П. Малиаревского). Балет неоднократно был показан за рубежом, где пользовался большим успехом.

В 1922 г. сказка Ершова была инсценирована для детского театра. С тех пор спектакль «Конек-горбунок» не сходит со сцены театров юного зрителя. В 1935 г. на сюжет сказки Ершова в Москве был поставлен детский цирковой спектакль (авторы сценария Ю. Бродерсон и Э. Краснянский). Впоследствии этот спектакль шел в цирках Ленинграда, Харькова, Воронежа и других городов страны. В 1941 г. вышел на экраны фильм-сказка «Конек-горбунок» (режиссер-постановщик А. Роу, сценарий В. Швейцера). В 1947 г. впервые поставлен мультфильм «Конек-горбунок» (сценарий Е. Помещикова и Н. Рожкова, режиссер-постановщик И. Иванов-Вано, художник Л. Мильчин). В настоящее время этот мультфильм обрел вторую жизнь — новые технические средства позволили достичь удивительных зрительных эффектов, усилив сказочность фильма. В конце 1970-х гг. он был награжден в Париже Большой золотой медалью.

Трудно перечислить отрасли культуры, быта, техники, куда естественным путем внедрились образы сказки Ершова. «Конек-горбунок» неоднократно инсценировался в балете на льду. Темы сказки мы встречаем в оформлении многих бытовых предметов. Именем конька-горбунка названы самолет, глиссер, мопед, среди нефтяников Приобья нередко вертолеты называют «коньками-горбунками» и т. д. У сказки Ершова оказалась поистине сказочная судьба!

«Конек-горбунок» переведен на французский, немецкий, английский, словенский, чешский, испанский, голландский, польский, японский и другие языки мира. Начиная с 1870 г. и по настоящее время сказка выходила в Праге, Братиславе, Варшаве, Берлине, Лондоне, Париже, Риме, Стокгольме, Нью-Йорке, Токио. По «Коньку-горбунку» изучают русский язык яванцы, кубинцы, монголы и другие народы. Руководитель труппы японского театра кукол «Хиноссы» Масааки Оосуми подготовил к постановке сказку Ершова. «Думаю, что эта поэтичная, умная русская сказка понравится зрителям», — сказал он корреспонденту советской газеты. Поставлен «Конек-горбунок» в детском театре ГДР. Многие зарубежные художники — чешские, словацкие, польские, немецкие, итальянские, японские и т. д. — воплощают образы сказки в своеобразные рисунки.

Сразу после выхода из печати «Конек-горбунок» стал объектом подражаний и подделок. По поводу первой из них (Кривой бес, русская сказка, соч. А. Я-ва, Спб., 1835) рецензент писал: «г. поэт удачно выбрал эпиграф своей сказки: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней», потому что его «Кривой бес» есть явное, хотя и самое неудачное подражание «Коньку-горбунку» П. П. Ершова». По самым приблизительным подсчетам имеется более 200 подделок под сказку Ершова.

Среди произведений, основой которых послужил «Конек-горбунок», следует особо отметить сказку «Конек-скакунок» С. А. Басова-Верхоянцева — революционный памфлет, изданный нелегально в 1906 г. Сказка эта навсегда осталась в истории революционного движения нашей страны.

Необыкновенная популярность и народная любовь к сказке

Ершова объясняются прежде всего глубокими народными корнями «Конька-горбунка», тем, что Ершов сумел выразить в ней сокровенные думы и чаяния народные и тем, что, несмотря на сказочный сюжет, автор насытил текст сказки реалистическими деталями, близкими и понятными массовому читателю прошлого времени. А в наши дни «Конек-горбунок» стал одной из самых любимых детских сказок. Прав К. И. Чуковский, когда писал о сказке Ершова: «Маленькие отвоевали ее у больших и навсегда завладели ею, как драгоценной добычей, и тут только большим удалось разглядеть, что для детей это в самом деле хорошая пища — вкусная, питательная, сытная, способствующая их духовному росту... Нельзя представить себе такое поколение русских детей, которое могло бы обойтись без него». (От двух до пяти. Изд. 14-е. М., 1960, с. 336).

В настоящем издании «Конек-горбунок» печатается по тексту, опубликованному в БП—76, в основу которого положено 5-е издание сказки.

Устаревшие и областные слова в сказке: Ажно — разве; балаган — шалаш; балясы — веселые рассказы, праздная болтовня; басурманин — употреблялось как бранное слово, в значении безбожник; белоярое пшено — в сказках лучший корм для лошадей; буерак — размытая водой ложбина; вина — причина; глашатый — вестник, объявляющий народу официальные вести; гость — купец, преимущественно иногородний, или купец первой статьи; два-пять — устаревшая форма слова десять; домовой — по старому народному поверью сверхъестественное существо, обитавшее в каждом доме; думный дворянин — младший член царской думы, обычно незнатного рода; ендова — большая медная или глиняная чаша для разлива вина; живот — домашний скерб, имущество; жомы — тиски; загреби — горсть, пять пальцев; зарница — планета Венера (утренняя и вечерняя звезда); зельно — весьма сильно, до крайности; клепать — клеветать, возводить напраслину; кто-петь — частица петь употреблялась в сибирском говоре для усиления вопросительной интонации; курево — костер, отгоняющий дымом комаров; немцы — старинное наименование иностранцев с запада, в основе слово «немой», не говорящий по-русски; обедня — церковная служба обычно после утрени, в середине дня; плес — рыбий хвост, у кита — задняя часть тела; плоски — плоский круглый сосуд, в который наливалось сало и вкладывался фитиль, употреблялась для освещения, иллюминации; позвонок — колокольчик, бубенчик; приказ — употреблено в значении отдать в полное ведение, под начало; к водяному сесть в приказ — утонуть; притча — загадка, непонятная вещь, употребляется в этом смысле только в вопросительных выражениях; реветь — петь песню; решеточные — тюремные сторожа, обычно исполнявшие обязанности и пожарных; ровно — кажется, как будто, должно быть; сафьян — выделанная козловая кожа, различной окраски; седмица — неделя; стапичник — разбойник, член разбойничьего стана, шайки; стреляной — придворный чин, в обязанности которого входило быть при царских выездах; суседка — домовая; сыта — подслащенная медом вода; талан — счастье; фряжский — за-

морский, сбывчно фряжское вино; чернокнижник — колдун, человек, занимающийся черной магией; шайтан — черт, дьявол, бес; щелок — едкий отвар древесной золы; яхонт — старинное название рубина и некоторых других камней (голубой яхонт — сапфир и т. п.).

«СУЗГЕ»

Имя Сузге, второй жены Кучума, у татарских жителей среднего Прииртышья овеяно легендами. Лицо это историческое. На прибрежной возвышенности в нескольких километрах от Тобольска вниз по Иртышу некогда стоял дворец Сузге, до наших дней холм носил название Сузгун. Ершов неоднократно бывал там со своими друзьями — К. Волицким, М. Знаменским, декабристами, учениками гимназии. Ныне возвышенности не существует — она скрыта при постройке железной дороги.

Ершов закончил «Сузге» в сентябре-октябре 1837 г. и послал в «Библиотеку для чтения», но там поэма была «обракована Сенковским, разругана Булгариным» и сравнена Г(ригорьевым) с его историей моголов...» (Яр., с. 56). Поэму напечатал Плетнев в «Современнике» бесплатно (С., 1838, т. 12, отд. 3, с. 41). До революции «Сузге» печаталась дважды — в 1886 г. в «Сибирском сборнике» газеты «Восточное обозрение» и в литературном сборнике «В помощь русским пленным воинам» в 1916 г. Поэма входила в собрания сочинений Ершова (1937, 1950, 1976). «Сузге» неоднократно инсценировалась — в 1899 г. и в 1904 г. в Тобольске, в 1922 г. в деревне Верхне-Филатовой под Тобольском, в 1940 г. на сцене Тобольского учительского института и Тобольского окружного театра. В 1896 г. тобольским композитором И. Корниловым написана опера «Сузге» (либретто напечатано в «Тобольских губернских ведомостях за 1896 г.). Тобольским учителем Е. Маляревским написана драма по мотивам «Сузге». Художник М. С. Знаменский приготавил для отдельного издания «Сузге» иллюстрации, которые хранятся в фондах Тобольского музея-заповедника.

«Судно, снарядить его прибором» — всем необходимым для плавания. Таль — точнее тал, тальник, кустарниковая ива. Искер — название места, где находилась столица Кучума Кашлык. Махмет-Кул — Мамет-кул, родственник Кучума, лицо историческое. Кольцо, Гроза, Мещеряк, Пан — атаманы дружины Ермака. Сейдяк — один из военачальников кучумовского войска. Уланы — телохранители, члены ханской фамилии.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1, 2, 3. БП—76, с. 123—127. Ранние произведения Ершова (датировка их предположительна). Обнаружены в архиве А. В. Никитенко, хранящемся в Пушкинском Доме (см.: Полонский Л. Ранняя лирика Ершова. Сб. «Сибирские просторы», 1958, № 2, Тюмень, с. 97). Существует лишь одно стихотворение Ершова, датированное им самим ранее первых публикаций — в Т. т.—3 по оглавлению значится стихотворение «Сцена в лагере» с пометкой 1833 г. К сожалению, это стихотворение из тетради утрачено.

Святополк — приемный сын и племянник киевского князя Владимира Святославича, после смерти которого в борьбе за киевский стол погубил своих братьев Бориса, Глеба и Святослава, за что был прозван Окаянным. Впоследствии потерпел поражение от Ярослава Новгородского и на пути в Польшу умер. Святослав — великий князь киевский, выдающийся полководец. Погиб в битве с печенегами, которые, по преданию, из его черепа сделали чашу для вина. Свенельд — воевода, участвовавший в походах Игоря и Святослава. Бельбог — Белобог, в славянской мифологии бог удачи и счастья.

4. БП—76, с. 127. Навсеюно событиями русско-турецкой войны 1828—1829 гг., когда русская армия взяла Карс и Эрзрум и подошла к Константинополю.

5. Б. для чт., т. 7, 1834, с. 12. В стихотворении выражено настроение Ершова, охватившее его после смерти отца и брата. К этому времени у него уже созрело решение вернуться в Сибирь. Стихотворение высоко ценил В. Кюхельбекер (Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979, с. 343).

6. Б. для чт., т. 10, 1835, с. 13 (ц. р. 29 апреля 1835). Из баллады Ершова «Сибирский казак. Старинная быль».

7. Б. для чт., т. 9, 1835, с. 117 (ц. р. 27 февраля 1835). Написано после решения Ершова уехать в Тобольск для осуществления планов, задуманных вместе с Тимковским («На небе родины далекой меня иное солнце ждет»).

8. Б. для чт., т. 10, 1835, с. 171. В селах среднего и нижнего Прииртышья до нашего времени бытует как народная песня (Коровкин И. Народные песни Западной Сибири.—Омский альманах, кн. 5, 1945, с. 90).

9. Б. для чт., т. 13, 1835, с. 5 (ц. р. 31 октября 1835). В течение всего 1835 г. тянулась канцелярская волокита с прошением Ершова об отъезде в Тобольск и получении там места работы. Жилось поэту в этот год нелегко, он болезненно ощущал свою неустроенность, задержку с осуществлением планов. Тимковский к этому времени был уже в плавании. Слово *им* в последней строфе подчеркнуто Ершовым (Т.т.—1). Пигарг — вид орла.

10. Б. для чт., т. 13, 1835, с. 163. Отрывок из элегии «Семейство роз», навеянной трагическим происшествием, о котором сказано в авторском примечании: «На смерть двух девиц-сестер, которые утонули в Неве. Одна из них была уже помолвлена».

11. Б. для чт., т. 11, 1835, с. 5. Стихотворение рождено любовью Ершова к сестре писателя К. П. Масальского (1802—1861), брат которого, Михаил, учился вместе с Ершовым в университете. Ершов «заинтересовался сестрою М(асальского), и впервые вспыхнула в нем любовь, но ее потушила какой-то не понравившейся ему выходкой сама М(асальская)...» (Яр., с. 30). Удольный — земной.

12. Яр., с. 25—27 (отрывок); БП—36, полностью. Посвящено отплытию Тимковского из Кронштадта 5 августа 1835 г. в составе экипажа судна «Елена» в Русскую Америку. Одно из наиболее важных для понимания замыслов будущей деятельности Ершова и Тимковского, скрепивших свои планы клятвой.

13. Б. для чт., т. 12, 1835, с. 17 (ц. р. 31 авг. 1835). Существует предположение, что это стихотворение написано в связи с двадцатилетием победы над Наполеоном (БП—76, с. 312).

14. «Осенний вечер», изданный В. Лебедевым. Спб., 1835, с. 17. Холнуть — остывать, холодеть.

15. Б. для чт., т. 39, 1840, с. 14 (ц. р. 30 марта 1840).

16. Яр., с. 14. Владимир Александрович Треборн, университетский товарищ Ершова, с которым он сохранил дружбу до последних лет жизни. Писал шуточные стихи, печатал переводы с немецкого в «Сыне отечества».

17. Б. для чт., т. 16, 1836, с. 155 (ц. р. 30 апреля 1836). Адресовано К. Тимковскому, вероятно, после получения от него письма. В стихотворении много автобиографических моментов, говорится о смерти брата, о переживаниях автора, о планах на будущее, подтверждается готовность Ершова выполнить клятву.

18. С., т. 7, 1837, с. 293 (ц. р. 2 мая 1837).

19. С., т. 7, 1837, с. 291. Зеленый цвет — цвет надежды. Кашемир — Кашмир, северное княжество Индии, славящееся розами.

20. Б. для чт., т. 30, 1838, с. 92. В стихотворении — своеобразная попытка определить место и значение поэта в жизни. Впоследствии Ершов затронул эту тему в речи «Несколько мыслей о художнике», на гимназическом акте 1839 г. (Зам. и Цв., с. 97—98). Хартия — в данном тексте: древняя грамота.

21. С., т. 6, 1837, с. 95. Том издан Плетневым в пользу семейства Пушкина. В нем напечатаны «Русалка», «Арап Петра Великого», главы из неоконченного романа, мелкие заметки Пушкина и стихи М. Лермонтова, Н. Языкова, Ф. Тютчева. Ершов в своем стихотворении образно выразил свое понимание величия Пушкина-поэта. Илья — Илья Муромец.

22. Альманах на 1838 год, изданный В. Владиславлевым. Спб., 1838, с. 303 (ц. р. 17 декабря 1837). Название дается по Т.т.—1.

23. Б. для чт., т. 40, 1840, с. 7 (ц. р. 30 мая 1840). В рукописи стихотворение датировано 1837 годом (Т.т.—1). Представляет собой поэтическое воспоминание об опере Дж. Мейербергера «Роберт-Дьявол», поставленной на сцене Александринского театра 14 декабря 1834 г. Музыка «Роберта» несла в себе все элементы модного в те времена фантастико-романтического стиля («величественна, трогательна, страстна, ужасающа...» — так характеризовали ее современники). Петербургские ценители Мейербергера не были одиноки — «Роберт-Дьявол» пожинал лавры успеха на всех оперных сценах Европы. Воображение юноши Ершова было поражено музыкой и сценическими эффектами оперы. Спустя годы в письмах из Тобольска он спрашивает друзей о судьбе исполнителей различных ролей в «Роберте-Дьяволе». Постановка этой оперы оказала влияние на либретто Ершова «Страшный меч» (см. ниже).

24. Утренняя заря. Альманах на 1939 год, изданный В. Владиславлевым. Спб., 1839, с. 312 (ц. р. 15 ноября 1838). Этим стихотворением открывается цикл произведений, посвященных С. А. Лещевой, будущей жене Ершова. Впервые он увидел ее в июле 1837 г. на торжественном акте в гимназии. «На другой день я был нарочно в благородном собрании и решительно не спускал глаз с нее...» — писал Ершов Треборну 3 сентября 1838 г. Упоминает о встречах с Лещевой Ершов и в последующих письмах. Цеvница — старинный музыкальный инструмент.

25. Утренняя заря. Альманах на 1939 год, изданный В. Вла-

диславлевым. *Спб., 1839, с. 377.* Это и следующие стихотворения вызваны глубоким искренним чувством к С. А. Лещевой, которое захватило всего Ершова.

26. *Б. для чт., т. 39, 1840, с. 128 (ц. р. 30 марта 1840).* Ершов образно выразил свои раздумья перед решающим шагом — женитьбой на Лещевой: «...я был влюблен почти два года, испытал и доброе и худое, что делает любовь расм и адом; два раза писал в Петербург о переводе меня туда и два раза возвращал с почты мои просьбы», — писал Ершов в письме к петербургскому другу. Лещева не сразу согласилась стать женой Ершова, у нее от первого брака осталось четверо детей, и она не хотела обременять ими Ершова.

27. *Омск, 1950, с. 194.* Этот акростих и последующие посвящены поэтом Лещевой. Всего было написано девять акростихов.

28. *Б. для чт., т. 40, 1840, с. 88 (ц. р. 30 мая 1840).*

29. *Т. т.-2.* Публикуется впервые.

30. *Т. т.-2.* Публикуется впервые.

31. *Утков В. В поисках Беловодья: Повесть. Новосибирск, 1977, с. 277.* Фарос — маяк.

32. *Утренняя заря. Альманах на 1840 год, изданный В. Владиславлевым. Второй год. Спб., 1840, с. 122, (ц. р. 14 октября 1839).*

33. *Омск, 1937, с. 102.*

34. *Б. для чт., т. 38, 1840, с. 161.*

35. *Б. для чт., т. 39, 1840, с. 16 (ц. р. 30 марта 1840).* Приведено в письме к Треборну от 27 февраля 1838 г. (Яр., с. 60—61). Ершов сообщает, что знакомый, приехавший из Петербурга, настаивает на его возвращении в столицу. Но Ершов увлечен Лещевой, и стихотворение «Перемена» — своеобразный поэтический ответ на это предложение.

36. *Яр., с. 61—62.*

37. *Б. для чт., т. 40, 1840, с. 11.* К этому времени Ершов узнал, что Тимковский вернулся в Петербург, отказавшись от прежних замыслов, не сообщив об этом другу. В очерке В. Семейского «Петрашевы А. И. Беклемишев и К. И. Тимковский (по неизданным источникам)», имеется упоминание о том, что Тимковский вернулся в столицу через Сибирь (Вестник Европы, 1916, ноябрь, Петроград, с. 71). Ершов тяжело переживает крушение юношеских замыслов. Удручен он и очередным отказом Лещевой выйти за него замуж.

38. *Б. для чт., т. 44, 1841, с. 11 (ц. р. 31 декабря 1840).*

39. *Б. для чт., т. 44, 1841, с. 5.*

40. *Омск, 1950, с. 204.* Каданс — музыкальный ритм.

41. *Омск, 1937, с. 106.* Без раскрытия адресата. Жилины — тобольская семья, глава ее Петр Дмитриевич был дружен с Фонвизным, переписывал его рукописи, дочери его Анна и Софья входили в тобольский культурный круг, были знакомы с многими ссыльными (Фонвизины, Пущин, Штейнгель и др.), с которыми был дружен и Ершов. Пущин называл дочерей П. Д. Жилина «нашими барышнями». Текст сверен по Т. т.-2.

42. *Омск, 1950, с. 198—202 (1—5); БП—76, с. 236 (6).* Написано под впечатлением поездки в Ивановское, одно из живописных мест под Тобольском. «Мою поездку» Ершов читал на одном из вечеров у Фонвизина.

43. 1. БП—76, с. 237; 2. Омск, 1950, с. 214.

Палы — сжигание весной прошлогодней травы на полях.

44. БП—76, с. 240. Сестры Жилины в июне 1841 г. выехали в Москву.

45. Яр., с. 102. В письме к Треборну от 13 ноября 1843 г. Сверено по Т. т.-2.

46. Яр., с. 33. По свидетельству Ярославцова написано Ершовым «в лета уже зрелые».

47. Яр., с. 90. Огрывок из задуманной Ершовым еще в 1830 гг. «сказки сказок» — «Иван Царевич». Замысел не был осуществлен. (См. прим. 4 к письму 7).

48. С., т. 44, 1846, с. 228. Написано после смерти жены Ершова и ее ребенка — «Все, что любил, я схоронил в мраке двух родных могил».

49. С., т. 43, 1846, с. 352. Стихотворение навеяно скорбью по умершей жене. Написано в начале 1846 г. до встречи с О. В. Кузьминой.

50. С., т. 43, 1846, с. 355. Летом 1846 г. Ершов познакомился с О. В. Кузьминой, «дочерью бедной вдовы», и увлекся ею. «Сва-товство (Ершова) наделало много шума в городе. Говорили, что нашлась бы ему лучше невеста, со связями. Посылались анонимные письма. Но Петр Павлович ни на что не посмотрел». (Из письма Ю. А. Девятовой, архив Тобольского музея-заповедника, письмо 1).

51. С., т. 44, 1846, с. 233. Посвящено О. В. Кузьминой.

52. Омск, 1950, с. 206. Посвящено О. В. Кузьминой.

53. Адресовано жене тобольского гражданского губернатора А. В. Энгельке. Полностью печатается впервые. В БП—76 опубликовано без последнего четверостишья. В автографе стихотворения имеется приписка Ершова: «Поднесено по окончании концерта в пользу бедных». Ниже запись работника музея — «Передано Обществу изучения края при музее Тобольского севера Юлией Аполлоновной Девятовой в 1925 г.» Эти сведения сообщены мне сотрудницей Тобольского музея-заповедника В. И. Трофимовой в письме от 3 августа 1982 г.

54. Т. т.—3. Печатается впервые. Юлия Александровна Казанская, сестра В. А. Андроникова (см. прим. 55), жена учителя русского языка и географии гимназии Г. П. Казанского. Дома Андрониковых и Казанских были местом сбора передовой интеллигенции Тобольска, бывали там и декабристы. В доме Андрониковых Ершов познакомился с О. В. Кузьминой, дочерью брата О. В. Андрониковой. Стихи написаны Ершовым перед отъездом Казанских из Тобольска.

55. С. О., 1940, № 4—5, с. 238 (отрывок). С. О., 1946, № 4, с. 110 (полностью). В. А. Андроников, сын О. В. Андрониковой, «союзники декабристов», скрытой в письмах Пушкина, Фонвизина, Штейнгеля под инициалами «О. В.», служил в Тобольске в суде (с ноября 1861 г.), активный участник нашумевшей «михайловской истории». Андроников посещал М. Л. Михайлова в тобольской тюрьме, «брал его в дом», угощал узника обедами. Андроников был удален со службы. Один из ближайших друзей Ершова (см.: Утков В. Рукописные книги Василия Андроникова. — Альманах библиофила, кн. 6. М., 1979, с. 215—222).

56. Омск, 1950, с. 215.

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. ЭПИГРАММЫ. ЭКСПРОМТЫ

Большинство юмористических стихотворений, эпиграмм и экспромтов при жизни Ершова не появлялись в печати. Они рассеяны по письмам к друзьям, в альбомах, оставались в автографах. Мы выделяем их в отдельный раздел книги, так как они характеризуют отношение Ершова к различного рода событиям и лицам, с которыми ему приходилось иметь дело, к общественным явлениям того времени.

1. *БП—76, с. 251.* Впервые напечатано в журнале «Весельчак», № 6, 12 марта 1858 г., с. 41, без подписи.

2. *Омск, 1950, с. 213—214.*

Э п и г р а м м ы

1. *Омск, 1950, с. 212.* М. С. Знаменский (1833—1892), воспитанник декабристов, сотрудник журнала «Искра», художник и автор ряда краеведческих работ, один из близких тобольских друзей Ершова. Ершов высоко ценил таланты Знаменского и считал, что он, занимаясь карикатурами, разменивает свой талант: «Ершов... говорил, что я больше литератор, чем карикатурист, что рисунок у меня только солон, а самая соль заключается в подписи» (С. о., 1940, № 4—5, с. 239). Знаменский нарисовал несколько карикатур на Ершова, его быт, семейное положение. (О жизни и творчестве М. С. Знаменского см.: Рошевский П. И. Воспитанник декабристов художник М. С. Знаменский. Тюмень, 1959.)

2. *Омск, 1950, с. 211.* А. И. Деспот-Зенович (1828—1895), бывший кяхтинский начальник, получивший назначение гражданским губернатором в Тобольск (1862—1867), первоначально слыл либералом, но потом, по выражению Герцена, «исправился». Он издал циркуляр, запрещающий ссыльным заниматься преподавательской работой, ибо «всякое доверие к ним в деле воспитания может весьма неблагоприятно отразиться в умственном и нравственном направлении детей». Герцен в «Колоколе» назвал этот акт примером «скотства». Среди близких знакомых Ершова в эти годы были и ссыльные. Девятова в третьем своем письме сообщала: «Некоторые из них были приняты в доме Петра Павловича. Мне случилось видеть П. П. беседующим раз в саду летом, за вечерним чаем, с сосланными поляками. Он сидел в отдалении от стола, где пили чай, и разговаривал с поляком Меляновским и другими. Впоследствии первый женился на его старшей дочери. Некоторые люди осуждали Петра Павловича за то, что он принимает у себя поляков» (Архив Тобольского музея-заповедника).

3. *БП—76, с. 258.* Будучи инспектором гимназии, Ершов оказался причастным к судебному делу по краже имущества гимназии конюхом Дмитриевым. Дело тянулось 14 лет (Тобольский музей-заповедник, инв. 150. Маковецкий П. Судебная волокита. Из жизни П. П. Ершова. Рукопись).

4—5. *Омск, 1950, с. 211.* Ершов считал, что в тогдашней гимназии «латынь без причины поставлена краеугольным камнем образования» (Яр., 95).

6. *Яр., с. 37.* Ершов высмеивает пустые разглагольствования о

правах женщин, не подкрепленные делами. Ершов был сторонником женского образования (см. прим. 2 к письму 29).

7. Омск, 1950, с. 212.

8. Омск, 1950, с. 212. Плеханов П. О. — богатый тобольский купец, наживший состояние на эксплуатации народов севера. Во второй половине 1860 г. пожертвовал крупную сумму на Владимирскую мещанскую богадельню в Тобольске.

9. Омск, 1950, с. 213. Жены тобольских высших чинов занимались благотворительностью, которая нисколько не облегчала положение бедняков и нищих, которых было множество в те годы в Тобольске и с которыми жестоко расправлялась полиция.

10. Омск, 1950, с. 213. До революции табель о рангах предусматривала титулование. Превосходительство — общий титул чинов III и IV классов (тайный советник и действительный статский советник).

11. Омск, 1950, с. 213.

12. Яр., с. 38.

13. Яр., с. 148. По свидетельству внучки поэта Н. В. Ершовой, эпиграмма была подписью под карикатурой М. Знаменского. «Я хорошо помню, она очень забавна: коляска, в оглобли впряжен сам директор — мой дед, на пристяжках — учителя, на козлах — ретивый ревизор» (Литературное наследство Сибири, т. 1, с. 286. Новосибирск, 1969). П а л е с т и н а — иносказательно — родные места, отчий дом.

14. БП—76, с. 261.

15. БП—76, с. 261.

16. БП—76, с. 262.

17. БП—76, с. 262.

18. БП—76, с. 262.

19. БП—76, с. 262. Ершов после отставки больше года жил не получая пенсии и очень нуждался.

20. БП—76, с. 262.

21. БП—76, с. 263.

22. БП—76, с. 263.

23. Яр., с. 86. В письме Ершова от 1 января 1842 г. Первый экспромт адресован Треборну, второй — Ярославцову.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ СЦЕНЫ. ПЬЕСЫ. ЛИБРЕТТО

Интерес к драматическому искусству у Ершова был заложен с детства. В Березове и в Тобольске мальчик Ершов видел народные действия, которые устраивались по праздникам («Царь Максимилиан», «Лодка» и др.). Богатую пищу для своих произведений Ершов получал из рассказов и преданий, слышанных им в городах и во время поездок. Часть из них Ершовым были воплощены впоследствии в пьесы, водевили, сцены. К сожалению, не все они дошли до нас, но те, которыми мы располагаем, свидетельствуют, что в драматических произведениях Ершову удалось особенно ярко выразить тему трудящегося народа. Герои этих произведений кузнецы, солдаты, крестьяне, люди труда. И показывает он их умными, никогда не унывающими, умеющими найти выход из любого трудного положения. Именно в этих произведениях Ершова наиболее ярко ощущается народная струя, те

думы и чаяния народные, которые особенно сильно проявились в «Коньке-горбунке». Остается только пожалеть, что Ершову не удалось полностью развернуть свой талант в этом направлении, да и неизвестно нам все, что он сделал в этом жанре.

Ершова часто называют «человеком одной книги». Это определение, несмотря на кажущееся его правдоподобие, не верно по существу. Как всякий талантливый писатель, Ершов имел одну, главную тему своего творчества, не всегда даже осознавая ее. И эта тема для него была — думы и чаяния трудового люда. Там, где он отступал от нее, его ждала творческая неудача, он становился подражателем: далеко не первоклассным образцам и создавал бледные неинтересные произведения. Понять творчество Ершова полностью только по одному «Коньку-горбунку» нельзя. Нужно знать и другие его произведения и среди них — его драматургические опыты, в которых ярко выступает эта главная тема его творчества.

1. «Осенний вечер», изданный В. Лебедевым. Спб., 1835, с. 63 (ц. р. 28 сентября 1835). Драматическая повесть в стихах «Фома-кузнец» так и осталась неоконченной. Но даже и в таком виде она представляет большой интерес для характеристики творчества Ершова. Мы не знаем, как задумал автор главного героя повести, чьим именем она названа, но уже по отрывку можно сказать, что замысел был широк и значителен. Это одно из первых в отечественной литературе произведений, реалистично показавших трудящегося из народа. Старый кузнец Лука изображен мудрым, с философским складом ума человеком, мастером своего дела. Песня Луки, которой начинается «Фома-кузнец», положена на музыку А. Алябевым для мужского хора. В одном из писем В. А. Треборну Ершов писал: «Думаю так же закончить «Фому-кузнеца» и возратить ему доброе имя, запачканное мараньем какого-то писаки. Ты, я думаю, читал несчастную оперу «Фома-кузнец с берегов Иртыша». Не знаю, кому пришла в голову мысль — позабавиться надо мною так низко» (Яр., с. 72—74). Б. С. Штейнпресс установил, что в письме Ершова речь идет о редком издании оперы «Фома-кузнец» с пояснением на шмуцтитуле — «Кузнец», опера комическая, в одном действии. Переведена на берегу Иртыша», выпущенном в 1839 г. в Москве и не имеющем никакого отношения к произведению Ершова (см.: Штейнпресс Б. А. А. Алябьев в изгнании. М., 1959, с. 99-101). Включение Алябевым в свой сборник песни Ершова свидетельствует о том, что композитор помнил тобольские дни своего изгнания, когда частым и желанным гостем его был юный гимназист Ершов. Святой Егорий — покровитель земледелия и скотоводства. Притча, притчина — неожиданная, внезапная неприятность. Немецкий — иностранный. Ковы — козни, злые умыслы. Азям — сермяга, крестьянская верхняя одежда.

2. Отдельное издание, Спб., 1835 (ц. р. 17 декабря 1835). «Первый опыт в прозе и драматургическом роде П. П. Ершова» был встречен доброжелательно, огмечалось, что «ход пьески легок, разговор жив и естествен» (Б. для чт., т. 20, р. 4, с. 12, 1837). Артисты намеревались поставить «Суворова» на сцене, однако цензор Е. Ольдекоп не дал разрешения. А когда в 1838 г. они вторично обратились с ходатайством о постановке, Ольдекоп ответил, что он удивлен этим — «произведение порочит славное имя

героя» (Дризен Н. Драматическая цензура двух эпох (1825—1881). 1917. с. 81). Столичной сцены пьеса Ершова так и не увидела, но в Тобольске на подмостках гимназического театра она шла с успехом. Ставила ее ученики и дома у Ершова, и в доме учителя Романова (ЦГАЛИ, ф. Ершова, д. № 12, л. 62), когда гимназический театр был запрещен. Для постановки «Суворова» на сцене Ершов написал специальные куплеты, упоминание о них есть в содержании рукописной тетради (Т.т.—3), но, к сожалению, они утрачены. Опомнясь — недавно, несколько дней назад. Сертук — кафтан не русского (немецкого) покроя. Кагульская баталия — битва на реке Кагул 27 июля 1770 г., в которой были разгромлены главные силы турецкой армии; Суворов участвовал в этой битве. Съезжий двор — полицейский участок. Паскотина — выгон для пастьбы скота, городьба вокруг выгона. Гусиная водка — вода. Загонщик — едущий впереди сановника, генерала, готовящий ему встречу, лошадей. Служба — служивый, солдат.

3. *Сборник литературных статей, посвященных русскими писателями памяти покойного книгопродавца-издателя А. Ф. Смирдина, Спб., 1858 г., с. 327—322.* Авторство не было раскрыто. Ершов писал 6 сентября 1857 г. Треборну: «если ты знаком со Смирдиным (А. А. — сыном), то передай ему, что я считаю себя в долгу перед ним. Всею душою хотел бы участвовать в его издании в честь отца его, но не имею решительно времени написать чего-нибудь. Правда, роясь в бумагах, я отыскал драматическую пьеску «Кузнец Базим», переделанную мною из повести Жуковского, но она требует исправления. Постараюсь переслать ее г. Смирдину». Времени у Ершова действительно не было — в начале 1857 г. он вступил в должность директора Тобольской гимназии и сразу же выехал в длительную командировку по инспектированию училищ Тобольской губернии. Но все же он доработал «Кузнец Базима» и отослал его Смирдину. От повести А. К. Жуковского (1810—1864), печатавшегося под фамилией Бернет, бесцветного литератора, совершенно забытого в наше время, в произведении Ершова ничего не осталось. В основе пьесы лежат рассказы тобольских татар, слышанные Ершовым, а полиция халифа удивительно напоминает тобольских полицейских. В сборники сочинений Ершова пьеса не входила. «Халиф — калиф, глава мусульман, объединяющий в своих руках духовную и светскую власть. Визирь — титул высшего сановника. Тюмен — туман, золотая монета. Пери — прекрасная крылатая женщина, ангел. Див — демон, дьявол, злой дух. Хурия — гурия, дева мусульманского рая. Кейф — праздность, отдых. Имам — высший чин духовенства у мусульман.

4. *Иллюстрированный вестник, 1876, № 7, с. 218, № 8, с. 247.* Над либретто оперы «Страшный меч» Ершов работал в 1835—1836 гг. Музыка к нему писал известный в то время музыкант и композитор, скрипач и органист Петербургских императорских театров О. И. Гунке (1802—1883), близкий знакомый Ершова. У Гунке Ершов брал уроки музыки и игры на флейте, готовясь записывать песни народов Сибири.

В те годы столичная оперная сцена была заполнена произведениями иностранных композиторов. Огромным успехом пользовались «Фра-дьяволо» Обера, «Морской разбойник Цампа» Ге-

рольда, «Роберт-Дьявол» Мейсербера. Русской национальной оперы столичные жители еще не слышали. В Петровском театре в Москве с успехом шла «Аскольдова могила» Верстовского, но и в ней чувствовалось сильное влияние романтико-фантастического направления. Все это не могло не волновать молодого Ершова, недавно так успешно дебютировавшего русской сказкой «Конек-горбунок», и он пытается помочь рождению русской национальной оперы, выбрав сюжетом для своего произведения далекое сказочное прошлое родной страны.

Действие либретто происходит на юге России во времена княжения Владимира. Независимый князь Ратмир, владетель страшного меча, и княгиня Всемила, обладательница волшебного кольца, любят друг друга. Но Всемила, гордая своим волшебным могуществом, и в любви согласна только на подчинение себе князя. Ратмир собирает дружину и хочет с помощью оружия овладеть царством Всемилы. Тщетно старается примирить их Незвестный — посланник русского князя Владимира. Междоусобную войну разжигает Громвал, чародей, которому подвластны темные злые силы. Он намерен отнять меч у Ратмира и сам завладеть Всемилой. Громвал велит своей дочери Любиме, через ее возлюбленного Олега, воина дружины Ратмира, похитить страшный меч. Олег жертвует любовью, но не изменяет князю. Появление жрецов Лады, богини весны и любви, примиряет Ратмира и Всемилу. Воины князя и девушки Всемилы соединяются вместе. Но один из воинов Ратмира попал в руки «свирепых читателей кумира Чернобога», ему грозит мучительная смерть. Соединенное войско Ратмира и Всемилы идет освобождать юношу. Во время битвы с жрецами Чернобога на Ратмиру и Всемилу предательски нападает Громвал. Ратмир и Всемила на грани гибели. Их спасает помощь Незвестного, неожиданно появившись с дружиной храбрых воинов Владимира, он обращает в бегство Громвала. Но тот успевает завладеть волшебным мечом. Ратмир в отчаянии. Незвестный говорит, что для того, чтобы обезвредить Громвала, надо уничтожить волшебный перстень Всемилы, так как сила меча Ратмира и волшебство кольца Всемилы взаимно связаны. Всемила бросает кольцо в поток. «Моим оружием будь любовь!» — восклицает она. Опера заканчивается обручением Ратмира и Всемилы и пиром дружин Ратмира и князя Владимира.

Введение в действие оперы демонических сил — характерное влияние романтики тех лет, его не избежал и Пушкин в «Руслане и Людмиле». В авторских ремарках «Страшного меча» чувствуется влечение к сценическим эффектам в духе «Роберта-Дьявола». Но либретто имеет и несомненные достоинства. Прежде всего оно талантливо построено сюжетно. На эту сторону творчества Ершова не обращают достаточного внимания. Между тем она важна для понимания его таланта. Именно эта способность помогла юному поэту создать цельную, сюжетно совершенную сказку в стихах. Сюжетное мастерство чувствуется и в других произведениях Ершова — в «Сузге», в «Кузнече Базиме», в «Сибирском казаке». Зародыши богатого сюжета ощущаются и в неоконченном «Фоме-кузнече». Сюжет «Страшного меча» крепок, либретто не распадается на отдельные эпизоды и вставные номера, что, кстати сказать, являлось недостатком опер Верстовского. В либретто Ершова есть цельное, единое драматическое действие.

Хороши и отдельные поэтические места либретто. Там, где действующими лицами выступают представители простого народа — крестьяне, воины, девушки-служанки — из-под пера поэта выходят реалистические произведения, несущие в себе все элементы подлинной, а не казенной народности.

Опера «Страшный меч» была одобрена к постановке на сцене в июне 1836 г. Рукой Ершова против действующих лиц были проставлены фамилии актеров Александринского театра. Но сцены опера так и не увидела. Уже готовилась к постановке опера М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), первое представление которой состоялось 27 ноября 1836 г. на сцене Александринского театра. После нее уже не могло быть речи о постановке оперы Гунке-Ершова. Либретто оперы «Страшный меч» не единственное у Ершова. Из его писем петербургским друзьям известно, что им были написаны и переданы Гунке и другие либретто. О судьбе их мы ничего не знаем.

ПРОЗА

Живописный сборник замечательных предметов из наук, искусства, промышленности и общежития. Издание А. Плюшара и В. Генкеля. Спб., 1857.

Первому выпуску сборника предпослано предисловие, в котором издатели сообщают, что они «открывают место в журнале для литературы иностранной и отечественной» и приобрели уже для начала оригинальную рукопись «Осенние вечера», которая содержит в себе ряд повестей, рассказанных с редким талантом и неподдельным юмором, и придает с своей стороны много занимательности первым выпускам нашего сборника. Надеемся в скором времени получить от автора дозволение объявить его фамилию, до того же статьи эти будут подписаны только начальными буквами «П. Е.». Так появилась в печати проза Ершова. Авторство его так и не было раскрыто в журнале.

В числе литературных замыслов Ершова в зрелом возрасте было намерение создать на сибирском материале большое прозаическое произведение. Окончательно оно выкристаллизовалось у него в конце 1840-х — начале 1850-х гг. как цикл романов, составивших «русскую эпопею». Для начала Ершов хочет «на мелких рассказах приучить перо свое слушаться мысли и чувства» (Яр., с. 141).

В две недели три рассказа были написаны. Ершов читает их в доме М. А. Фонвизина и после одобрения слушателей, среди которых были тобольские декабристы, молодой Знаменский и другие тоболяки, посылает рассказы Плетневу. Отзыв Плетнева о рассказах был приятен автору, но сдержан. Плетнев советовал Ершову «для дебюта в прозе приготовить что-нибудь особенное, поболее аналитическое, чем преимущественно теперь все восхищались» (Яр., с. 137). Ершов ответил ему письмом, в котором развил свою «теорию прозы» (см. письмо 22).

«Осенние вечера» долго странствуют из рук в руки. От Плетнева они попадают к издателю-книготорговцу П. Крашенинникову, потом в Петербургский цензурный комитет к Ярославцову, лежат там долгое время и только в 1857 году появляются в «Живописном сборнике».

В омском издании сочинений Ершова (Омск, 1950) напечатаны три рассказа из «Осенних вечеров» — «Страшный лес», первый рассказ Таз-баши и сказка об Иване-трапезнике. Остальные рассказы перепечатываются впервые.

«Страшный лес». Эполеты без звездочек — обозначали чин капитана, в казачьих войсках — есаула. Закон предопределения — предестинация, учение, по которому добро и зло в человеке заранее определено. Тектонское дело — искусство производить художественные изображения из дерева, камня. Стрибог — бог ветра у славян. Олимп — гора в Греции, мифологическая обитель богов. Амброзия — пища богов, которой они обязаны бессмертию. Лафатер — Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель, автор популярного в те годы трактата по физиогномике.

«Дедушкин колпак». В рассказе отражены характерные черты патриархального купеческого быта, сибирской старины, эксплуатации народов севера. Действие рассказа связано с Тобольском и обским севером. Сиделец — лавочник, торгующий от хозяина. Сикер — хмельной напиток. Иногородцы — название ряда народов, особенно кочевых, живших на территории Сибири и Казахстана в 19 и начале 20 в. Ирбит — город на Урале, знаменитый ярмаркой с первой половины 17 в. до 1930 г.

«Рассказ о том, каким образом дедушка мой, бывший у царя Кучума первым муфтием, пожалован в такой чин». Татарское население Тобольска и Тобольской губернии было довольно многочисленно и сохраняло свои традиции, культуру, образ жизни. Вместе с тем тобольские татары принимали деятельное участие в культурной, экономической жизни района, служили в учреждениях и в армии. Ершов интересовался историей Сибири и особенно начальным этапом ее освоения. Рассказы Таз-баши в «Осенних вечерах» были своеобразным началом большой и неоконченной работы Ершова по этой теме. Таз-баши предупреждает слушателей, начиная свой первый рассказ, «что это будет не повесть, а только предисловие к тем повестям, которые я намерен предложить вашему вниманию». Пилав — плов, национальное блюдо восточных народов. Байрам — мусульманский праздник. Муфтий — духовное лицо у мусульман. Сыны Ислама — мусульмане. Азраэль — ангел смерти.

«Об Иване-трапезнике и о том, кто третью булку съел». Трапезник — церковный сторож, живущий в сторожке рядом с храмом. Перун — бог грозы у древних славян. Дажьдбог — бог солнца и небесного огня. Меркурий — в римской мифологии покровитель торговли. Волос — велес, покровитель домашних животных и бог богатства у древних славян. Тиун — княжеский слуга, управляющий хозяйством. Пул — старинная мелкая монета.

«Панин бугор». Паниным бугром называется береговая возвышенность в Тобольске. В рассказе Ершовым даны реалистичные картины чиновного Тобольска 19 в. Лазарев напев — нищие, прося подавание, часто пели «стих о бедном Лазаре», на евангельский сюжет, отсюда и пошло выражение «петь лазаря», «лазарев напев». Пифагорейские шаги — размеренные, неспешные. Тантал — в греческой мифологии царь Лидии, обреченный богами на вечный голод и жажду (танталовы муки).

Шампольон Жан Франсуа (1790—1832) — французский египтолог, положивший начало расшифровке иероглифов. Столоначальник — заведующий отделом канцелярии. Присутственное место — учреждение, комната, где заседают. Чин 8-го класса — в табели о рангах коллежский ассессор (давал право потомственного дворянства). Нанковый халат — нанка — дешевая прочная хлопчатобумажная ткань.

«Повесть о том, каким образом мой дедушка, бывший при царе Кучуме первым муфтием, вкусил романа и как три кунца ходили по городу». Единственный из рассказов Ершова в «Живописном сборнике» имеет иллюстрации художника М. О. Мукешина. Рифейский камень — Урал. Гяуры — все не мусульмане у исповедующих ислам. Романея — сладкая настойка на иностранном вине.

На этом рассказе заканчивалась публикация «Осенних вечеров».

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

Подлинных писем Ершова сохранилось немного. Большая часть переписки поэта вошла в книгу А. К. Ярославцова, который, видимо, располагал большим автографическим фондом писем Ершова, в настоящее время не разысканным. Часть переписки с родственниками первой жены Ершова Протопоповыми, падчерицей Ершова Ф. Н. Лещевой и Д. И. Менделеевым находится в научном архиве Менделеева при Ленинградском государственном университете (НАМ ЛГУ). Отдельные письма в оригиналах и в публикациях рассеяны по различным источникам. Широкому читателю эпистолярное наследие Ершова неизвестно. Между тем оно представляет значение не только для биографии поэта, но имеет и самостоятельный интерес. В письмах Ершова чувствуется недюжинный талант беллетриста и большая искренность в изложении событий и внутреннего состояния поэта. Мы публикуем избранные письма Ершова, характеризующие его творческое лицо и раскрывающие отдельные стороны его личной и общественной жизни. Источники публикаций указываются в примечаниях.

1. *Яр., с. 13, 14, 43, 45.*

1. В. А. Треборн (см. прим. к стихотворению 16).

2. Н. С. Пиленков — крупный тобольский купец, коммерции советник, родственник Ершова по матери.

3. В. О. Грибовский, сменивший в 1835 г. И. П. Менделеева на посту директора Тобольской гимназии.

4. Тобольский гражданский губернатор Х. Х. Повало-Швыйковский.

5. П. Д. Горчаков — генерал-губернатор Западной Сибири с 1836 по 1851 г.

6. У Ярославцова опечатка, речь идет о Константине Бобановском, учителе логики и словесности, который пробыл в Тобольске недолго, в начале сентября 1836 г. он был переведен в Иркутскую гимназию (Зам. и Цв., с. 84).

7. Констанций Во(а)лицкий арестован в 1833 г. по делу Завиши, сослан в Сибирь, в Тобольске дирижировал оркестром казачьей музыки и принимал участие в гимназических спектаклях, поставленных Ершовым и ссыльным декабристом Н. А. Чижевым.

8. Чижов Николай Алексеевич (1799 или 1800—1848), лейтенант 2-го флотского экипажа, был на Сенатской площади 14 декабря 1825 г., приговорен к ссылке в Сибирь на вечное поселение, отправлен в Якутию, с 1833 г. в Тобольске, рядовым линейного сибирского батальона. Писал стихи. До ареста исследовал Новую Землю. Уехал из Тобольска в 1843 г.

9. Д. С. Чижов — двоюродный дядя декабриста, профессор Петербургского университета, у него учился Николай Ершов, талантливый математик.

10. А. А. Алябьев (1787—1851) — известный русский композитор, родился в Тобольске в семье правителя Тобольского наместничества А. В. Алябьева. В 1828 г. был сослан в Тобольск по уголовному делу. Мальчик Ершов был близок с композитором.

II. Яр., с. 46—48.

III. Яр., с. 48, 49

1. Упомянутые в письме пьески не найдены. Внучка Ершова Надежда Владимировна Ершова (1881—1951) писала мне из Благовещенска 23 октября 1946 г., что в ее семье была «тетрадка с черновыми набросками стихов [ее] деда, его «Якутские божки». В другом письме Н. В. Ершова сообщала, что ее отец (В. П. Ершов) утверждал, что «Якутские божки» написаны автором «К. — г.» Другая внучка поэта Ольга Владимировна Ершова (1888—?), жившая на Украине, сообщила мне в письме 12 сентября 1950 г., что пьеса «Якутские божки» ее деда была у нее, но пропала во время войны.

2. Отыск из водевиля «Черепослов» напечатан в БП—76 (с. 263—266). Он вошел в состав комедии Козьмы Пруtkова «Черепослов, сиречь френолог» (Сочинения Козьмы Пруtkова. М., 1976, с. 217—235). Точного свидетельства, что водевиль написан Ершовым совместно с Чижовым не имеется. Ершов в 1854 г. передал часть своих юмористических стихотворных произведений В. М. Жемчужникову, служившему чиновником особых поручений у тобольского губернатора В. А. Арцимовича, женатого на его сестре: «Пусть им воспользуется Козьма Пруtkов, потому что сам я уже ничего не пишу». Жемчужников в письме из Ментоны А. Н. Пыпину писал: «В Тобольске я познакомился с Ершовым (автором «Конька-горбунка»). Мы довольно сошлись. Он очень полюбил Пруtkова, знакомил меня так же с прежними своими шутками и передал мне свою стихотворную сцену «Черепослов, сиречь френолог». Я обещал воспользоваться ею для Пруtkова и впоследствии, по окончании войны и по возвращении моем в Спб., вставил его сцену с небольшими дополнениями во второе действие оперетты Черепослов, написанной мною с братом Алексеем и напечатанной в «Современнике», 1860 г.». Подтверждение тому, что Ершов был одним из авторов куплетов этого водевиля, мы находим в хранящемся в Тобольском музее-заповеднике автографе Ершова. На листке бумаги написано восьмистишие, нарисованы три человеческие фигуры, а внизу надпись: «С тремя портретами автора». Первый рисунок изображает Ершова с приставным орлиным носом, протянувшим руку к черепу, на котором обозначены шишки с номерами — 1, 2, 3... Правее изображена еще одна фигура с длинным, явно приставным носом, плоской «китайской» шапочкой на голове и косой, торчащей из-под нее. Третий рисунок изображает Ершова в натуральном виде и, пуж-

но сказать, с большим сходством. Ершов выглядывает из суфлерской будки, держа в руках небольшую раскрытую книгу, скорее всего, судя по заметным на страницах линейкам, рукописную. По бокам будки зажжены плошки. В верхнем правом углу написано рукой Ершова восьмистишие следующего содержания:

Я много думал и учился,
Натуры тайны я постиг,
Кто умным, кто глупцом родился,
Я ощупью узнаю вмиг.
Нам всем фортуна насадила
На череп множество примет,
Лишь разгадать их — в этом сила,—
В ком будет прок, в ком проку нет.

Этот архивный документ ранее ошибочно атрибутировался к шуточной поэме Ершова «Нос».

IV. В. Доманицкий. *Материалы до биографии Е. П. Гребенки*. Записки паукова товариства имени Шевченка. Том XC, кн. 4, 1909, с. 167—168.

1. Е. П. Гребенка (1812—1848) — украинский и русский писатель, поэт, петербургский друг Ершова. У Гребенки почти каждую неделю собирались друзья-литераторы (Бснєдиктов, Даль, Папанев, Ершов и др.)

2. И. Пожарский — один из петербургских приятелей Ершова, печатавший стихи в «Современнике», в альманахах.

3. Е. В. Гудима (1812—1870) — чиновник канцелярии духовных училищ в Петербурге, затем преподаватель географии в Дворянском полку, близкий друг Гребенки, знакомый Ершова.

4. Под «четверицей» надо понимать четырех близких друзей — Ершова, востоковедов В. В. Григорьева (1816—1881), П. С. Савельева (1814—1859), учившихся вместе с Ершовым в университете, и Гребенку, часто собиравшихся в Петербурге вместе.

5. В. В. Григорьев.

6. А. Н. Мокрицкий (1810—1870) — русский художник, близкий друг Гребенки. Есть сведения, что им был нарисован портрет П. Ершова в 1836 г. Портрет не найден.

7. Здесь и ниже речь идет о В. В. Григорьеве, авторе перевода с персидского «Истории монголов с древнейших времен до Тамерлана» (Спб., 1834). Комментарии к переводу были сделаны Григорьевым и получили высокую оценку специалистов.

8. Прозвище П. Савельева.

9. См. примечания к письму 3.

10. И. Т. Калашников (1797—1863) — писатель, автор романа «Дочь купца Жолобова (из иркутских преданий)» и повести «Камчадалка», о которых хорошо отзывался Пушкин.

11. П. А. Словцов (1767—1843) — писатель, историк, автор «Исторического обозрения Сибири» (1-е издание — 1838—1844; 2-е — 1886).

12. Подпись, вероятно, можно расшифровать как «Один из четырех» (вместо IV напечатано W).

V. Яр., с. 51—52.

1. Сын Николая I, наследник престола Александр Романов в

1837 г. совершал путешествие по России. Крайним восточным пунктом его был г. Тобольск.

2. В. А. Жуковский был в составе свиты наследника.

3. Ответ Жуковского, вызвавший недоумение Ершова, был, вероятно, порожден тем, что Жуковский не знал или забыл, что Ершов приехал в Тобольск добровольно, и принял его за сосланного.

VI. Яр., с. 55—57.

1. Капитон Голодников, ученик Ершова, близкий знакомый М. И. Муравьева-Апостола и других декабристов, в одной из своих работ сообщил репертуар школьного театра — ставились «Недоросль», «Суворов и стационный смотритель», «Филаткина свадьба», «Еще суматоха», «Фрингаль, или Искатель обеда». В своих театральных начинаниях Ершов нашел поддержку у жены генерал-губернатора княгини Натальи Дмитриевны Горчаковой. Женщина умная и образованная, скупавшая в тобольском захолустье, родственница декабристов Фонвизиных, она сделала много полезного для Ершова и гимназии до своего отъезда из Тобольска.

2. Речь идет о будущей жене Ершова — Серафиме Александровне Лещевой, урожденной Протопоповой, дочери бывшего в 1805—1808 гг. директора Тобольской гимназии.

3. См. прим. к «Сузге».

VII. Яр., с. 57—58.

1. Мать Ершова — Евфимия Васильевна — скончалась 16 апреля 1838 г.

2. Н. П. Ершов, умерший 15 августа 1834 г., похоронен на кладбище Большой Охты.

3. Преувеличение — в 1837 и 1838 гг. Ершовым написаны поэма «Сугзе», стихотворения «Зеленый цвет», «Вопрос», «Кто он?» «Друзьям», «К музе», «Праздник сердца», «Две музы» и др.

4. Еще в Петербурге, после «Конька-горбунка», Ершов задумал новое сказочное произведение. О нем он говорил Ярославцову: «Я думаю из всех русских сказок составить одну, вроде поэмы, где главным героем будет Иван-царевич» (Яр., с. 21). Замыслом этим он делился и с Треборном, более близким ему товарищем, чем Ярославцов.

VIII. Яр., с. 64—66.

1. Директором гимназии был Е. М. Качурин, человек неумной бюрократической энергии, помешанный на установлении железного порядка в гимназии. Он шпионил за учителями, ловил каждое неосторожное слово, пытался ввести в гимназии военную муштру. Поддержку своим действиям Качурин находил у генерал-губернатора Горчакова — ограниченного солдафона.

2. По легенде, Александр Македонский рассек мечом чрезвычайно запутанный узел, который следовало развязать, чтобы стать правителем всей Азии.

3. В письме В. А. и М. Ф. Протопоповым от 12 сентября 1839 г. Ершов сообщал, что «не было ни стола, ни вечера; выпили только по бокалу шампанского да по чашке кофе» (С. О., 1964, № 7, с. 175).

4. См. послесловие, с. 454.

5. А. В. Никитенко.

6. П. А. Плетнев.

IX. С. О., 1964, № 7, с. 175. Сверено по оригиналу (ИАМ ЛГУ).

1. Письмо адресовано брату жены Ершова В. А. Протопопову и его жене М. Ф. Протопоповой.

2. Пожары и наводнения были издавна бедствием Тобольска.

3. И. В. Пиленков — брат матери Ершова.

4. Упомянутые в письме здания, гостиный двор и торговые ряды расположены в нижней части Тобольска, которая и была охвачена пожаром.

5. Учителя Тобольской гимназии. По свидетельству «Тобольских губернских ведомостей» (1892, № 34), Ершов был дружен с семьей Романова, в домашнем спектакле у Романовых исполнял роль Якова, жениха дочери станционного смотрителя в своей пьесе «Суворов и станционный смотритель».

6. Общий убыток оценивался в огромную по тому времени сумму — до миллиона рублей (Кочедамов В. И. Тобольск. Как рос и строился город. Тюмень, 1963, с. 122).

7. Падчерица Ершова, Феовна Никитична Лешева, жившая в то время у Протопоповых в Петербурге.

X. Яр., с. 67—69.

1. К этому времени в Томской гимназии открылась вакансия директора, и Треборн в своем письме спрашивал согласия Ершова на переезд его в Томск.

2. Речь идет о Качурине, см. прим. I к письму 7.

3. П. Д. Горчаков.

4. П. А. Плетневу.

5. См. примечания к «Коньку-горбунку».

6. Е. П. Гребенка. См. письмо 4.

XI. ИАМ ЛГУ, Б-54-1-16*. Публикуется впервые.

1. Во время посещения гимназии Александром Романовым (см. письмо 4) ученик 2-го класса гимназии Константин Широков показал отличные способности, «узнав о сиротском его положении, Великий князь... изволил назначить по 300 рублей в год на воспитание Широкова, с тем, чтобы последний оставался при Тобольской гимназии до окончания курса» (Зам. и Цв., с 110). Однако Качурин по каким-то причинам нарушил это положение, и Широкова взяли на воспитание Ершovy. В дальнейшем у Ершовых жили пансионеры гимназии, за содержание которых Ершов получал некоторую сумму, что было необходимым подспорьем в семейном бюджете, весьма напряженном.

2. Речь идет о разделе имущества умершего мужа С. А. Лещевой.

XII. Яр., с. 76, 77.

1. П. А. Плетнев в 1838—1846 гг. был редактором и издателем «Современника». Ершова он печатал охотно, однако гонорара не

* Б — семейная группа, 54 — номер папки, I — часть, 16 — документ.

платил. Ершов же постоянно нуждался в деньгах и поэтому предпочитал отдавать свои произведения Смирдину и Сенковскому, которые выплачивали за напечатанное гонорар.

2. Э. И. Губер (1814—1847) — русский поэт и переводчик, близкий знакомый Ершова в петербургский период жизни. С 1840 по 1842 г. Губер работал в «Библиотеке для чтения» помощником Сенковского. По отзывам современников это был человек редкой душевной чистоты.

XIII. Яр., с. 80—84.

1. Треборн по просьбе Ершова обратился к Сенковскому о высылке гонорара за стихи, напечатанные в «Библиотеке для чтения». Ярославцов в своей книге приводит отрывок из письма Треборна, в котором тот рассказывает Ершову о своей беседе с редактором «Библиотеки для чтения» Сенковским. В свойственной ему манере, еще, вероятно, смягченной в пересказе Треборна, тот упрекал Ершова в неблагодарности: «он был беден, я вывел его в люди, я доставил ему хорошее место в Тобольске...» Деньги Ершову после этого тяжелого разговора были высланы. К назначению Ершова в Тобольск Сенковский не имел никакого отношения. За Ершова ходатайствовал Никитенко.

2. Ершов был несчастлив в детях. Все три ребенка от первой жены умирали сразу же после рождения. Ершов был женат три раза, и из 16 детей 9 погибли при аналогичных обстоятельствах. Имеется предположение, что Ершов был носителем так называемого летального гена, наследственного заболевания, которое передается по мужской линии.

3. В. А. Треборн.

4. В конце 1840 г. И. И. Пущин, приехав в Тобольск, передал Ершову стихи Пушкина «Мой первый друг, мой друг бесценный» и «Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок...». Ершов отослал эти стихотворения Плетневу, который и напечатал их в XXII томе «Современника» за 1841 г. Какие вторые стихи Пушкина были переданы Ершову и почему они не появились в печати, не удалось выяснить.

5. «Моя поездка» не была передана Плетневу — Ярославцов почему-то «недовольный... хотя и написанными благозвучными стихами... остановил Треборна отдавать это стихотворение в печать» (Яр., с. 84).

6. Ярославцов пробовал свои силы во многих видах искусств, но дальше посредственного любителя не пошел.

XIV. С. О., № 7, 1964, с. 177. Сверено по оригиналу (НАМ ЛГУ).

1. Пасынок Ершова А. Н. Лещев. Успешно сданный экзамен после окончания гимназии давал право на чин коллежского регистратора, низший в табели о рангах.

2. После окончания гимназии Лещев был направлен в Казанский университет на казенный счет.

3. Ершов получил чин коллежского асессора.

4. В ноябре 1843 г. Ершов был назначен инспектором гимназии.

XV. Яр., с. 101, 102.

1. «Отечественные записки» — журнал, издаваемый в Петербурге с 1839 г. До 1866 г. издавался А. А. Краевским.

2. «Отечественные записки» дважды выступали с отзывом о «Коньке-горбунке». В томе VIII журнала за 1840 г. рецензент удивлялся, «как этот «Горбатко» мог доскакать до второго издания!» По поводу третьего издания рецензент в XXX томе «О. з.», 1843 г., писал, что основная мысль сказки — «глупость, тупеядство, праздность — самый верный путь к человеческому счастью».

3. Московский издатель-книготорговец К. И. Шамов выпустил вслед за вторым изданием «Конька-горбунка» третье, малоформатное.

XVI. Яр., с. 104, 105.

1. В 1842 г. Ярославцов издал свой роман «Любовь музыканта», в котором под именем Платона был выведен Ершов. Роман не имел успеха и был охарактеризован Белинским как «изнанка литературы».

XVII. Яр., с. 105, 106.

1. Ершов очень точно выразил свое положение в этом письме: зависимость от службы и стремление к творчеству.

2. Адам Фишер, (1799—1861) преподававший в университете, когда там учился Ершов, психологию, логику, нравственную философию и метафизику.

3. Ярославцов в это время писал трагедию «Царь Иван IV Васильевич Грозный» (вышла под названием «Князь Владимир Андреевич Старицкий»).

XVIII. Яр., с. 113, 114.

1. С. А. Лещева скончалась после родов 25 апреля 1845 г.

2. Г. Ф. Мерглич, учитель искусств Тобольской гимназии с апреля 1838 г. по 1846 г.

3. Над новым курсом русской словесности Ершов начал работать чуть ли не с первых дней службы в гимназии. В декабре 1844 г. он закончил его и отослал в министерство народного просвещения. Результатом нескольких лет «изучения» работы Ершова на явился краткий и невразумительный ответ: «Курс словесности не может быть введен в гимназии потому, что не вполне отвечает понятиям воспитанников». Между тем, работы по педагогике Ершова, судя по сохранившимся отрывкам, значительно опережали практику преподавания тех лет и были несомненно прогрессивными. Многие из педагогических идей, предлагаемых Ершовым, были осуществлены только с введением в практику обучения реальных училищ.

4. Приравнивался к военному званию полковника.

5. Литографированные картины из собрания Эрмитажа.

XIX. С. О., № 7, 1964, с. 177. Сверено по оригиналу (НАМ ЛГУ).

1. Ф. Н. Лещева училась в Екатерининском институте.

2. Ершов говорит об окончании учения Ф. Н. Лещевой.

3. Ершов вспоминает о смерти своей жены, матери Ф. Н. Лещевой.

4. Вторая падчерица Ершова Александра Никитична Лещева жила в семье Ершовых в Тобольске.

5. Иносказание, Ершов говорит о гонораре за свои литературные произведения.

XX. Яр., с. 124—125.

1. Книгоиздатель и книготорговец А. Ф. Смирдин намеревался издать том сочинений П. Ершова, однако цензура не разрешила печатать «Конька-горбунка», и издание не состоялось.

2. В апреле 1846 г. Ершов послал ряд стихотворений Плетневу в «Современник» с просьбой: «Если из посланных стихотворений какие-нибудь удостоятся чести быть помещенными в ваш журнал, то прошу печатать их без имени» (БП—76, с. 319). Плетнев на это ответил 20 июня 1846 г.: «Располагайте мною и журналом моим как собственностью. Не для выгод тружусь я, а для мечтательной, может быть, надежды хоть одно чистое сердце согреть и удержат на дороге чести. Ваши стихотворения прелестны. Вы сохранили девство своей первоначальной поэзии. Напечатаю их, как вы желали, — но буду украшать ими журнал понемногу, чтобы долее доставлять читателям удовольствие». (Яр., 118). В 1846 г. в «Современнике» были напечатаны без подписи Ершова «Воспоминание», «Оправдание» и «Храм сердца».

3. А. Н. Лещев (см. письмо 14).

4. Вторая падчерица Ершова Александра Лещева летом 1847 г. приехала из Тобольска в Петербург.

XXI. Яр., с. 131—133.

1. В 1849 г. Качурин ушел в отставку и единственным кандидатом на пост директора был Ершов. Его назначение было уже согласовано с губернскими властями и министром; с июня 1849 г. Ершов фактически исполняет должность директора. И неожиданно в конце 1849 г. директором Тобольской гимназии назначают советника пограничного правления, не имеющего никакого отношения к делам просвещения, — П. Чигиринцева. Ярославцов по этому поводу писал: «Мы слышали, что против Ершова какими-то личностями были пущены в ход даже грязные вещи... злая клевета» (Яр., с. 130). Не исключена возможность того, что назначению Ершова директором гимназии воспрепятствовало его знакомство с Тимковским и другими людьми, осужденными в 1849 г. по делу петрашевцев.

2. В. А. Жуковского.

3. П. М. Чигиринцев.

XXII. Яр., с. 138—139.

1. Три рассказа из «Сибирских вечеров» (впоследствии названных «Осенними вечерами») были посланы Ершовым на отзыв Плетневу.

2. У декабриста М. А. Фонвизина.

3. Генерал-адъютант Н. Н. Анисков, после ревизии Западной Сибири которым генерал-губернатор П. Д. Горчаков был удален с должности.

XXIII. Яр., с. 140—141.

1. Письмо не имеет даты. Ярославцов публикует его по черновику Ершова и по некоторым деталям содержания относит к июню 1851 г.

2. Ершов послал Плетневу последние четыре рассказа из «Осенних вечеров».

XXIV. Яр., с. 142—143.

1. В начале 1850 г. П. Крашенинников пытался получить раз-

решение на выпуск «Конька-горбунка», но успеха не имел (см. письмо 25).

XXV. Яр., 145—146.

1. Несмотря на хлопоты Крашенинникова и содействие друзей Ершова, цензура не разрешала выпустить сказку Ершова ни в прежнем виде, ни в доработанном.

XXVI. Яр., с. 155.

1. Хлопоты Крашенинникова об издании «Конька-горбунка» увенчались успехом после смерти Николая I. В 1855 г. министр народного просвещения А. С. Норов разрешил выпуск сказки.

XXVII. Яр., с. 157, 168.

1. В январе 1857 г. Ершов был назначен по представлению Тобольского губернатора В. А. Арцимовича, деятеля новой формации, директором Тобольской гимназии и училищ губернии (ГАТЮТ, ф. 152, оп. 31, ед. хр. 1288, л. 5).

2. Ершову предстояла поездка в Петербург (см. письмо 28).

XXVIII. Яр., с. 171—173.

1. Елена Николаевна Ершова, урожденная Черкасская, третья жена Ершова. Из Петербурга Ершов не посылал письма в Тобольск, а записывал их в своем дневнике для жены. Это письмо из дневника Ершова.

2. А. С. Норов (1795—1869) и сменивший его Е. П. Ковалевский (1790—1886).

3. Норов лишился ноги в Бородинском сражении.

XXIX. Яр., с. 179—180.

1. В конце 1858 г. Ершов предпринял большую инспекторскую поездку по училищам губернии.

2. Церковь на месте, где стоял дом Ершовых, была построена уже после смерти Ершова (см.: Нива, 1898, № 46, с. 915—916. Палопеженцев Н. И. На родине автора «Конька-горбунка»). В письме от 14 августа 1982 г. учительница школы в селе Ершово С. И. Шастунова сообщила мне, что в 1950-х г. церковь настолько обветшала, что обрушилась и ее пришлось разобрать.

XXX. Яр., с. 181—182.

1. В. Я. Стефановский, тюменский окружной начальник.

2. Ершов, будучи директором гимназии и училищ губернии, много заботился о женском образовании. По его инициативе в губернии было открыто несколько женских школ, принимал он участие и в работе женской гимназии в Тобольске.

XXXI. С. О., 1964, № 7, с. 178 (и приложение). Сверено по оригиналу (НАМ ЛГУ).

1. В апреле 1862 г. Ф. Н. Лещева вышла замуж за Д. И. Менделеева, с которым часто встречалась в доме Протопоповых после окончания Екатеринбургского института.

2. Ершов, уйдя в отставку, лишился казенной квартиры. Собственного дома он никогда не имел и вынужден был снять для жилья дом тобольского богача Токарева на углу Почтовой и Рождественской улиц (ныне ул. Семакова и Ершова). В этом доме он и скончался. Дом сохранился до наших дней.

3. Д. И. Менделеева.

4. За 5-е издание «Конька-горбунка».

XXXII. С. О., 1964, № 7, с. 179—180. Сверено по оригиналу (НАМ ЛГУ).

1. У Менделеевых родилась дочь, которую называли Марисей, осенью того же года она умерла.

2. Пенсия Ершова была невелика — 1080 р. в год. «Живу теперь на богатом цифрами, но очень скудном по дороговизне всего панспоне», — писал Ершов 23 января 1865 г. В. А. Треборну.

3. О чем говорит Ершов, употребив термин «контрафакция» к пятому изданию «Конька-горбунка», уточнить не удалось. Возможно, изменения по сравнению с четвертым изданием, внесенные в текст сказки, не были согласованы с автором. Таких изменений внесено 18. Среди них наиболее серьезные — третья строка первого четверостишья: «Против неба — на земле» (в четвертом издании — «Не на небе, на земле»); далее — в первой же части — строки «До оброков ли нам тут? А исправники дерут», заменены на «А коли неурожай, так хоть в петлю полезай!».

XXXIII. Яр., с. 184, 185.

1. В 1864 г. на сцене Мариинского театра в Петербурге был поставлен балет «Конек-горбунок» (музыка Ц. Пуни, постановка Сеп-Леона), Муравьева исполняла роль Царь-девицы.

XXXIV. Яр., с. 185—186.

1. А. Н. Лешев, пасынок Ершова, в эти годы работал в Главном управлении Западной Сибири управляющим 1-м отделением, выезжал в Петербург.

2. Г. С. Дестунис — университетский знакомый Ершова, знаток греческой словесности. С 1867 г. профессор Спб. университета.

XXXV. Яр., с. 187—189.

1. Ярославцов издал брошюру «О личности Гамлета в шекспировской трагедии», послал ее Ершову и просил отзыва.

XXXVI. Яр., с. 190.

1. Речь идет о В. А. Треборне.

XXXVII. Яр., с. 191, 192.

1. Треборн прислал Ершову несколько фотографий балета «Конек-горбунок». Троицкий танцевал Иванушку.

2. Старший сын Ершова, Владимир, родился 6 февраля 1856 г. (умер 2 августа 1917 г. в г. Анапе); средний сын Николай — р. 23 июля 1861 г. (умер в 1880-х гг. в Петербурге); младший — Александр р. 30 июля 1863 г. (умер в 1911 г. в с. Сгибнево, Амурской области).

XXXVIII. Последнее известное письмо Ершова. Публикуется впервые по оригиналу, хранящемуся в личном архиве составителя этой книги.

1. Ф. Н. Менделеева приглашала своего отчима в Боблово, именно Д. И. Менделеева.

2. По сведениям из писем племянницы второй жены Ершова Ю. А. Девятовой, адресованных внучке поэта Н. А. Смысловой, Ершов был болен водянкой (письмо № 4 от 25 октября 1861 г., хранится в фондах Тобольского музея-заповедника).

3. Н. Н. Лещев — второй пасынок Ершова.

П. П. Ершов родился 22 февраля (6 марта) 1815 г. в деревне Безруковой*, стоявшей на Московском тракте в 16 верстах от города Ишима. Отец поэта, Павел Алексеевич, служил в те годы частным комиссаром Черемшанской волости**, мать, Евфимия Васильевна, — дочь тобольского торговца, члена большой купеческой семьи Пиленковых.

Родители поэта были несчастливы в детях, Ершов говорил впоследствии, «что у него было братьев и сестер человек двенадцать и все они похоронены в разных городах» (Яр., с. 6). Живыми остались только двое — Петр и его старший брат Николай, родившийся в 1813 г.

Ершов родился очень слабым, был одержим припадками. Родители, боясь потерять его, немедленно окрестили и по старинному обычаю «продали» за грош нищему-бродяге, нищий «уносил» с собой болезнь, а ребенка оставлял родителям «на сохранение». Ершов нередко вспоминал об этом эпизоде из своего младенчества и добавлял: «Что мне эти чины и почести, когда я стою только грош!»

Из Безруковой Ершovy переезжают в Петропавловск, в то время центр торговли с азиатскими странами, куда отец был назначен исправником. Затем отец получает новое назначение — в Омск. После административной реорганизации Сибири в 1822 г. Ершов назначается исправником северного Березовского края. Под его начало попадает огромная территория от Ледовитого океана до Самарово и Сургу́та и от Уральского хребта до Енисея. Исправник на этой территории был неограниченным и, по существу, бесконтрольным владыкой.

Через два с небольшим года П. А. Ершов становится советником казенной экспедиции Омского областного правления. В конце 1830 г. он переводится на службу в Петербург, в отдельный корпус внутренней стражи, командовал которым П. М. Капцевич, бывший генерал-губернатор Западной Сибири.

Мальчик Ершов совершает с семьей все служебные переезды отца. В Березове он вместе с братом начал учиться в уездном училище. Заканчивают его братья уже в Тобольске, куда привез их отец, получив назначение в Омск. Мальчики Ершovy остаются жить в Тобольске у родственников матери и после окончания

* В конце XVIII в. Безрукова входила в Ишимскую оборонительную линию и называлась форпостом «с крепостью и рогатками, но без надолб». Ныне переименована в Ершово.

** В 1803 г. в Иркутской и Тобольской губерниях были введены вместо уездов комиссариатства «с определением в оные особенных начальников под именем земских частных комиссаров», в обязанности которых входил разбор маловажных тяжб и споров и ответственность за благосостояние волостей.

уездного училища в 1826 г. поступают учиться в губернскую гимназию, единственную в то время в Западной Сибири.

Переезды по Сибири и особенно жизнь в Тобольске обогатили мальчика Ершова многими яркими впечатлениями. Он знакомится с композитором А. Алябьевым, сосланным в Тобольск, с семьей Менделеевых, глава которой И. П. Менделеев был директором гимназии, а мать происходила из семьи тобольских промышленников и книгоиздателей Корнильевых. При Менделееве в гимназии были введены творческие утреники—каждое воскресенье гимназисты собирались в актовом зале и «упражнялись в декламации русских, немецких и французских авторов или в чтении своих собственных сочинений»*. Возможно, эти утреники и знакомство с семьей Менделеевых, у которых была лучшая в городе библиотека, и пробудили в Ершове творческие наклонности, подтолкнули его к первым поэтическим опытам. В это же время в гимназии выделялись еще два учителя, влияние которых на мальчиков Ершовых нельзя не учитывать, тем более, что по материалам Тобольской гимназии видно, что они хорошо относились к Ершовым. Это ссыльный, участник Отечественной войны, унтер-офицер Лубянского волонтерского полка, П. О. Леман, преподававший французский и немецкий языки, и учитель физико-математических наук И. С. Кунавин, производивший фенологические наблюдения в Тобольске. Оба учителя выделялись на общем, весьма унылом фоне «чиновников гимназии».

Тобольск в то время был одним из крупных торговых и административных центров на востоке страны. Через Тобольск часто проезжали с востока и с запада отечественные и зарубежные научные экспедиции, чиновники, администраторы, дипломаты. В 1828 г. город посетила экспедиция директора обсерватории в Христиании (Осло) К. Ханстина, в 1929 г. в Тобольске побывал А. Гумбольдт со своими спутниками.

Жива была и славная история города. Герб Тобольска—на синем поле золотая пирамида, украшенная знаменами, барабанами и алебардами—говорил о славе города в борьбе с кучумовским ханством, пытавшимся поработить народы Сибири, о победах в этой нелегкой борьбе. Гостинный двор в нагорной части города всегда был полон торговыми гостями. Сюда приезжали купцы из Бухары и Ташкента, Афганистана и Индии, Ирана и Китая, жители севера Сибири, крупные российские и сибирские торговцы.

Город в то время не был похож на захолустье. Приезд европейских ученых, возвращение из пределов Тянь-Шаня и Синизяна губернских чиновников Н. Лещега и А. Путинцева, кружок Алябьева, организованный композитором большой оркестр, регулярно выступавший с концертами, краеведческие устремления сибирского ученого П. А. Словцова и близких ему учителей гимназии, семья Менделеевых, хранящая лучшие культурные традиции Тобольска, Твери и Петербурга,—все это обогатяло тобольскую действительность конца 1820-х гг. и благоприятно сказывалось на развитии мальчика Ершова.

С другой стороны, в эти же годы Ершов, живя без родителей

* С. Н. Замахев и Г. А. Цветаев, с. 57.

в доме Пиленковых, находился в общении с народом — крестьянами, ямщиками и прочим простым людом, кормившимся в дядином хозяйстве. Мальчик как губка впитывает в себя сказки, предания, пословицы, поговорки, всю народную мудрость. У него еще нет ясного сознания своих сил и возможностей, будущее скрыто для него, однако он переполняется народными образами, впечатлениями, думами, и это, несомненно, начинает формировать его собственные думы и мечты. Понадобилась еще одна дорога, длительная, почти через всю Россию, новые встречи, познание русского поэтического языка, открытого для всех Пушкиным, чтобы юный Ершов смог сплавить воедино накопленные им в детстве и отрочестве сокровища...

Дорога эта легла перед ним после того, как он завершил учение в Тобольской гимназии. На торжественном акте в июне 1830 г. он был награжден, как окончивший с отличием, похвальным листом и книгою. А после этого вместе с матерью братья отправились в дальний путь. Дорога не была похожа на прежние — Ершovy проехали заводской Урал, увидели крепостную Россию, услышали новые сказки и бывальщины — неизбежное сопровождение тогдашнего медлительного путешествия...

А в столице его ожидали новые испытания, радости и потери, успехи и беды...

2

В начале 1831 г. Ершов поступает на философско-юридический факультет Петербургского университета, а брат его на физико-математический. Петр Ершов первоначально намеревался учиться на историко-филологическом факультете, к которому чувствовал большую склонность, однако слабое знание латыни и греческого языка помешали этому.

Жили Ершovy скромно. Они поселились в небольшом деревянном домике на окраине столицы, где многое напоминало им родной Тобольск. Шумный Невский, его богатые дома, дворцы вельмож, великолепие набережных — все это казалось далеким от района Песков, где жизнь текла тихо и спокойно.

Университет быстро разочаровал Ершова. В стенах его царил дух казенномыслия и схоластики. В В. Григорьев, учившийся в одно время с Ершовым, свидетельствовал впоследствии: «Многих профессоров, отчасти даже знаменитостей, не сделали бы теперь учителями в порядочной гимназии». Ершов «оставался только на минуты переклички студентов, производимой профессором, и затем уходил домой к своему любимому чтению русских писателей... Здесь создавал он себе сам школу саморазвития» (Яр., с. 12). Первоначально Ершов держится обособленно, мало сходится со студентами, всего два-три человека могут сказать, что они знакомы с ним. Втайне он держит и свои литературные опыты, хотя литературные занятия все больше и больше начинают увлекать его.

В 1832 г. в университет на кафедру русской словесности вместо профессора Я. В. Толмачева, русская литература для которого заканчивалась екатерининскими временами и который с гордостью говорил студентам: «Я, друзья мои, тридцать лет ничею

не читаю, потому что убежден, что теперь пишут все пустяки»*, приходят два молодых преподавателя — А. В. Никитенко, читавший теорию литературы, и П. А. Плетнев, преподававший непосредственно русскую словесность. Оба они вышли из народных низов — Плетнев был сыном бедного сельского священника, рано познал сиротство и нужду, а Никитенко происходил из крепостных графа Шереметева и получил свободу, благодаря участию в его судьбе будущего декабриста К. Ф. Рыльева. С их приходом атмосфера в университете заметно оживилась.

Летом 1833 г. неожиданно умирает П. А. Ершов. Семья его остается почти без средств к существованию. Несчастье ускорило вступление Ершова на литературную дорогу. Он заканчивает давно начатую сказку в стихах и передает ее на суд П. А. Плетневу.

В один из дней начала 1834 г. Плетнев, придя в университетскую аудиторию, вместо обычной лекции начал читать сказку. Героями ее были Иванушка, крестьянский сын, и чудная зверушка — «на спине с двумя горбами да с аршинными ушами» — волшебный Конек-горбунок. Закончив чтение, Плетнев раскрыл имя автора — он сидел тут же в аудитории: студент Ершов-младший, — и высоко оценил достоинства этого произведения.

Так впервые стал известен «Конек-горбунок», а к его молодому автору пришла слава. Вскоре первая часть сказки была напечатана в журнале «Библиотека для чтения» с хвалебным предисловием редактора журнала О. И. Сенковского, а к осени томик сказки вышел отдельным изданием. Вчера еще никому неизвестный студент-сибиряк стал знаменит на всю читающую Россию... Поистине сказочная судьба!

Существуют свидетельства, что в судьбе сказки Ершова принял самое деятельное участие А. С. Пушкин, которому сказка чрезвычайно понравилась. А. Ярославцов в своих воспоминаниях пишет: «Покойный Пушкин, прочитав эту сказку, отозвался, между прочим, Ершову, как рассказывал он сам: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить». Слова эти впоследствии, через несколько лет уже подтвердил мне лично и бывший при том случае у Пушкина покойный барон Е. Ф. Розен. Пушкин заявил в то же время намерение содействовать Ершову в издании этой сказки с картинками и выпустить ее в свет по возможно дешевой цене, в огромном количестве экземпляров, для распространения по России» (Яр., с. 2—3).

Ершов неоднократно бывал у Пушкина, и, вероятно, Пушкин, зная о том, что автор «Конька-горбунка» намерен после окончания университета вернуться на родину, рассчитывал через него наладить связи с друзьями-декабристами, сосланными в Сибирь. О справедливости такого предположения говорит следующий отрывок из дневника тобольского друга Ершова художника М. С. Знаменского, записавшего со слов поэта: «Я бывал у него (Пушкина), если вытасят к нему. Я был страшно обидчив. Мне все казалось, что надо мною он смеется, например: раз я сказал, что предпочитаю свою родину (для жительства). Он и говорит

* Папаев И. И. Литературные воспоминания. М.-Л., 1950, с. 11.

мне: «Да вам нельзя не любить Сибири, — во-первых, это ваша родина, во-вторых, это страна умных людей». Мне показалось, что он смеется. Потом уж я понял, что он о декабристах напоминает. В этом же разговоре Ершов глухо упомянул, что у него были какие-то «заметки, писанные Пушкиным», которые он вынужден был уничтожить*.

Мы вправе предположить, что связи Ершова с Пушкиным имели тенденцию к дальнейшему углублению. Интерес к Сибири у Пушкина был давним. Он зародился еще в лицейские времена, когда с ним учились сын томского губернатора Алексей Илличевский, уехавший служить затем в Сибирь, и сын иркутского и тобольского губернатора Александр Корнилов по прозвищу Сибиряк. Пушкин был знаком с его отцом сенатором А. М. Корниловым, выпустившим в 1828 г. «Замечания о Сибири сенатора Корнилова». Близким знакомым Пушкина был В. Д. Соломирский, путешествовавший по Сибири с П. Л. Шиллингом. Пушкин в 1828 г. собирался вместе с Соломирским ехать в Сибирь и Китай. Знал Пушкин и брата М. Д. Менделеевой, управляющего делами и именными Трубецких В. Д. Корнильева, неоднократно встречался с ним в Москве и Петербурге. Знаком был Пушкин и с писателем И. Т. Калашниковым, уроженцем Иркутска. С годами интерес Пушкина к Сибири все возрастал, он задумывает писать работу по истории Сибири, собирает материалы о русских землепроходцах, занимает его фигура Ермака и т. п. О широте этой работы и глубине знаний Пушкиным сибирской истории мы можем судить по оставшимся в архиве поэта записям и заметкам, а так же по списку книг о Сибири, имевшихся в библиотеке Пушкина. С другой стороны, ко времени встречи с Пушкиным у Ершова уже вызревает план его будущей деятельности в Сибири вместе с К. И. Тимковским, внуком Шелехова, о чем мы расскажем ниже. Не исключена возможность, что Ершов поделился с Пушкиным своими замыслами.

Публикация «Конька-горбунка» открыла Ершову двери в литературный мир столицы. Он начинает выступать на страницах журналов, альманахов, становится одним из авторов словаря Плюшара, полон новыми замыслами. Круг его знакомств расширяется. К этому времени относятся встречи Ершова с В. А. Жуковским, П. А. Плетневым, А. В. Никитенко, О. И. Сенковским, К. П. Масальским, А. Н. Мокрицким, А. И. Тербеневым, Э. И. Губером и другими столичными писателями, поэтами, художниками, музыкантами. Своим человеком становится Ершов в кружке Т. Н. Грановского, участвует в обсуждении философских вопросов, встречается с молодыми востоковедами В. В. Григорьевым и П. С. Савельевым, сближается с ними. Вместе с В. Г. Бенедиктовым и водевилистом К. А. Бахтуриным Ершов затевает сатирический альманах. Органист и скрипач Императорских театров композитор О. И. Гунке учит Ершова началам музыкальной грамоты и игре на флейте. Наряду с поэтическими произведениями Ершов пробует свои силы в небольших пьесах, водевилях, либретто опер...

* Абрамов И. С. О поэте П. П. Ершове. По неизвестным дневникам художника М. С. Знаменского. — Сибирские огни, 1940, № 4—5, с. 239.

Однако наряду с этой литературной активностью Ершов ощущает глубокую внутреннюю неудовлетворенность своей жизнью. Он мечтает об иных делах. Вместе с Константином Тимковским, учившимся некоторое время в университете, он задумывает план обширной деятельности на благо России. Юноши намерены посвятить свою жизнь изучению восточных и северных морей, территорий Зауралья, народов, населяющих Сибирь. Программа этой деятельности своеобразно отражена в стихотворении, посвященном К. Тимковскому.

После необыкновенного успеха «Конька-горбунка» не все хорошо складывается с литературными занятиями Ершова. В силу материальных обстоятельств и своей неопытности он оказался связанным с Сенковским, который дал в «Библиотеке для чтения» хвалебное предисловие к «Коньку-горбунку», а извещение о выходе сказки отдельным изданием и рецензию печатает репутация «Северная пчела». Впоследствии, живя в Tobольске, Ершов в трудный момент жизни обратился через своих друзей за помощью к Сенковскому. Барон Брамбеус заявил: «Я помогал Ершову здесь, в Петербурге, как бедняку... я вывел его в люди...»*. Это, конечно, не соответствовало истине: литературным успехам Ершов был обязан прежде всего Пушкину, Жуковскому и Плетневу. Если бы не их оценка «Конька-горбунка», Сенковский вряд ли бы напечатал сказку Ершова, да еще сопроводив ее хвалебным словом, на которое, кстати, он был весьма скуп, особенно для молодых писателей. Зависимость от Сенковского, печатавшего в своем журнале и другие, нередко слабые произведения молодого писателя, оказала Ершову плохую услугу. Белинский поспешил зачислить Ершова в «гении смирдинского периода словесности» наряду с такими бездарными и забытыми теперь писателями, как Тимофеев, Масальский, Кукольник и другие. Отрицательно отнесся Белинский и к «Коньку-горбунку», заявив, что сказка Ершова «не имеет не только никакого художественного достоинства, но даже и достоинства забавного фарса»**. Это высказывание Белинского было ошибочным так же, как и оценка им сказок Пушкина, которые он считал «плодом довольно ложного стремления к народности»***.

Неудача постигает Ершова и в его работе над либретто и пьесами. К либретто «Страшный меч» была написана музыка, опера прошла театральную цензуру и получила одобрение к представлению. Однако к этому времени М. И. Глинка уже написал музыку к «Жизни за царя» («Иван Сусанин»), и, конечно, несмотря на достоинства музыки О. И. Гунке, она не могла идти в сравнение с глинковским шедевром. Опера «Страшный меч» так

* См. письмо 13.

** Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I. М., 1953, с. 151. Рецензия на «Конька-горбунка». (Напечатано в «Молве» 1835, ч. IX, № 9 (ц. р. 1 марта), столб. 143—145).

*** Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1955. Статьи о Пушкине. Статья однанадцатая и последняя, с. 576. (Напечатано в «Отечеств. записках», 1846, т. XI VIII, № 10, отд. V, с. 41—46.)

и не увидела сцены. Потерпел неудачу и водевиль «Суворов и станционный смотритель» — цензура запретила это произведение Ершова.

Литературные огорчения сопровождаются семейными бедами. Умирает, не окончив университета, старший брат Николай, талантливый математик. Ершов остается вдвоем с больной матерью, существуя на непостоянный и скудный литературный заработок.

Острое сознание неудовлетворенности своей деятельностью отчетливо проступает в ряде стихотворений Ершова, написанных в этот период жизни — «Желание», «Молодой орел», «Прощанье с Петербургом», «Русская песня» и другие. Все чаще приходит мысль о возвращении в Сибирь, в Тобольск, где, — Ершов уверен в этом, — он найдет себе дело по плечу...

Несмотря на уговоры друзей, Ершов ходатайствует о предоставлении ему для службы места в Тобольске. После обычной министерской волокиты его ходатайство удовлетворяется.

Летом 1836 г. Ершов вместе с матерью уезжает из Петербурга. «На небе родины далекой меня иное солнце ждет» — пишет он в стихотворении «Прощанье с Петербургом». Вместе с Тимковским, который поступил на службу в Российско-американскую компанию, ушел в плавание и обещал привести в Тобольск шхуну для хода по сибирским рекам, и с сибирскими друзьями Ершов намерен развернуть широкую гражданскую и научную деятельность в Сибири, создать общество по изучению ее истории и географии, познанию сибирских народов, составить план оказания им помощи, «лучом гражданства озарить» просторы Сибири, начать издавать журнал... Планы широки, Ершов надеется на свою молодую энергию, помощь тобольских друзей и союз с Константином Тимковским, внуком славного Шелехова «Колумба Росского»: на кольцах, которыми они обменялись перед расставанием, стоят буквы «M. et V.» — «На жизнь и смерть» — и дата, когда они поклялись посвятить себя этому благородному делу...

3

30 июля 1836 г., вечером, Петр Павлович Ершов с матерью приехал в Тобольск.

Шесть лет назад Ершов уезжал из Тобольска полным неясных замыслов, робко пытавший свои силы в стихотворных опусах, вернулся же он кандидатом Санкт-Петербургского императорского университета, поэтом, известным читающей России того времени, одержимым замыслами широкой гражданской деятельности.

Прошла первая радость встреч с городом, со старыми знакомыми. Все начинало видеться иным... После Петербурга Тобольск казался и маленьким, и низкорослым, и тесным, и грязным, и вообще захудалым. Прежний образ величавой столицы Сибири, гордо высившейся над могучим Иртышом, потускнел и исчез. Иными стали и знакомые, на помощь которых рассчитывал Ершов — И. П. Менделеев ослеп и был не у дел, П. А. Словцов вел затворнический образ жизни, спеша завершить труд всей жизни «Историческое обозрение Сибири». Алябьева перевели в Ставро-

поль. Учителя в гимназии, кроме Лемана, который одряхлел и опустился, все были чужды Ершову.

Инспектором гимназии назначен некто Е. М. Качурин, вскоре ставший ее директором, который даже в официальной истории гимназии назван «беспощадным и жестоким», типичный чиновник тех времен, смотревший на гимназию, как на подчиненную ему канцелярию, на учителей как на чиновников. Генерал-губернатор Западной Сибири почти одновременно с Ершовым назначает князь П. Д. Горчаков, любитель фруита и бездарный администратор.

Уже с первых шагов в Тобольске Ершову дают понять, что никому из власти имущих нет дела до его литературных занятий — его назначают преподавателем... латинского языка в младших классах гимназии. Чуткий знаток русского народного слова, поэт, о котором Пушкин в свое время говорил: «Этот Ершов владеет русским стихом как своим крепостным мужиком», вынужден довольствоваться мергвой латынью, которую не любил, да и не знал. К счастью, это продолжалось недолго, вскоре «наша обоюдная мука кончилась к совершенному удовольствию обеих сторон», — вспоминал Ершов. В половине сентября он становится преподавателем философии и словесности в старших классах гимназии.

Ершов берется за дело со всей горячностью молодости, отбрасывает схоластическую методику преподавания по учебнику Кошанского, отвергает мертвые правила тогдашней словесности и начинает читать предмет по своим университетским запискам, дополняя их живыми рассказами о встречах с русскими писателями, знакомит учеников с новыми произведениями отечественной литературы. Ершов полон стремления «разрушить умственные цепи», сковывающие сознание юных тоболяков, «сотворить человека» из детей тобольских обывателей. Он мечтает коренным образом улучшить дело образования, начинает работать над новой «Программой словесности», набрасывает «Мысли о гимназическом курсе». В гимназии Ершов организует театр с помощью своих новых друзей сыльных — декабриста Н. А. Чижова и полка К. Волицкого, дирижировавшего гарнизонным оркестром после отъезда Алябьева. Ершов и Чижов пишут веселые водевили, а Волицкий сопровождает их музыкой.

Как личную беду Ершов переживает весть о гибели Пушкина, огорчен неудачной встречей с В. А. Жуковским, приехавшим в Тобольск в составе свиты наследника престола Александра Романова, но еще полон надежд, что ему удастся воплотить в жизнь мечты и замыслы, ради которых он покинул столицу. Летом 1837 г. он совершает экскурсии с учениками старших классов по историческим местам вокруг Тобольска, записывает легенды и сказания, пишет большую поэму «Сузге», навеянную местными преданиями.

Однако жизнь наносит Ершову удар за ударом. «Программа словесности» отвергается начальством. Ершову запрещают преподавать словесность по университетским запискам, выходить в своих занятиях за пределы утвержденной программы. Поэма «Сузге» возвращается из Петербурга нещадно разруганная Сенковским и Булгариным. И — самое тяжелое: измена Тимковского.

Друзья сообщают, что Тимковский уволился из Российско-американской компании и вернулся в Петербург, даже не сообщив об этом Ершову. Причина этого не раскрыта. В стихотворении «Друзьям» («Друзья! оставьте утешенья...») Ершов говорит о печальном опыте, который открыл ему тайну — «коварно дружба изменила...». Ершов слег в жестокой горячке...

16 апреля 1838 г. умирает мать Ершова. Ершов тяжело переживает эту утрату. Он чувствует себя одиноким и несчастным. Ему только 23 года, а позади уже столько потерь!.. К этому времени относится начало увлечения Ершова Серафимой Александровной Лещевой, вдовой инженерного подполковника Н. Лещева, совершившего в 1820-е гг. сложное и трудное путешествие в Тянь-Шань и Кашгарию. Увлечение перерастает в глубокую любовь. У Лещевой четверо детей — два сына и две дочери — это не останавливает Ершова. Пережив несколько отказов Лещевой, он добивается ее согласия, и в сентябре 1838 г. состоится их скромная свадьба.

Ершов горячо любит свою жену, заботится о ее детях как о своих родных. Однако его словно преследует злой рок — свои дети умирают один за другим, едва появившись на свет, а в апреле 1845 г. умирает и жена...

Изменилась и обстановка в Тобольске. В 1839 г. центром Западно-Сибирского губернаторства становится Омск. Из Тобольска выезжают Главное управление Западной Сибири, все его канцелярии, штаб отдельного сибирского корпуса. Город заметно пустеет и из сибирской столицы превращается в провинциальный областной центр. Качурин получает большую свободу действий и беспощадно притесняет учителей, изводит их мелкими придирками, атакует различного рода «предписаниями», следит за каждым их шагом. Добирается он и до гимназического театра — закрывает его. Ершов в отчаянии пишет друзьям в Петербург: «У нас, братец, такая строгость, что преподаватель не должен сметь свое суждение иметь, иначе назовут немного не бунтовщиком».

В конце 1830-х — начале 1840-х гг. Ершов переживает глубокий душевный кризис, его охватывает настроение пессимизма и уныния. Стихотворения этого периода отражают раздумья поэта о своей судьбе, состоянии безнадежности, жизненного тупика:

Я точно как пловец, волной страстей влекомый
Из милой родины на берег незнакомый
Невольно занесен. Напрасно я молю
Возврата сладкого на родину мою,
Напрасно к небесам о помощи зываю,
И плачу, и молюсь, и руки простираю...
Повсюду горестный мне слышится ответ:
«Живи, страдай, терпи — тебе возврата нет!»

В эти годы Ершов, по свидетельству близкого родственника, был близок к самоубийству. Гибнут юношеские замыслы, безрезультатная борьба с гимназическим начальством сожигает сердце и наполняет Ершова горечью. «Конек-горбунок» прочно заперт в стойлах цензуры, как произведение, в котором содержатся «выражения, имеющие прикосновение к православной церкви и ее установлениям и к поставленным от правительства властям». «Мыс-

ли о гимназическом курсе», написанные Ершовым с целью улучшить дело образования юношества, затерялись бесследно в канцеляриях столицы. «Курс русской словесности», созданный Ершовым на основе забракованной тобольским начальством «Программы словесности», попал сначала к академику М. Е. Лобанову, крайнему реакционеру, а после его смерти к академику И. И. Давыдову, по характеристике Белинского, «пошляку, педанту и школяру», который и похоронил работу Ершова. Лишь изредка блеснет удача — напечатают в столице стихотворение, «Современник» публикует «Сузге», о которой сочувственно отзывался Белинский в «Московском наблюдателе». Радуют ученики — они любят своего учителя, и, когда спектакли в гимназии были запрещены, они сделали учителю сюрприз: у него дома, в день его рождения, сыграли «Суворова и стапционного смотрителя». Ершов был растроган. Любовь учеников придает ему сил, веры в себя, в свою необходимость для людей. Несмотря на противодействие Качурина, он все больше и больше отдает времени гимназии, ее ученикам. Многие потом вспоминали о нем с благодарностью. А тут в конце 30-х—начале 40-х гг. в Тобольске появляются новые люди, чьи судьбы и взгляды были близки Ершову, и он постепенно начинает выходить из душевного кризиса и снова обращается к творческой деятельности.

4

Творческое возрождение Ершова связано в значительной степени с пребыванием в Тобольске и городах губернии большой группы декабристов, присланных в Западную Сибирь на поселение после отбытия каторжных работ в Восточной Сибири. Со многими из них Ершов сблизился (М. А. Фонвизин, В. К. Кюхельбекер, В. И. Штейнгель, П. С. Бобрищев-Пушкин, И. И. Пушкин и др.). Декабристы доверяют ему, ценят его творчество и педагогическую деятельность. От И. И. Пушкина Ершов получает ценнейшую реликвию — два неопубликованных стихотворения Пушкина: «Мой первый друг, мой друг бесценный» и «Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок». Ершов отправляет эти стихи Плетневу в «Современник», где они и были напечатаны с примечанием от редактора: «П. П. Ершов, известный поэт наш, лично знаком был с покойным Пушкиным, который его полюбил, прочитав стихотворение его «Конек-горбунок», как обыкновенно Пушкин до пристрастия привязывался к каждому возникающему таланту. Ершов хорошо помнит почерк Пушкина. Случайно встретив эти два небольших стихотворения, собственною рукою автора «Онегина» вписанные в памятную книгу одного из его приятелей, он поспешил их сообщить в редакцию «Современника» для напечатания»*.

Знакомство и дружба с декабристами имели большое влияние на Ершова. В своих воспоминаниях М. С. Знаменский писал: «Ершов познакомился с людьми европейски образованными, каких в Петербурге было мало; их отношение к окружающему было серьезное, они, может быть, заблуждались прежде, но горь-

* Современник, т. XXII, 1841, с. 172—173.

кий опыт доставил им знакомство с народом. Что они ценили талант Ершова — это факт». Знаменский высказывает предположение, что, если бы Ершов познакомился с декабристами раньше, то духовный кризис его не был бы таким сильным и он ранее «обратился бы к гражданским мотивам», ибо «люди эти относились к искусству иначе, они отодвигали его с первого плана, заменяя стремлением помочь народу, чем могли: распространенным образованием, улучшением быта, борьбой с сильными мира за меньших».*

Сближается Ершов в эти годы и с ссыльными поляками, в частности, с поэтом Густавом Зелинским, приехавшим в Тобольск из Ишима в сентябре 1842 г., стихи которого Ершов переводил.**

Декабристы высоко ценили не только творческие возможности Ершова, его дружбу с изгнанниками, но и его педагогическую деятельность. М. А. Фонвизин в письме к И. Д. Якушкину в Ялуторовск, сообщая о прибытии в Тобольск из Туринска И. А. Анненкова с семьей, пишет, что Анненков отдал своего сына учиться в гимназию: «Здесьняя гимназия, несмотря на малолетство своего директора (Качурина. — В. У.), est en progres***. Я недавно читал упражнения в словесности учеников 5, 6 и 7-го классов и не мог довольно налюбоваться их сочинениями. Этим они обязаны учителю словесности Ершову, человеку с дарованием, знающему превосходно свой язык и делающему свое дело весьма добросовестно. Ничто не может быть полезнее деятельности этого человека, и он, конечно, приготовит много грамотных людей; притом в сибирях есть много природных способностей»****.

Особенно близок Ершов был с семьей декабриста Фонвизина и с В. К. Кюхельбекером. В доме Фонвизиных, в нагорной части Тобольска (дом, кстати, сохранился до наших дней), Ершов часто бывал, читал там свои новые произведения и был, как пишет сам Фонвизин Пушкину, «обыкновенным моим спутником» в прогулках, иногда весьма длительных. С Кюхельбекером Ершов сблизился после приезда декабриста из Кургана в Тобольск, в начале 1846 г. Кюхельбекер был тяжело болен, ослеп, и Ершов не покидал его до смертного часа, «читал ему беспрестанно разные сочинения, рассуждал с ним продолжительно», вспоминала вдова декабриста*****.

Дружба и общение с декабристами пробудили в Ершове желание писать. Он обращается к прозе, и в начале 1850-х гг. начинает цикл рассказов «Сибирские вечера», впоследствии названные «Осенние вечера». Это — серьезная попытка Ершова испробо-

* ЦГАЛИ, ф. Ершова, № 12, л. 19.

** Стеклова Ф. И. В кругу декабристов. — Советское славяноведение, 1978, № 4, с. 93—94.

*** Прогрессирует (фр.).

**** Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Т. I. Дневники и письма. Иркутск, 1979, с. 220.

***** Цит. по кн.: Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Литературные памятники. Л., 1979, с. 593.

вать свои силы в новом для него жанре литературы. Первое чтение рассказов было в доме Фонвизинных и получило одобрение слушателей.

«Осенние вечера» включают предисловие автора, семь рассказов и своеобразные отступления между ними. Все это создает у читателя впечатление единства всей вещи. Каждому из рассказчиков Ершов дает вполне определенную речевую и психологическую характеристику. Автор не случайно избрал такую усложненную форму для своего произведения: она способствовала большому простору выразительных средств. Отношение каждого персонажа к историям, рассказываемым другими, позволяло автору давать дополнительные характеристики как персонажам рассказов, так и самим рассказчикам, и в то же время соединяло воедино разнородные по темам, времени и месту действия рассказы.

Персонажи «Осенних вечеров» не имеют определенных прототипов, скорее всего, каждый из них представляет собой творческий сплав черт самого Ершова и его различных знакомых, как тобольских, так и петербургских. В полковнике Безруковском, на квартире которого собираются рассказчики, есть несомненные черты самого Ершова — «ему было лет за пятьдесят... полное румяное лицо». В письмах и беседах с друзьями Ершов нередко называл себя Безруковским по месту своего рождения деревне Безруковой. К этому времени Ершов был в чине коллежского советника, что соответствовало всенному званию полковника. Однако на этом сходство и кончается. Ершов не занимался списыванием с натуры, а стремился к обобщению характерных типических черт в своих героях. В Безруковском он рисует типичного для тех лет отставного военного, 30 лет прослужившего в армии, прямолинейного, несколько ограниченного в своих мыслях и суждениях. Другой персонаж — татарин Таз-баши, тридцатипятилетний капитан, характера живого и задиристого, лукавого и насмешливого. Академик — отставной военный, категоричен и основателен в своих заключениях, углублен в себя, в обществе скучноват. В Немце угадывается человек острого ума, обстоятельных знаний и педантичности. Несомненно, что в этом персонаже есть черты В. Даля, с которым Ершов был знаком в Петербурге. Когда немец хочет рассказать русскую сказку, Таз-баши насмешливо замечает: «Скажите пожалуйста! У этих обрусевших немцев один напев. Вот и в Питере есть один немец, который до того привязался к православному народу, что кажется готов за одну русскую побасенку отдать всех своих нибелунгов. Ну и мастер, злодей, писать по русскому. Поговорки, присловия, пословицы — вот так и сыплет бисером...» Менее других удачен Лесняк. Ершову не удалось найти для него характерных черт, да и рассказ его самый слабый.

В рассказе «Дедушкин колпак» обрисован купеческий Тобольск, который Ершов знал достаточно хорошо; действие рассказа «Чудный храм» разворачивается в окрестностях Тобольска; рассказ «Панин бугор» и по названию отнесен к Тобольску, где один из мысов коренного берега Иртыша носит это имя. «Страшный лес» не имеет точной пространственной привязки, однако по отдельным деталям рассказа можно с уверенностью сказать, что действие его происходит в сибирском лесу. Два рассказа Таз-баши посвящены прошлому Сибири, навеяны преданиями

тобольских татар. В них ярко выражена фольклорная, народная струя. На замечание Академика, что в них отсутствует грация, Таз-баши метко отвечает, что у него своя грация, не похожая на греческую щепетильную особу, — «толстущечка смугляночка, идущая свободной поступью, посмеиваясь». В этом полушутливом замечании выражено своего рода эстетическое кредо Ершова.

Там, где рассказчик следует принципам народной эстетики, народной поэзии, там произведения получаются яркими, правдивыми, не увядающими со временем. Но, как только рассказчик отходит от этих принципов, его ждет неудача. Это хорошо видно на примере рассказа Лесняка «Чудный храм». Язык рассказа подчеркнуто далек от народного: высокая рябина — «павильон в китайском вкусе», аллея берез — «переход со стрельчатыми арками», прогалина в лесу — «слово огромная зала», свод небес разрисован «гротесками выдающихся вершин». Рассказ вялый, малоинтересный.

Несколько особо в «Осенних вечерах» стоит сказка Немца «Об Иване-трапезнике и о том, кто третью булку съел». Это сказка о лжеце, о его жадности, о наказанном упрямстве. И хотя действие в сказке происходит в очень давние времена, однако она верно рисует нравы и психологию служителей культа, современных Ершову. Мы еще раз убеждаемся в таланте и мастерстве Ершова-сказочника.

Говоря о прозе Ершова, нельзя не коснуться его писем. Читая их, начинаешь невольно сожалеть, что поэт в свое время не занялся серьезно прозой. В письмах Ершова чувствуется мастерское владение русским языком, умение коротко и ясно выразить свои мысли и чувства, тонкий юмор. Подкупает в письмах и их искренний тон. К сожалению, автографы писем Ершова, за исключением небольшой части, сохранившейся в архиве Д. И. Менделеева, не найдены.

В середине 1850-х г. в Tobольске чиновником для особых поручений у губернатора В. А. Арцимовича служит В. М. Жемчужников, уже зарекомендовавший себя как своеобразный поэт в коллективном Козьме Пруткове Ершов подружился с ним. Ершов передает ему некоторые свои произведения, в том числе стихотворную сцену «Черепослов, сиречь френолог», написанную совместно с декабристом Н. А. Чижовым в конце 1830-х гг., и несколько эпиграмм на тобольского архитектора. Часть из этих произведений вошла в сочинение Козьмы Пруткова и его отца.*

Последними произведениями Ершова, появившимися при его жизни в печати, была небольшая пьеса «Кузнец Базим, или Изворотливость бедняка» и шуточная поэма «Нос». Действие «Кузнеца Базима», разворачивается в Багдаде, во времена Гарун-аль-Рашида, но мы без труда узнаем в герое пьесы одного из тех предприимчивых работающих мастеровых-татар, что селились за речкой Абрамовкой в нижней части Tobольска, а в чинах багдадской полиции поступают черты властителей тобольских полицейских участков. Симпатии автора на стороне кузнеца Базима.

* См. Б. Я. Бухштаб. Козьма Прутков, П. П. Ершов и Н. А. Чижев.— Омский альманах, кн. 5, 1945, с. 110; кн. 6, 1947, с. 159.

В январе 1857 г. Ершов был назначен директором Тобольской гимназии и училищ губернии. Назначение пришло с большим запозданием. Еще в начале 1849 г. Ершов должен был занять этот пост и фактически уже в течение нескольких месяцев занимал его. Однако потом начались непонятные задержки и в результате директором гимназии был назначен посторонний делу образования человек — советник пограничного правления из Омска П. М. Чигиринцев.

Письма Ершова этого времени полны недоумения и жалоб на несправедливость. Весьма вероятно, что задержка с назначением Ершова произошла по причине знакомства с Тимковским, осужденным в 1849 г. к смертной казни, замененной арестантскими работами за участие в деле Петрашевского. Только с назначением в 1854 г. тобольским губернатором молодого прогрессивного деятеля В. А. Арцимовича (1820—1893), участвовавшего до этого в ревизии управления Западной Сибирью и хорошо знавшего тобольские дела, Ершов получает место директора гимназии. К этому времени он уже болен и обременен большой семьей. После смерти первой жены Ершов в 1846 у. женился вторично, но и вторая жена прожила недолго — в 1853 г. она умирает, оставив Ершову двух маленьких детей. Ершов женится в третий раз, появляются новые дети... Назначение директором было очень кстати — значительно повысилось жалование, предоставлялась удобная казенная квартира. Ершов берется за дело с большой энергией. Прежде всего он заботится об увеличении количества училищ в губернии, добивается повышения сумм, отпускаемых на содержание казеннокоштных воспитанников гимназии, успешно хлопочет о развитии женского образования в губернии, вводит в обучение естественную историю, расширяет гимназическую библиотеку. Кроме того, он участвует в разработке проекта водного пути между Обью и Печорой. Трижды он совершает длительные и утомительные поездки по обширной Тобольской губернии, побывал в самых отдаленных ее уголках, помогая учителям в их работе. Он пишет друзьям в Петербург: «...В буквальном смысле я завален работой. По сибирским моим правилам, я службу не считаю одним средством для жизни, а истинным ее элементом. Отстав от литературы, я всего себя посвятил службе, не в надежде будущих благ, которых в нашем скромном занятии не предвидится, а в ясном сознании долга» (Яр., с. 157).

Новый тобольский губернатор и его доверенное лицо — чиновник для особых поручений В. М. Жемчужников — содействуют Ершову в его начинаниях. Но вскоре Арцимовича переводят губернатором в Калугу, и прогрессивные веяния постепенно улетучиваются из Тобольска. С каждым годом Ершову становится работать все труднее, бюрократическая рутина мешает его начинаниям. В 1862 году, пробыв всего пять лет на директорском посту, Ершов вынужден уйти в отставку. Ему еще нет 50 лет, он полон желанья работать. Причины отставки неясны. Ярославцов пишет: «Мы не знаем решительного повода к этой отставке, тем более что последний экзамен в руководимой им гимназии был, как мы слышали, одним из лучших по успехам воспитанников: некоторые из окончивших были удостоены медалей, и большая часть отпра-

вились совершенствоваться в университет. А повод был, по-видимому, невыносимым для его благородного страдальческого сердца и болезненной комплекции: люди и тут не пощадили поэта» (Яр., с. 183).

Для Ершова настали тяжелые времена. Его лишили казенной квартиры, и он вынужден был снять дом для жилья (собственного дома Ершов так и не нажил), он не получает пенсии. Порой даже не на что купить дров для отопления дома. И, если бы не помощь Д. И. Менделеева, который очень близко принял к сердцу беды своего старого учителя, неизвестно, чем бы все это кончилось. Менделеев помог выхлопотать пенсию Ершову, принял самое деятельное участие в новом издании «Конька-горбунка», поддерживает его письмами. Жена Менделеева, падчерица Ершова, приглашает его на лето в Боблово. Но Ершов уже болен безнадежно и понимает это. У него теперь одна забота — как-то обеспечить свою семью.

И все же, несмотря на болезнь, на незаслуженные обиды со стороны тобольских чипов, Ершов не прекращает активной жизни. Он отошел от гимназических дел, у него образовался новый круг близких знакомых. Это, кроме немногих тоболяков, среди которых мы можем назвать В. А. Андроникова, судейского чиновника, человека прогрессивных взглядов, художника М. С. Знаменского, смотрителя уездного училища Е. Х. Крестьянова, чья дочь дружила с детьми Ершова*, появились и новые знакомые. Современница поэта Ю. А. Девятова вспоминает: «В 1863 г. в Тобольске было много ссыльных поляков. В числе их были люди интеллигентные и образованные. Некоторые из них были приняты в доме Петра Павловича. Мне случалось видеть П. П. беседующим в саду летом за вечерним чаем с сосланными поляками. Он сидел в отдалении от стола, где пили чай, и разговаривал с поляком Меляновским и другими. Впоследствии первый женился на его старшей дочери. Некоторые люди осуждали Петра Павловича за то, что он принимает у себя поляков»**.

Умер Ершов 18 (30) августа 1869 г. на 55-м году жизни. Его похоронили на старинном кладбище за древним валом. На могиле был установлен мраморный памятник с надписью: «Петр Павлович Ершов, автор народной сказки «Конек-горбунок».

После смерти в конторке Ершова была найдена лишь медная пятикопеечная монета. Младенцем Ершов был продан нищему за грош, с медным пятакон он ушел из жизни, прожив ее бесребреником, честно трудясь, так и не нажив себе богатства, но оста-

* В 1939 г. мне посчастливилось встретиться в Омске с современницей Ершова дочерью Крестьянова — О. Е. Крестьяновой. Она рассказала много интересного о последних годах жизни автора «Конька-горбунка». (См.: Омская область, 1939, № 9, с. 42).

** В 1921 г. в Тобольске был организован учителем Е. Симоновым кабинет Ершова, своего рода первичный музей поэта. В создании его активное участие принимала Н. А. Смолева, внучка поэта. По ее просьбе племянница второй жены Ершова Ю. А. Девятова написала пять писем-воспоминаний о Ершове (хранятся в Тобольском музее-заповеднике).

вив народу истинное сокровище — неувядаемую сказку «Конек-горбунук» и другие произведения, без которых эстетическая литература была бы беднее...

6

Творчество П. П. Ершова — противоречиво, как была противоречива действительность, в которой он жил; поэтическое мастерство — неровно, мировоззрение — нечетко, но мы с уверенностью можем выделить в его жизненном пути и творчестве главную линию — линию служения своему народу, своей стране.

Как и «Конек-горбунук», его лучшие стихи, поэмы, пьесы, рассказы рождены непосредственным и точным знанием народной жизни, дум и чаяний народных. Характерной чертой этих произведений является глубокая авторская симпатия к простым людям — мастерам, крестьянам, солдатам, вдумчивое и любовное отношение к людям труда. Без сусальности и украшательства, реалистично, не боясь темных сторон, он изображает человека труда. Герои «Конька-горбуна» — Иванушка, крестьянский сын, его отец, братья; персонажи пьесы «Суворов и станционный смотритель» — отставной солдат, ящики, крестьяне и крестьянки; поэмы «Сузге» — казаки и татарские воины; драматической сцены «Фома-кузнец» — старый тобольский мастер Лука, изображенный автором мудрым, полным достоинства, гордым своей профессией человеком; кузнец Базим в одноименной пьесе, показан неунывающим, находчивым, не поддающимся бедам; лучшие строки в либретто «Страшный меч» принадлежат пастуху, девушкам-служанкам, воинам-часовым, так же как и в старинной были «Сибирский казак», написанной неровно, наиболее ярко строфы, посвященные простым казакам, и песня казачки.

Печать глубокого знания автором поэтической и песенной культуры народа несут на себе и лучшие лирические произведения Ершова — «Русская песня», «Молодой орел», «Кольцо с бирюзой», «Желание любви» и другие произведения.

В прозе наиболее яркие страницы, выписанные реалистично, с пониманием души простых людей, без прихорашивания, принадлежат произведениям, в которых наиболее сильны мотивы народного творчества — сказка об Иване-трапезнике, рассказы Тазбаши.

Творчество Ершова живо своими народными корнями. Там, где искрой вдохновения ему служит народная жизнь, где он верен своему светлому таланту сказочника и народной поэзии, там он находит и нужные краски, и выразительную простоту языка, и естественный ход события и задушевность, которые всегда найдут отклик в душах и сердцах читателей. Но как только он становится на ходули романтизма или переходит на чуждую его таланту почву бытописательства или религиозного мистицизма, силы и талант изменяют ему.

Обстановка, в которой проходили детство и отрочество Ершова, была противоречива, полна социальных конфликтов и контрастов. С одной стороны, он видел чиновничий произвол, который был так обычен для Сибири тех лет — «жить в Сибири холодно, да служить тепло» — говаривали чиновники и грели руки где толь-

ко могли. Была семья, в которой господствовало незыблемое одобрение действий начальства и царя, служителей церкви. Был отец-чиновник, полицейский, действия которого не всегда совпадали с законом*. Были семьи дядей — купцов, ворочавших огромными по тем временам капиталами, одержимых жадной наживы, беспощадных к своим конкурентам... Но одновременно с этим мальчик Ершов видел и другое. В своих переездах по Сибири он постоянно соприкасался с простым народом, который не стеснялся в характеристиках исправников, околоточных, комиссаров и прочих чинов, всегда был готов отпустить меткое словцо по адресу церкви и ее служителей, а при случае не щадил и царя. В народе жили легенды о справедливом народном царе, в которых были слышны отголоски недавней пугачевщины — со времени восстания прошло лишь несколько десятилетий. В городах и селах Сибири еще живы были участники этих событий, помнили, как войска Пугачева занимали Курган, перерезали дорогу на Москву, угрожали самому стольному граду Сибири — Тобольску. Разговоры, песни, сказки, поговорки, присловья, которые слышал Ершов на почтовых станциях, постоялых дворах, в пути от ямщиков и крестьян, от гребцов на лодках, когда семья спускалась из Тобольска в Березов к месту новой службы отца, в людской у дяди, где всегда толпился бывалый люд, давали богатую пищу для раздумий. Мальчик Ершов не только видел эти противоречия — он постоянно сталкивался с ними, находясь между простым народом и семейным окружением. Впечатлительный и чуткий по натуре, он не мог оставаться равнодушным к этому; так

Было в грудь заронено
Непостижимого мученья
Неистребимое зерно —

та основа творческого пытливого отношения к окружающей действительности, которое и отличает галант от посредственности. Это и помогло юноше, едва шагнувшему в самостоятельную жизнь, создать неувядаемый шедевр — «Конька-горбунка».

Помогла этому и литературная обстановка тех лет, с которой юный Ершов столкнулся в Петербурге. В печати появился третий сборник стихотворений Пушкина, в котором была напечатана «Сказка о царе Салтане» — первая пушкинская сказка, увидевшая свет**. Появляются «Русские сказки Казака Луганского» В. Даля, стихи и песни А. Кольцова. На страницах «Литературной газеты» П. Катенин ратует за самобытный характер русской литературы, а Плетнев на торжественном акте в университете читает «Речь о народности в литературе».

Многие исследователи творчества Ершова в прошлом пытались

* В Государственном архиве Омской области удалось найти следы жалобы крестьянина Ишимской округи Лушкова на бывшего черемшанского комиссара Ершова в притеснениях и лихоимстве, поданной в 1823 г. (ГАОО, ф. 3, д. 198, л. 1—9).

** Все остальные сказки Пушкина были напечатаны позднее «Конька-горбунка», хотя и были написаны раньше. Не исключена возможность того, что Ершов был ознакомлен с этими сказками в рукописях. Это мог сделать Плетнев и сам Пушкин.

доказывать, что «Конек-горбунок» заимствован автором у народа, чуть ли не слово в слово, считали шедевр Ершова простым «попури на сказочные темы», отказывали Ершову даже в авторстве «Конька-горбунка», говоря, что его роль сводилась только к фиксации слышанных сказок и их компоновке. И в наше время, к сожалению, иногда проскальзывают в серьезной печати рецидивы подобных взглядов, как, например, утверждение, что Ершове обмолвился сказкой, что его личность и биография не имеют никакого отношения к созданию «Конька-горбунка». Нет нужды доказывать неверность подобных суждений, начисто зачеркивающих творческое начало самого Ершова. В их основе лежит элементарное незнание биографии Ершова и исторической обстановки, во время которой формировались его характер, склонности и взгляды.

О достоинствах сказки Ершова написано уже много верного и бесспорного. Мы не будем повторяться. Остановимся только на двух особенностях сказки, весьма важных для ее глубокого понимания.

Несомненным достоинством «Конька-горбунка», как, впрочем, и других лучших произведений Ершова, является крепко сложенный сюжет. В «Коньке-горбунке» все действие подчинено внутренней логике, все эпизоды сказки сцеплены друг с другом. Сказка воспринимается как увлекательное приключенческое повествование, захватывает читателя. Ее фантастичность, сказочность притушена реалистическими деталями, авторской иронией, в ней наряду с чудесным много повседневного, обычного, и это делает сказку необыкновенно доходчивой. В этом мы видим одно из свидетельств несомненного таланта ее автора.

Другая сторона сказки, особенно близкая читателям нашего времени, — ее органичная космичность. Иванушка попадает на небо за делом, просто и уважительно разговаривает с небесными светилами, обсуждает с ними сложные ситуации, оказывает им услуги, слушает их советы, словом, ведет себя с ним как равный с равными. Эту сторону сказки считали фантазией поэта, между тем в ней реалистично отражено существо русского крестьянина, который всегда стихийно ощущал неразрывную связь своего бытия с Космосом — весь сельскохозяйственный календарь русского крестьянина свидетельствует об этом. С Иванушкой, крестьянским сыном, светила небесные беседуют на равных, как с частицей своего, родного им мира. И финал — Иванушка становится мужем дочери Солнца и сестры Месяца, как бы знаменующим единство Космоса и человеческого труда.

Второе столетие продолжает победный бег «Конек-горбунок» по нашей планете, радуя и «старых и малых и сидней и бывалых». Не иссякнет эта радость и в будущем. Имя Ершова стало бессмертным. Не должны быть забыты и другие его произведения. Пусть они менее ярки, чем его сказка, но и в них мы видим искру таланта русского писателя, которому всегда были дороги судьбы отечества и его народа.

В. Г. Утков

СОДЕРЖАНИЕ

КОНЕК-ГОРБУНОК	5
СУЗГЕ	67
СТИХОТВОРЕНИЯ	93
1. Монолог Святополка Окаянного	95
2. Смерть Святослава	96
3. Смерть Ермака	97
4. Песня казака	98
5. Молодой орел	99
6. Песня казачки	101
7. Прощанье с Петербургом	102
8. Русская песня	104
9. Желание	105
10. Семейство роз. Отрывок из элегии	106
11. Первая любовь	107
12. Тимковскому (на отъезд его в Америку)	109
13. Туча	110
14. Ночь	112
15. Дуб	113
16. В альбом В. А. Треборну	144
17. Послание к другу	114
18. Кольцо с бирюзой	119
19. Зеленый цвет	119
20. Вопрос	120
21. Кто он?	122
22. Другьям («Други, други! не корите...»)	123
23. Музыка	124
24. К музе	126
25. Праздник сердца	128
26. Две музы	129
27—31. Осьмистишья	132
32. Шагер	133
33. Желание любви	133
34. Сон	134
35. Перемена	136
36. Первый весенний цветок	136
37. Другьям («Друзья! Оставьте утешенья...»)	137
38. Зимний вечер	139
39. Клад души	140
40. Экспромт	143
41. В альбом С. П. Жилиной	143
42. Моя поездка	144
43. Отрывки	149
44. На отъезд А. П. и С. П. Жилиных	152
45. Грусть	152
46. «Не тот любил, любви кто сведал сладость...»	153
47. «Рано утром под окном...»	153
48. Воспоминание	154
49. Храм сердца	155
50. Оправдание	156
51. Три взгляда	158
52. Моя звезда	159
53. 30 августа 1849 г.	160
54. Ю. А. Казанской	160
55. В. А. Андроникову	161
56. Одиночество	161

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, ЭПИГРАММЫ	162
1. Нос	162

2. Любительницам военных	161
3. Эпиграммы	165
1. М. Знаменскому	165
2. А. И. Деспот-Зеновичу	165
3. Старые и новые порядки	165
4. Поклонникам латыши	166
5. Экспромт	166
6. Проект нового устава	166
7. По прочтении одной газетной статьи	166
8. Купцу Плеханову	166
9. К одной филантропке	167
10. «Превосходительство и превосходство...»	167
11. «Чему завидовать, что некий господин...»	167
12. Нигилисту-естественнику	167
13. «Палестину нашу покидает он...»	168
14. «Такой народ здесь хлебосол...»	168
15. «Его со спичками в устах...»	168
16. Некому прогрессисту	168
17. Публицисту педагогу	168
18. «Двум тощим выходцам наш город-худотел...»	169
19. «Мои приятели Федулы...»	169
20. «До сих бы пор я отвергал...»	169
21. «Осел останется ослом...»	169
22. «Не забыта мать-Россия...»	169

ДРАМАТИЧЕСКИЕ СЦЕНЫ. ПЬЕСЫ. ЛИБРЕТТО	171
1. Фома-кузнец	173
2. Суворов и станционный смотритель	178
3. Кузнец Базим, или Прозорливость бедняка	208
4. Страшный меч	207
РАССКАЗЫ	237
1. Страшный лес	245
2. Дедушкин колпак	268
3. Рассказ о том, каким образом дедушка мой, бывший у царя Кучума первым муфтием, пожалован в такой знатный чин	292
4. Об Иване трапезнике и о том, кто третью булку съел	303
5. Панин бугор	323
6. Повесть о том, каким образом мой дедушка, бывший при царе Кучуме первым муфтием, вкусил романен и как, три купца ходили по городу (рассказ, исполненный грации)	359
ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА	273
Комментарии	419
В. Г. Утков. Петр Павлович Ершов	416



2 р.30 к.

ИРКУТСК, 1984

Петр Ершов

